

Константин Боголюбов  
**атаман золотой**

















Константин  
Боголюбов

# АТАМАН ЗОЛОТОЙ

ПОВЕСТИ

Свердловск  
Средне-Уральское  
книжное  
издательство  
1983



Повести «Связанные крылья» (1952) и «Атаман Золотой» (1955), написанные автором в едином тематическом плане, воссоздают картину жизни старого Урала, борьбы рабочих людей против угнетателей, воскрешают своеобразный быт Урала, рисуют образы талантливых уральских мастеров.

Повести созданы по мотивам многочисленных уральских преданий («Атаман Золотой») и на материалах следственного дела, обнаруженного писателем в Государственном архиве Свердловской области («Связанные крылья»).

Печатается в сокращении.

Адресуется школьникам старшего возраста.

Б 4803010102-070 78-83  
М158(03)-83

© Средне-Уральское книжное  
издательство, 1983.



# Атаман Золотой





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*А в горе жить — некручинну быть,  
А кручинну в горе погинути!*

*«Повесть  
о Горе-Злосчастии»*

Молодой крепостной служитель Андрей Плотников вернулся из соляной конторы раньше обычного. Служители воспользовались тем, что правителя дел вызвали к управляющему соляными промыслами, и разошлись по домам. Распорядок же дня был нарушен из-за приезда в Усолъе владельца — князя Шаховского. Слухи о прибытии сиятельной особы шли давно, и каждый по этому случаю мечтал об улучшении своей участи. Все пребывали в состоянии радостной взволнованности, смутной тревоги и тайных надежд.

И вот барин приехал. Это было таким невиданным событием, что толпы народа повалили на тракт встречать князя. Он ехал в открытом экипаже, запряженном шестеркой лошадей. Спереди и сзади мчались верховые...

Все это происходило вчера, а сегодня Андрей решил переписать прошение на имя господина. Черновик у него был готов еще вчера. Он взял лист бумаги с золотым обрезом по краям и вывел каллиграфическим почерком:

*Его светлости князю Борису Григорьевичу Шаховскому  
конторского служителя Андрея Степанова  
Плотникова*

### Объявление

Дальше излагалась сама просьба:

*Всемилоостивейший государь и благодетель! Прошу Вас воззреть на бедственное мое состояние, ибо по причине положенной мне малой платы дошел я до крайней скудости...*

Андрей посмотрел на заплатанные локти своего камзола и решительно приписал:

*Весь обносился, а купить новую одежду не на что. Присыпал написанное песком из бронзовой песоч-*



ницы и еще раз прочитал прошение. А что, если осмелиться попросить прибавки, ну, хотя бы двугривенный в месяц или два с полтиной в год? Поколебался с минутой и дописал:

*Прошу Вашу светлость прибавить мне жалованья, сколько Вашей княжеской милости будет угодно.*

А вдруг его милость по доброте сердца велит положить не два с полтиной в год, а все пять рублей?

Андрей поглядел в окно, засиженное мухами. Сразу за протокой начинались соляные промыслы, торчали бревенчатые вышки. Оттуда доносился привычный хрип насосов, качавших из земли рассол.

На другой день Андрей встал рано. Наскоро позавтракав, зашагал в контору. Рабочий день уже начался. В конторе с минуты на минуту ждали князя. Протоколист Ванюшка Некрасов, сбегав в господский дом, докладывал:

— Князь одеваются.

— Князь кофий пьют.

— Князь беседуют с управляющим.

И наконец:

— Князь едут.

Тут все в холопском усердии кинулись на улицу, чтобы встретить барина. Только Андрей заблаговременно занял место у самой двери кабинета правителя дел, где, по его расчетам, и должен был состояться прием.

Князь поднялся по лестнице и вошел в помещение канцелярии, сопровождаемый управляющим и правителем дел. Он был великолепен: белый парик с пышными волнами кудрей, камзол, расшитый золотом, со звездами, с муаровой лентой через плечо. Такого Андрей не видел еще ни разу в жизни, хотелось зажмурить глаза. Но что его поразило и даже тронуло — это то, что у полубога было обыкновенное человеческое лицо, толстое, красное, потное, даже бородавка на левой щеке возле уха, как у самых простых смертных.

Его светлость милостиво улыбался, но, глотнув кислого запаха канцелярии, немедленно вынул смоченный духами платок и поднес к носу.

Канцелярская челядь подобострастно проводила его до дверей кабинета. Как только за высокой особой захлопнулась дверь, Андрей сказал себе: «Будь что



будет» — и, сжимая в руке свое «объявление», шагнул в кабинет. Князь сидел в кресле, обмахиваясь платком. По ту и по другую сторону в почтительных позах застыли управляющий и правитель дел.

При виде Андрея на их лицах выразилось крайнее изумление. Князь перестал обмахиваться и, полуоткрыв рот, смотрел на бедно одетого молодого человека. А тот смело подошел к креслу и протянул лист бумаги. На лице князя появилось выражение безгливости.

— Что сие значит?

— Ваша светлость! В скудости безмерной обретаюсь... Вот моя слезная просьба к вам...

Князь двумя пальцами взял прошение и, обратившись к управляющему, сказал:

— Но это же дерзость!

— Пошел вон, болван! — прошипел тот, устремив на Андрея взгляд, полный ярости.

Андрей вышел, чувствуя, что погубил себя.

А в кабинете в это время решалась его судьба.

— Кто такой? — спросил князь.

— Конторский служитель Андрей Плотников.

— Какого поведения?

— Благонравен...

— Как же благонравен? А сие что означает?

Князь потряс злополучным «объявлением».

— Ваша светлость, простите, не могли и помыслить... Накажем палками, так что с места не встанет...

Но князь был человек гуманный и просвещенный.

— Ну зачем же палками? Поставьте на черную работу.

Правитель дел тотчас же вышел из кабинета и объявил решение его светлости.

— Служителю Андрею Плотникову надлежит с завтрашнего дня выходить на раскомандировку...

— Пойдешь к вороту бить новый колодец, — распорядился приказчик Федор Калашников, когда на следующий день Андрей пришел в солеварню.

Рабочие поглядели на Андрея с жалостью, и, когда Калашников ушел, один из них сказал:

— Ну, парень, пропал ты. Эта работа не в пример тяжелее нашей. Там лошадям работать, а не людям. Долго там никто не заживается.



Андрей испытал всю тяжесть новой работы. Налегая грудью на рукоятки ворота, целый день ходили рабочие по кругу один за другим. Здесь требовалась нечеловеческая выносливость. Чтобы просверлить землю на вершок, надо было сутки кружить, налегая на палку до одури, до изнеможения. Люди лишались рассудка. Почти все заводские дурачки, бродившие по улицам Усолья, побывали на сверлении соляных колодцев.

Андрей не выдержал. Он бесповоротно решил бежать, бежать во что бы то ни стало, хотя бы на край света. Ему пришел на память брат отцов дядя Игнат, его крестный, живший в Соликамске. Когда-то еще малолеткой вместе с отцом Андрей побывал в Соликамске и видел дядю.

Он запомнил и город, показавшийся ему втрое больше Усолья, запомнил и почтовую станцию, где служил дядя, и площадь на месте сгоревшего посада, а за ней белые каменные дома и церкви. Сам дядя Игнат был человеком веселого и доброго нрава, он угостил тогда крестника расписным вяземским пряником.

«Авось приютит,— подумал Андрей,— ведь я ему не чужой».

Было утро, когда Андрей остановился на песчаном угоре возле самого Соликамска. Город расположился в низине и утопал в зелени. Тут и там к небу тянулись кресты на луковицах церковных куполов. Солнце освещало крыши домов, отсвечивало в стеклах окон, играло в волнах речки Усолки.

Было свежо, и легкий утренний ветерок покачивал стебли трав. Со смешанным чувством спускался Андрей в город: что-то ждет его здесь, на новом месте? Что, если дядя откажет в приюте, тогда надо опять думать, куда бежать...

С горы во всем своем великолепии открывался вид на бывший соликамский кремль. Валы давно уже были скрыты, не стало и башен. Каменные строения возвышались на холме. В ближнем доме с высоким каменным крыльцом когда-то жил заводчик Турчанинов. И улицу по его фамилии называли Турчаниновской. Через улицу, недалеко от речки Усолки, высился вое-



водский дом. Посредине бывшего кремля — старинный собор, а позади такой же на берегу Усолки. Меж ними двухэтажное здание магистрата.

Невольно загляделся Андрей на шатровое крыльцо старинного собора. На звоннице равномерно бухал колокол, к собору медленно двигались старики и старухи с клюшками в руках.

Служили раннюю обедню, и звон раздавался со всех семи городских церквей.

«Застану ли я крестного?» — тревожно подумал Андрей, открывая калитку рядом с широкими тесовыми воротами почтового двора.

Здесь уже давно начался трудовой день. Ямщики задавали корм коням, чистили экипажи, смазывали тележные оси, чинили сбрую. Слышались голоса людей и ржанье лошадей.

Дом почтовой станции состоял из двух половин — в одной жили ямщики, в другой — смотритель станции.

В ямщицкой за столом сидели трое парней, у печи с ухватом в руке стояла крупная баба с добродушным широким лицом.

— Тетка Лукерья! — сказал один. — Дай-ка нам поскорее чего-нибудь поснедать.

Баба поставила большую деревянную чашку с горячими щами.

— Ешьте... А ты чей, паренек?

— Мне бы Игната Плотникова повидать. Я его племянник.

— Эка беда! Нет ведь Игната-то. Уехал. Ты садись, поешь.

«Что же мне делать?» — горестно подумал Андрей.

— А вы хоть бы лбы-то перекрестили, бусурманы, — добродушно ворчала тетка Лукерья на парней, наливая вторую чашку.

— Мы, Луша, тебе честь отдаем за доброе варево, а касательно молитвы — пускай за нас монахи молятся.

— Вот обожди, сведут на воеводский двор, тогда небось всех святых вспомнишь.

— Что ты нас воеводой пугаешь? Видал я всякого зверя. С медведем даже встречался, — сказал один из парней.

— Эва, сравнил!

Андрей подсел к парням и спросил, откуда они.

— Из Половодовой, — ответил один.



Второй, бледнолицый чернявый паренек, ответил:  
— Я дворовый господина Подосенова.

Андрей не стал расспрашивать дальше, понял, что молодцы тоже не с добра зашли на почтовый двор.

Тетка Лукерья отрезала каждому по ломтю хлеба, подала по кружке браги, поглядела на всех четырех и вздохнула тяжело:

— Куда мне вас спрятать, победные вы головушки? На проезжих-то вы непохожи.

Послышались колокольцы: во двор въезжали один за другим сразу три экипажа.

Несколько ямщиков с усталыми, облупившимися от зноя лицами вошли в избу и, сняв кафтаны, сразу же уселись за стол.

— Ну, тетка Лукерья, корми, да попуще: дорога была дальняя и заботная. Слава богу, что живыми вернулись.

— Стряслось разве что?

— С атаманшей Матреной повстречались возле Чермоза. Едва угнали.

— Кто такая? Что за Матрена? — спросили парни.

— Не знаете, так расскажу. Она, слышь, откуда-то из-за Чердыни. Приплыла в Усолье и здесь прибилась к соляному делу. Девка большая, здоровая. Бают, парнем переодевалась да на кулашные бои выходила. Ну, приглянулась зрителю. Он взял ее к себе в услужение. Хотел, видно, попользоваться, да она его неосторожно ушибла, так что он и душу богу отдал. Матрену в острог, понятно. Едва с ней справились — такая у девки сила, что любого мужика с ног сшибает. А ночью высадила она в остроге ворота и всех колодников с собой увела. С той поры и разбойничает. За обиду свою мстит.

— Эко место! Что же это будет, коли бабы принялись за разбой! — заметила тетка Лукерья. — Последние времена настают.

— Сказывают, она по правде свое дело ведет. Воевод и купцов кидает в Каму ракам на ужин, а мужиков не трогает. Кто, говорит, мужика тронет, того и я не помилую. Вот она какова, Матрена-то!

Андрею представилась страховидная великанша, кидающая людей в реку, как котят.

Время уже приближалось к полудню, парни куда-то вышли, ямщики после обеда лежали кто на полатах,



кто прямо на полу, постелив под голову кафтан. Андрей сидел у окна.

— Куда поехал крестный?

— Почту повез в Верхотурье. Скоро его не жди,— отвечала Лукерья.

— Вот горе-то...

— Добрый он у нас мужик. Только уж больно смел: недавно напали на него пятеро, так он одного замятво уложил, а других покалечил. Я уж и то его оговариваю: не лезь на рожон, не ищи смерти до часу. А я, говорит, не роковой.

Андрею было приятно, что хвалили дядю.

— У меня отец тоже смелый был. Он с караваном плавал до Нижнего, да вот уж года три как помер, и мать померла.

— Так ты, стало быть, круглый сирота... Вот оно что. Да, плохо твое дело. Ну, не робей — дядя поможет и документ пособит выправить.

Вдруг дверь растворилась, и на пороге показался смотритель в сопровождении полицейского чина.

Ямщики вскочили с полу.

Увидев рыжие усы городского и его мутные навывкате глаза, Андрей понял, что нужно спастись. Он ринулся к двери, но один из ямщиков загородил ему дорогу, другой схватил сзади за ворот. Полицейский чин спросил:

— Кто таков? По какому случаю здесь?

Андрей смекнул, что не следует называть свою настоящую фамилию.

— Крестьянин Иван Некрасов. Пришел из деревни навестить дядю.

— Какого еще такого дядю?

— Игната Плотникова.

— Кто тебе позволил шлаться? На съезжую!

Тетка Лукерья всплеснула руками.

— Это такого-то молоденького? Смилуйтесь, ведь он сирота.

— Молчи, баба! — крикнул смотритель.

Андрею связали руки. Полицейский пошел вперед, Андрей за ним. Спустившись во двор, полицейский заявил:

— Придется произвести обыск, Фадей Фадеич!

Смотритель пожал плечами:

— Ваша воля.



Полицейский полез на сеновал и через несколько минут вытащил оттуда взъерошенного парня, сказавшегося дворовым.

— Вот он, голубчик.

Парень заплакал.

— Не хнычь. Рано хныкать. Влепят полсотни лозанов, тогда и вой.

Парню тоже связали руки назад. Обоих арестованных повели на съезжую. Это была большая из толстых бревен изба, с маленькими зарешеченными оконцами, стоявшая на берегу Усолки. Сбоку от съезжей возвышался огороженный острог, а прямо через дорогу — церковь.

Полицейский впихнул пленников в полутемную избу, где уже сидело несколько заключенных. Когда с лязгом закрылся тяжелый железный засов, Андрей тоскливо огляделся. Изба была с низким закопченным потолком и стенами. Ни нар, ни скамеек. Заключенных оказалось трое: один, пожилой, худощавый, с чахлой седоватой бороденкой, стоял возле окна и жадно глядел на ту сторону реки, где густо зеленел сосновый бор. Два его товарища лежали на полу, положив под головы кулаки. Никто не обратил внимания на новеньких.

Андрей попытался освободить от бечевки руки, но это ему не удалось.

— Помоги-ка,— попросил он дворового.— А потом я тебе развяжу.

— Что дальше-то с нами будет? — спросил парень и заплакал.— Забьет Подосенов меня до смерти.

— Не реви ты, и без того тошно,— сказал Андрей.

Старик быстро повернулся. На его худом костистом лице молодо блеснули голубые с сумасшедшинкой глаза.

— Умел воровать, умей и ответ держать,— заговорил он насмешливо.— Сведут завтра на воеводский двор, там всем нам будет суд и расправа: кому тюрьма, кому плети, а кому то и другое.

Андрей рассердился...

— Что ты каркаешь? Научил бы лучше, что делать.

Тот добродушно рассмеялся:

— Молодой, а уже крыльями машешь. Люблю таких. Как поведут завтра на воеводский двор, становись ближе к заплоту. Ежели мастер прыгать, перемахнешь



на другую сторону и в лес беги что есть мочи. Понятно, ежели удачливый ты... Я в твои-то годы уж как удачлив был. На коне не догонишь. Семь раз из тюрьмы бегал, да и теперь думаю о том же. А ты не робей.

— Как же тебя, старого, будут наказывать? Разве такое дозволено?

— Эх ты, птенец! Все на этом свете дозволено, у кого деньги в мошне да плеть в руке... А что старик я, так это ты прошибку дал. Мне всего сорок годов. Состарили меня работа рудничная да тюрьма царская, но все же покуда меня дедушкой величать рано.

Отворилась дверь, и вошел полицейский капрал с человеком в красной рубахе.

— Авдюшка! — с ужасом прошептал «старик».

— Вставай, — сказал капрал, пнув одного из лежащих, — к воеводе пойдешь.

С полу поднялся мрачного вида детина со взъерошенными волосами, весь покрытый грязью. На руках и на ногах у него висели тяжелые оковы. Андрея поразило выражение обреченности во всем его облике, когда тот выходил за своими мучителями.

— В пытошную повели.

Все замолчали.

— Которого повели, так он из Матрениной шайки. Ему карачун будет. У воеводы под домом подвал есть для пытошных дел. Он такой, что ему в лапы не попадаться.

— Попадется же и он когда-то, — пробормотал лежавший на полу арестант.

И снова все замолчали. Дворовый стучал зубами от страха.

Время уже подходило к вечеру, когда в пыточную увели второго закованного в кандалы.

— Прощайте, братцы! — крикнул он в дверях.

Ночь прошла тревожно. Андрей долго не мог уснуть, но усталость взяла свое.

Когда рассвело, заключенных повели на воеводский двор. Андрей шел между старым бродягой и дворовым.

— Согласен бежать? — вполголоса спросил он дворового.

Тот со страхом оглянулся:

— Что ты? Как можно?

— Ну и пропадай.



«Старик» похвалил Андрея.

— Молодец, парень. Смелым бог владеет. А жизнь наша такая, что ежели ты за глотку не схватишь, так тебе ее перегрызут. Прыгай — не робей! Я тоже мастер был прыгать, за то меня Блохой и прозвали.

— Ты только покажи мне, где надо прыгать.

— Покажу и помогу.

Солнце величаво поднималось над землей. Весело сверкала утренней зябью Усолка, жарко горели кресты на церквах. В окнах воеводского дома переливались разным цветом стекла. Город еще спал.

Андрея охватила какая-то веселая отчаянность. Он сейчас ничего не страшился. Все его мысли сосредоточились на одном: бежать. Он уже наметил себе путь. Пробежит вдоль берега и прямо на мост через Усолку, мимо кузниц и — в лес. Пожалуй, лучше всего бежать на Боровую, там сесть в лодку и плыть вниз по Каме.

— Заходи! — крикнул унтер-офицер, предводительствовавший конвоем, и арестованные толпой хлынули на двор, где уже и так было полно народу.

Блоха и Андрей сумели в числе первых пробиться к заплоту, который стоял вдоль берега. Он оказался довольно высок.

— А ну! — сказал Блоха и толкнул Андрея в бок. — Становись мне на спину.

Он нагнулся. Андрей на миг заколебался.

— Прыгай, говорят тебе!..

Андрей вскочил ему на спину и, чувствуя напряжение всех мускулов, ухватился за верхнюю тесину. Перед ним блеснула река. Он приподнялся на руках и перекинулся по ту сторону заплота...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Ты, пустынюшка, моя матушка,  
Помилей отца-матери.  
Вы, леса, вы, кудрявые,  
Помилей мне роду-племени!*

*Песня*

Вторые сутки шел Андрей Плотников берегом Камы.

Вот он и на воле! Эта мысль, точно солнечным светом, наполняла все его существо, и сладостное ощу-



щение свободы было настолько глубоким, что заглушало даже ту смутную тревогу, которая возникала при воспоминании об усольской конторе соляных промыслов и воеводском дворе, откуда он два дня назад благополучно бежал.

Проходя мимо Усолья, он с противоположного берега увидел высокое с узкими окнами здание конторы и погрозил в ту сторону кулаком. Проклятая чернильная каторга! То, что с ним произошло в течение последней недели, представлялось каким-то страшным сном. Может, лучше было примириться с тем, что его приставили к вороту и заставили ходить по кругу, как слепую лошадь?

О нет, он согласен идти день и ночь, лишь бы только не возвращаться в Усолье. И надо уходить как можно скорее, как можно дальше от рокового места. Наверно, его уже разыскивают, а поймают — прощайся тогда с жизнью, Андрей свет Степанович!

Берег Камы то круто поднимался над водой, то опускался понизью, поросшей травой и кустарником, или песчаной косой уходил далеко в реку. Вон впереди высоко над водой поднялась крутая косматая вершина. Тесно встали над ней темно-зеленые пихты. Зайдешь в лес и не надышишься. Выйдешь на опушку — перед тобой густо поднимутся стрелки иван-чая, все в пушистых завитках. В одном месте наткнулся Андрей на медвежий след. Неподалеку оказался малинник. Боясь заблудиться, беглец все время держался близко к берегу.

День уже подходил к концу. Солнце скрылось за темной гривой дремучего леса. Андрей вышел на берег в том месте, где он, точно срезанный, спускался в воду обрывом, и залюбовался открывшейся перед ним картиной. Кама вся точно горела в закатных лучах: из-за острова, сплошь поросшего ольхой и тальником, показались два лебедя. Большие гордые птицы медленно плыли по светящейся воде, точно вылитые из серебра. Белокрылые чайки с криком летали над рекой. То тут, то там всплескивала рыба.

— Ты какого лешака тут шары пялишь? — вдруг раздался за спиной грубый окрик, и чья-то тяжелая рука легла на плечо.

Андрей оглянулся: перед ним стоял рыжий детина, губастый, глазастый и, главное, вооруженный — за ку-



шаком у него торчал топор, а из-за голенища выглядывала рукоять кинжала. Это было настолько неожиданно, что Андрей не сразу пришел в себя, а опомнившись, понял, что пропал. Бежать, но куда? Решение возникло мгновенно. Прыжок — и он в воде. Нырнув чуть не до дна, Андрей поднялся на поверхность и, изо всей силы работая руками и ногами, поплыл к острову. Сзади, с берега, послышался звонкий свист. Такой же свист раздался и со стороны острова.

Плыть было трудно: мешала одежда. Но сознание опасности прибавляло сил. Саженьях в двадцати от себя Андрей видел песчаную отмель и плыл прямо на нее. Течением сносило, и чем дальше, тем яснее он чувствовал, что не доплывет. Сильная струя воды преграждала путь. Андрею сделалось страшно. Мускулы напряглись в последних отчаянных усилиях.

И тут до слуха его долетели всплески воды под ударами весел. Со стороны острова легко и быстро вынеслась остроносая лодка. На ней сидели двое. Не прошло и минуты, как лодка очутилась рядом с Андреем. Сидевший на корме усатый молодец в шапке, лихо сдвинутой на затылок, крикнул:

— Давай руку!

С помощью усатого Андрей забрался в лодку, едва ее не перевернув, за что тот сердито выругал его.

— Кто таков?

— По правде говоря, и сам не знаю... Если вы добрые люди, так сжальтесь...

— Ты не виляй хвостом, — недовольно заметил усач. — Выкладывай как на духу. Лучше будет.

— Беглый я, вот кто, — решил признаться Андрей. Сидевшие в лодке показались ему непохожими на полицейских служителей.

— Сразу так бы и говорил. Чего же с берега-то сиганул?

— Да там один схватить меня собирался.

— Это Илюха его пужанул, — усмехнулся сидевший на веслах вихрастый парень.

Они причалили к берегу, и Андрей заметил, что под нависшими над водой ветвями смородины пряталось еще несколько лодок. Гребцы вышли на берег, и тут только Андрей увидел, что у одного из кармана выглядывала рукоятка пистолета, а у другого к поясу подвешен был на ремennom жгуте чугунный шар ве-



личиной с кулак. Шевельнулась мысль: «Разбойники!»

Они шли по узкой тропинке меж кустов жимолости и ольховника. Откуда-то доносились пенье, взрывы смеха, тянуло горьковатым дымом, и вскоре перед Андреем раскрылась широкая луговина. Картина была живописная. Посредине пылал костер, над ним висел большой чугунный котел, вокруг сидели и лежали молодцы, одетые довольно пестро.

Все с любопытством посмотрели на Андрея. Чернявый, крепко сложенный молодец остановил на нем неподвижный суровый взгляд.

— Кого бог дал, Таракан?

Усатый ответил:

— Утопленника, есаул.

Разбойники засмеялись. Чернявый проронил сквозь зубы:

— На кой ляд ты его спасал? Оставил бы ракам на ужин.

— Беглый, говорит.

— Ну, тогда надо поглядеть. Веди к Матрене. Пускай решит, куда его девать: в реке утопить али на осину вздернуть.

Андрей невольно содрогнулся. Значит, он попал в шайку знаменитой атаманши. На другом краю поляны стояло до десятка балаганов, похожих на те, какие ставят на покосах. Усатый и его товарищ подвели Андрея к балагану, который был выше других.

— Матрена Никитична! Выдь-ка на минуту.

— Что случилось? — откликнулся из балагана низкий грудной голос.

— Да дело есть, матушка.

— Обожди.

Ждать пришлось недолго. Дверь балагана распахнулась, и Андрей замер от удивления: перед ним стояла красавица лет двадцати пяти. Что-то колдовское, неотразимое было в ее лице: и горячий взгляд из-под тонких черных бровей, и алые полные губы, и буйная каштановая волна, выбившаяся из-под платка, и смуглые щеки. Все в ней дышало здоровьем и силой. На атаманше был мужской костюм, но и это шло к ней: бархатное полукафтанье, сабля у бедра, сафьяновые сапожки — все было ей под стать.

— Вот этот, Матрена Никитична, даве тонул, ска-



зывает, будто беглый,—докладывал усач, указывая на Андрея.

Атаманша внимательно посмотрела юноше в лицо, и тот почувствовал, как ее взгляд проникает прямо в душу: такой не соврешь.

— А где ребята?

— Ужин ладят на поляне.

— Ну, пойдем туда.

Они пошли к костру. Завидя атаманшу, разбойники с почтением встали. Кто-то подставил ей чурбан, чтобы сесть. Видно было, что любили ее.

— Садись, Матрена Никитична, скоро ужин поспеет.

Матрена села и обратилась к Андрею:

— Ну, рассказывай, парнишка, кто таков, зачем в наши края пожаловал?

Словно замороженный ее взглядом, Андрей смутился и не знал, с чего начать.

— Ты что же, язык проглотил? Али на меня загляделся? Берегись — здесь женихов вон сколько, не ровен час, наломают бока.

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! — покатались со смеху разбойники.

Андрей вспыхнул от обиды.

— Я человек несчастный, и надо мной смеяться нечего,—начал он и стал рассказывать историю своей жизни.

Разбойники слушали его внимательно, особенно когда стал он рассказывать о двух арестованных, увезенных на пытку.

— Да ведь это Рябок и Егорка Свал! Жалко ребят...

— Теперь воевода над ними потешится.

— Говоришь, в пытошную их увели?

Матрена свела соболиные брови, сверкнула глазами, и лицо ее сделалось суровым.

— Тихо, ребята! Без шума. В долгу перед воеводой не останемся. За наших отплатим с лихвой... Говори дале.

Андрей подробно рассказал о своем побеге, так счастливо удавшемся при содействии Блохи. Матрена широко и весело улыбнулась, и вдруг лицо ее стало таким простым и милым, что никто бы и не подумал о страшной разбойнице, глядя на нее в эту минуту.

— Блоху я знаю. Земляком доводится. Он не про-



падет. Старый волк, не из таких капканов вырывался. Однако и ты молодец. Коли не врешь — добавила она, лукаво прищурив свои бесовские глаза. — Ну, что ж, раз уж прибило тебя к нашему берегу, ночуй с нами, поешь, проголодался поди, а завтра видно будет... Накорми его, Мясников, — приказала она 'есаулу и ушла.

Между тем варево в котле шипело и булькало, распространяя такой аппетитный запах, что у Андрея слюнки потекли. Ему давно хотелось есть. Видимо, и остальные проголодались изрядно.

Обжигаясь, ел Андрей мясную похлебку, и казалось ему, что ничего вкуснее не едал во всю свою жизнь.

В глубоком ночном небе поблескивали редкие звезды. С луговой поемной стороны доносился стрекот бессонных кузнечиков. Ни один лист на деревьях не шевелился. Дремотно поплескивала о берег Кама.

Разбойники занялись всяк своим: кто ушел спать в шалаш, кто сел точить саблю, кто чистил ружье или пистолет. Несколько голосов затянули старинную песню о волюшке вольной. Негромко, но сильно лилась она, хорошо спевшиеся голоса мягко и дружно подхватывали напев и несли его над луговой тишиной.

Ты, дуброва ли, дубровушка зеленая!  
По тебе, моя дубровушка,  
По тебе мы множко гуливали,  
Мы гуляли — не нагуливались,  
Мы сидели — не насиживались.

Андрей лежал на ветках лозняка и слушал: и слова песни, и мелодия здесь, среди людей, поставленных вне закона, на диком острове в эту серебряную июльскую ночь, — все это было так необычно, так ново для него. А красавица атаманша казалась видением из какой-то чудесной сказки.

Рядом с ним сидел Таракан.

— О Матрене-то я слышал, — сказал Андрей, чтобы начать разговор.

— Как же, о ней есть что говорить, немало на тот свет отправила бояр, купцов да вашего брата приказных.

— Я не приказный.

— Ну, вроде того. Матрена — царь-девка. Уж коли даст слово, так сдержит.



— Добрая она?

— Чего мелешь? На что ей доброта? Она за обиду своей рукой посекала человек десять, и есаул у нас тоже удалец.

Андрей никак не мог представить, чтобы такая, как Матрена, могла кого-то убивать. Сонная истома начала одолевать его, наливая все тело неодолимой слабостью. Но и засыпая, он видел смуглое лицо с черными бровями и блестящими глазами.

Проснулся Андрей от пронзительного свиста. Таракана уже возле него не было. Солнце ликующим светом заливало поляну, влажную от росы. Разбойники торопливо снаряжались, увязывали котомки, вооружались. Все действовали слаженно, привычные выполнять одно общее дело. Таракан появился, когда Андрей уже успел стряхнуть с себя сонную одурь.

— Ступай, тебя атаманша требует.

Андрей направился к высокому шалашу Матрены, думая со сладким замиранием сердца, что снова увидит эту необыкновенную женщину. Он почти не сомневался, что теперь его будущее прочно связано с этой жизнью, полной опасностей и приключений, и заранее радовался этому.

«Вот оно когда начинается, настоящее-то».

Матрены в шалаше не оказалось. Андрей увидел ее на поляне и не узнал: это была не вчерашняя красавица, а суровый воин — что-то жесткое и властное выражали сейчас ее черты лица. Вместо платка на ней красовалась легкая соболья шапочка, за кушаком торчал тяжелый двуствольный пистолет. Она отдавала приказания.

Андрей подошел к ней.

— Вот что, малый, мы в поход трогаемся. Тебе с нами не по пути. Дам тебе лодку, припасу, и валяй, куда хочешь, по матушке Каме.

— Матрена Никитична! — взмолился Андрей. — Возьмите меня в свою команду. Ужели не пригожусь?

— Молод ты, и ни к чему тебе это — от нашей работы душа горит: по колен в крови ходим. Поезжай до устья Косьвы. Там на горе избушка, в ней дед МIRON живет. Скажи ему: Матрена, мол, поклон шлет. Он тебе поможет. А лодку тебе Таракан даст.

Андрей понурил голову.

— Айда! — сказал усатый.



Когда они дошли до берега, Таракан показал ему на легкую двухвесельную лодку.

— Плыви с богом! В сорочке ты, парень, родился. Матрена не всякого так отпускает. Верно, поглянулся ты ей,— ревниво добавил он.

Андрей взял в руки весла и, сильно погрузив их в воду, выехал на стрежень.

В корме заметил он котомку, туго набитую припасом, оттуда тянуло запахом ржаного хлеба, и с благодарностью подумал об атаманше.

Утро разгорелось румяное, ясное. Над головой, отражаясь в зеркальной глади реки, плыли легкие, позолоченные утренними лучами облака. Легко и вольно дышалось, и было светло на душе, хотя и думалось, что не все так вышло, как хотелось.

Андрей с удовольствием, не чуя усталости, греб, а мимо бежали берега, и стаи испуганных птиц подымались над заводями; сохатый, приподняв над водой коровью морду с бородой и широкими лопастями рогов, следил за удалявшейся лодкой; черный выводок гагар, отплывший от берега, повернул обратно в кусты лозняка.

Поздно ночью добрался Андрей до устья Косьвы. Между потемневших берегов текла, мерцая, пустынная река. Ее воды чернели в глубокой тени. Все было таинственно и угрюмо в этом диком месте, куда словно не ступала еще нога человека. Ели на горах издали казались сказочными великанами в острых шлемах. Тонкий лунный серп светился и дрожал в воде.

«Что делать? — подумал Андрей.— Дедушку Мирона мне в этом раменье не сыскать. Придется ждать до утра».

Он причалил к берегу. На пологом скате под ногами хрустели песок да галька — видно, здесь гуляли вешние воды. Вытащив лодку на берег, Андрей решил под ней же и ночевать. Он пошел в лес наломать веток, чтобы устроить постель помягче, но едва принялся за работу, как услышал шорох: кто-то пробирался по лесу. Андрей невольно отошел на открытое место. Кусты раздвинулись, и показался старик, приземистый, широкоплечий, с бородой чуть не до пояса.

— Не пужайся, детинушка, я не леший, а такой же, как ты, раб божий.

— Ты... ты не дедушка ли Мирон?



— Он самый и есть. Ты откуда меня знаешь?

— Матрена Никитична велела тебе кланяться.

— Матреша! Да где ты ее видел? Вот оказия! Ах ты, милой сын, любезный гость. Ну, пойдем скорее ко мне в избушку... Я тебя издалека приметил. Кто, думаю, это припозднился? Не из Чермоза ли рыбак? Заезжает ко мне тут один, Савваткой кличут...

Пошли к землянке, вырытой в бугре. Она напоминала пещеру, впрочем с оконцем, а наверху — труба. В землянке пахло травами и медом.

Дедушка Мирон поставил перед ним туесок с медом, отрезал кусок душистого ржаного хлеба. Андрей ел с аппетитом. Поев, он рассказал деду о своих приключениях и, наконец, о неожиданной встрече с атаманшей.

Дедушка Мирон слушал молча, опустив голову.

— Да, дело твое мудреное,— сказал он, дослушав до конца.— Ну, авось что-нибудь и придумаем. А Матреша, говоришь, тебя не приняла в свою команду? И то добро: рано тебе за такое дело браться. Человека убить, милой сын, не муху раздавить, право на то надо иметь. Я их, разбойников-то, повидал на своем веку. Один в душегубстве да в грабеже только сласть и видит, это самый распоследний человек, такому ни на том, ни на этом свете прощенья нет. А другой, к примеру Матреша, либо поневоле в разбой пошел, либо обиду свою вымещает. Матреша, она простого человека не тронет. Только и живет для себя, по пословице: хоть день, да мой. Народ-то ей все простит. А вот слыхал я про одного разбойника. На Чусовой-реке атаманил. Был он демидовский мастеровой и на огненной работе руки лишился. Довели его заводские власти до того, что убежал он с завода и стал разбойником. Прозвали его Безручком... Так вот, милой сын, этот самый Безручко за работных людей горой стоял. Пожалуются ему на какого злодея-приказчика, он его сейчас же за ворот и в воду. Самих Демидовых в страхе держал. Взяли его большой воинской силой и присудили к лютой казни. Вот такому разбойнику не только народ спасибо говорит, а и все его грехи большие и малые отпустятся, потому как не для себя жил, а для других, и конец мученический принял. Умер он, а память о нем живет, и песни про него поют, и сказы сказывают. Так-то, милой сын... Ну,



давай спать ложиться. Утречком я всю тебе вотчину покажу.

Сладко уснул Андрей на медвежьей шкуре и даже снов не видел. Проснулся от ласки горячих солнечных лучей. Дверь была полуоткрыта. Перед ней сидел дедушка Мирон и, что-то напевая под нос, вязал сеть.

— А я ушку сварил,— сказал старик.

Приглядевшись к нему, Андрей заметил, что у деда какие-то особенные, почти прозрачные серые глаза с глубоким и спокойным взглядом. «Настоящий колдун»,— подумал Андрей.

Умывшись в реке, он поспешил к догоравшему костру, над которым в небольшом котле, поставленном на таганец, дымилась дедова уха.

Со всех сторон раздавались звонкий щебет, свист, щелканье. Роса блестела на кустах, пахло шиповником. Жужжали пчелы. Андрей отмахивался от них ложкой.

— А ты, милой сынок, не машись. Пчела — вековая труженица, она по своему делу летит. Не мешай ей, не дразни.

В это время одна из «тружениц», запутавшись в густых золотистых кудрях Андрея, больно ужалила его в голову.

— Чужой ты, не привыкли еще,— пояснил дедушка Мирон.— Я пчелок люблю. У меня тут в лесу три колоды стоят. По весне думаю четвертую поставить. Ныне пчелка хорошо роилась.

Они шли по лесу, пробираясь сквозь заросли осинника. Иногда молодая березка задевала лицо зеленым рукавом, обдавая сладким запахом. Черемуха свешивала кисти черных ягод, и оранжевые гроздья рябин, наливаясь соком, нежились под лучами утреннего июльского солнца.

— Старик медленно шел, стараясь не ломать ветвей, слушая ласковый говор трепетных осин и задумчивый шорох стройных сосен.

— Вот где мир и благодатная тишина,— говорил он.— Ты не гляди, что это лес. В лесу-то, милой сын, все живет, всякое дерево к солнышку тянется. У всякого своя жизнь, и у всякого своя молвь: у молодого — веселая, у старого — печальная. И погоду они чувствуют. Весной такой-то ли говорок идет по лесу, будто детки малые расшалились, а осенью заскучает лес, шуршат



листочки, жалуются, словно знают, что скоро помирать. А перед тем, как снегу лечь, тихо станет, думает лес последнюю думу, ко сну зимнему готовится.

Андрей слушал старика вполуха, потирая вскочившую на голове шишку.

Лето подходило к концу. Ночи стали длинней, и звездная россыпь горела все ярче и ярче. Первые желтые листочки поплыли по воде.

Андрей помогал дедушке Мирону рыбачить. Старик был в этом деле мастер и запасал рыбу впрок. К зиме решил он поставить амбарушку, и Андрей обрадовался этой новой работе. Он старался хоть чем-нибудь занять себя с утра до ночи.

Дедушка Мирон поглядывал на него, пряча в своей шелковой седой бороде лукавую улыбку.

— Что, милой сынок, боишься, как бы не наскучило в зеленом нашем царстве?

— Боюсь, дедушка,— откровенно признался Андрей.

Часто выходил он на берег полюбоваться на суровую красоту Камы и Косьвы. Редко-редко проходил с севера соляной караван. Одна за другой двигались тяжелые груженные коломенки.

Десятки людей налегали на потеси — исполинские весла, и Андрею думалось, что среди них, наверно, много его земляков.

И вот однажды под вечер, когда они с дедушкой Мироном возвращались с богатым уловом, показалась большая, на десять весел, лодка, за ней другая, третья. Андрей так и замер.

— Дедушка Мирон, гляди-ка!

— Матреша!

Лодки под дружные взмахи весел быстро плыли вниз по течению прямо по середине Камы. На носу передней лодки стояла атаманша. Ее сразу можно было узнать по гордой осанке. Синее полукафтанье плотно облегало ее стройный стан.

Приложив ладони ко рту, дед крикнул:

— Матреша!

Матрена оглянулась в их сторону, и Андрей издали заметил, как блеснули в улыбке ее зубы. Она помахала белым платком и крикнула в ответ:



— Пожелайте удачи!

— Поезжайте с богом, милушка!

Андрей не двинулся с места, пока весь разбойничий караван не скрылся с глаз.

— Уехала моя голубушка,— со вздохом произнес дедушка Мирон.— Не сносить ей удалой головы.

— Про нее говорят: богатырша, любого мужика поборет.

— Где же любого? Таких, как я, уберет, пожалуй, с десятков, а вот Безручко, не смотри, что однорукий был, и не с десятком справлялся...

Тут дедушка Мирон нахмурился и замолчал.

Андрею очень хотелось узнать о его прошлом, но сколько ни заводил он об этом разговор, старик отмалчивался или отшучивался.

— Я ведь не дворянского сословия: жил как придется. Родова моя насквозь мужицкая.

А в светлых глазах мелькала лукавинка.

Но сегодня дедушка Мирон был растроган встречей с Матреной и сам начал разговор.

— Матреша-то ведь моя крестница.

— Как так крестница?

— Да так, видно, суждено было. Убежала она из острога и прибилась к моему бережку. Ну, я вижу, злобы в ней много и силы столько, что конем не стопчешь. Прожила зиму, оклемалась, а весной ее, как птаху перелетную, на волю потянуло, захотелось крылышки расправить: «Куда, дедушка, благословишь меня?» Ты, говорю, была на работе и ступай на работу. Она на меня как выбурит, в глазах огни. «На соль, что ли, обратно, так у меня и без того вся жизнь подсоленная». Ну, говорю, гляди, сама себе хозяйка. А ко мне молодцы похаживали, вольные люди. Вижу, моя Матреша в согласие с ними вошла. Однажды и говорит: «Спасибо тебе, дед, за приют, за ласку. Отогрел ты мою душу. А теперь благослови меня на разбой идти». Что ты, говорю, милушка, опомнись, не придуривай. Ты ведь баба. Женское ли дело — разбой? Она ни в какую. Ну, ежели человек сам себе веревку на шею вьет, разве отговоришь. У всякого своя дорожка на земле. И благословил я ее, милой сынок, благословил. С той поры она мне и крестница. Не забывает, завертывает когда с молодцами...



— Как же это удалось Матрене такую шайку собрать?

— Не наше дело,— сухо ответил старик и сразу повернул на другое: — Что-то у меня в крыльцах ломота, не иначе к дождю. Давай-ка похлебаем ушки да и на боковую. Завтра надо первые соты подрезать.

Дедушка Мирон не ошибся: ветер задул с «гнилого» угла, небо заволокло тучами, и начались дожди. Они затянулись на целую неделю. Андрей не находил себе места.

— Хоть бы лапти ковырять ты меня научил,— просил он деда.

Тот посмеивался.

— Что ж, милой сын, и то рукомесло. Человеку много надо знать и много уметь. Тогда и жить станет легче.

Проснувшись однажды, Андрей вышел из землянки. Над мокрой землей всходило холодное солнце. В небе таяли редкие облачка. Молочный туман окутывал реку, полз по берегу, цеплялся за кусты. Листья, падая, кружились в воздухе. Рябина, росшая возле землянки, печально свешивала красные гроздья. Было тихо и сыро. Шла осень во всей своей силе.

В тот день к дедушке Мирону приплыл в душегубке его старый приятель Савватка. Причалив, вытащил из лодки мешок и зашагал, тяжело припадая на левую ногу, к костру, который теперь обитатели землянки разводили все чаще и чаще.

— Савватка! Друг милой! — обрадовался дедушка Мирон.— Садись, грейся.

Савватка был неопределенных лет, худ и мал ростом, лицо в морщинах, глаза острые, бойкие, на плечах пониток, черный от копоти, заплатка на заплате, а на голове войлочная шляпа, какую, верно, носил еще Савваткин дед.

Костер пылал, от смолевых сучьев валил густой едкий дым. Андрей чистил рыбу и слушал разговор приятелей.

— Я тебе, Мирон, пропитал привез: редьки, да гороху, да калеги. На одной-то рыбе не проживешь, ячменна кладь. А мука-то еще есть?

— Муки до покрова дня хватит. Чем я только тебя отдаривать стану?

— Милушка ты моя, Мирон Захарыч! — зачастил



Савватька, и лицо его изобразило умиление.— Ничего мне от тебя не надо. Не моги даже и думать.

«Должно быть, хороший человек,— заключил про себя Андрей,— а я думал, плут».

— Ну, как там на заводе? — спросил дедушка Мирон.

— Пермяков к ильину дню нагнали с Юсьвы да с Иньвы. Ох, и было маеты с ними, ячменна кладь. Русскую-то речь не понимают. Мастер кричит: налево, они — направо. Трoих у домны сварило... У кума Петрована полосовое железо нашли в огороде и так отлепортовали, что мужик другую неделю с постели встать не может. А железо-то, бают, подбросили.

— Жалко мужика, добрый работник был... А как Власьевна живет?

Савватька захихикал:

— Все помнишь свою сударку? Чего ей, старой колотовке, делается — ягоды сушит да грибы солит. Работницу держит, немую. И фатеру сдает. Одним словом, промышляет. Ты как ныне белковал?

— Какая летом охота? Летом я от реки не отхожу, за рыбкой охочусь. Ныне два горностоя да огневка в капкан попались. Вот и вся добыча.

— И то добро. А это что за молодец?

— Свойственник дальний, из Усолья.

Савватька лукаво прищурил глаз:

— Лётный, стало быть?

— Лётный.

— Никита Пологрудой давно не бывал?

— Давненько.

Пока беседовали, уха сварилась. Савватька жадно принялся за еду. Наелся и начал хвастать:

— Мне в невод нынче осетер попал. Мужики его впятером вытаскивали.

Дедушка Мирон только посмеивался в бороду.

— А на Черном озере поймали чудо: до пояса девка, а с пояса рыба.

— Ну, уж это враки,— не выдержал Андрей.

— Много ты знаешь, ячменна кладь,— осердился Савватька.— Поживи-ка с мое. Я своими глазами такое-то чудо видал. Прошлой зимой как-то шел от кума с крестин вдоль пруда и вижу: девка сидит и волосы чешет, сама белая, а волосы синие. И таково борзо чешет, только гребень мелькает. Тут я перекре-



стился, воскресную молитву сотворил. Девка как нырнет в полынью — и как не бывало...

— А сколько вы с кумом хмельного тогда выпили? — спросил дедушка Мирон.

Савватька заплевался, заругался, стал божиться, что он сроду никогда не врал, но дедушка Мирон только рукой махнул:

— Проспись, милой.

Савватька забрал свой пониток, улегся на медвежью шкуру и вскоре уснул.

— Добрый мужик, — сказал дед, — только с зайцем в голове.

Стояла глубокая ночь. Холодные осенние звезды играли в небе.

Андрею не хотелось спать: чудное лицо атаманши выступало из мрака...

Утром выпал первый иней. Трава казалась серебряной. Опаленные первым заморозком, побагровели листья рябины, в золото оделись березы, а осины, лесные щеголихи, пылали то багряным, то оранжевым, то желтым. Пойма Камы тонула в серой полумгле.

Слышно было, как сердито бьют о берег тяжелые холодные волны.

Андрей молча тосковал.

Савватька подошел к нему:

— Слышь, малый... Чего ты живешь у старого хрыча? Айда к нам на завод. Там веселее.

— Ты дедушку Мирона не трожь... Не позволю.

— Чего ершишься? Правду говорю. На заводе и работу настоящую найдешь, и невесту я тебе сосватаю такую, что, ячменна кладь, сырьем проглотишь.

— Отвяжись...

На прощание Савватька все-таки выпросил у деда три шкурки: лису и горностаев. Когда он уехал, Андрей сказал с досадой:

— Плохой человек. Говорил: ничего не надо, а шкурки увез все-таки.

Дедушка Мирон нахмурился.

— Больно ты судить-то скор. Во всех худое с добрым переболтано. Кабы не Савватька, не жить бы мне на этом угоре, да и вовсе бы на белом свете не жить. Этот мужик скольких спас... Вот-те и плохой.

«Кто же сам ты такой?» — хотел спросить Андрей и не решился.



Снова потянулись дни однообразной вереницей. Тщетно старался Андрей заполнить их каким-то подобием труда. Он бродил по лесу, слушая задумчивый шорох деревьев.

На мерзлую землю падали мертвые шишки, под ногами шелестела побеленная инеем опаль. А вверху в светло-голубой полынне неба стояло невеселое осеннее солнце, и косяки перелетной птицы с жалобными кликами летели на юг. Кама чернела в белых заберегах, по ней плыла шуга.

В один из первых зимних дней в лесу послышался собачий лай.

Дедушка Мирон встрепенулся.

— Никита никак идет. Друг старинный.— И он, как молодой, выскочил из землянки.

Андрей тоже вышел и увидел, что дедушка Мирон обнимает своего друга. Это оказался огромный мужик с окладистой полуседой бородой. Овчинный полушубок на нем был распахнут и открывал могучую волосатую грудь, на голове у великана красовалась рысья шапка, за плечом висело кремневое ружье, а через плечо походная холщовая сума. Это и был знаменитый по Прикамью охотник Никита Пологрудый. Свое прозвище он получил оттого, что зимой и летом ходил нараспашку с открытой грудью.

— Здорово живете,— молвил он басовито.

— Проходи, проходи,— приглашал дедушка Мирон, искренне радовавшийся гостю.— Садись, разболокайся. Как живешь-можешь?

— Живем в лесу, молимся колесу. А бегаем еще благодаря бога, нога за ногу не задеваем.

Бережно повесил ружье на гвоздь, снял полушубок и сел в одной рубахе на чурбак, поближе к печке.

— За Камень пробираюсь,— сказал он.

— Эх ты, беспокойная душа. Весь век бродишь.

Андрей с любопытством рассматривал Никиту. Великана можно было поначалу испугаться: дремучая борода, густые брови и шапка черных с проседью волос, но ясные детские глаза точно изнутри освещали это страшное, все в шрамах лицо.

— На родину ходил, на Пильву. По Вишере плавал. Возле Полюдова камня медведь маленько помял, недели две отлеживался в Романихе.



— Каков он, Полюд-то? — спросил Андрей. — Большая гора?

— Гора, прямо сказать, красавица, а в горе богатырь сидит. Сторожит богатства неисчислимые, золото и серебро. Кто найдет тайный ход да доберется до самого нутра горы, тому Полюд дает взять с собой пригоршню золота да пригоршню серебра, а коли ты еще в карманы покладешь, не обессудь, — в той горе навеки останешься.

— Что ж ты, милой, не пытался в гору-то слазить?

Никита улыбнулся.

— Мне, Захарыч, сам знаешь, богатство ни к чему. Я своим житьем доволен.

— То-то весь век в рамках и ходишь, а твоими трудами Алин в Чердыни дом сгροхал.

— Алин — мужик умный.

— То-то и есть, что умный; да говорится: не верь уму, верь совести. А у купца вместо совести кошелек с деньгой. Эх ты, простота! Шестьдесят тебе лет, Никита, и все ты дите.

— Ладно, Захарыч, не ругайся. От себя не уйдешь: каким в колыбельку, таким и в могилку.

Андрею понравился охотник: чуялась в нем большая и добрая сила.

Уж ночь наступила, зажгли лучину, старики сидели за столом. Андрей лег на лавку и сквозь дрему слушал их беседу, и то, что услышал, заставило его насторожиться.

— С Матреной виделся.

— Ну? Где?

— Далеко, за Ветланом.

— Эк ее куда занесло.

— Да, там. По лесам зверя, дичи набила. Рыбы в Колве, слава богу, хватает. Думает зазимовать в тех краях.

— Вот бедовая девка!

— Бросить бы ей надо это дело.

— Не бросит. Не таковская. Это мы с тобой бросили, да и то поневоле. Ты-то раньше отбился, а я с Безручком допоследу был.

— И то диво, что уцелел. За твою голову, есаул, большие деньги сулили.

— Да, кабы в ту пору Савватка с лодкой не



подоспел, поминал бы ты меня, Никита, за упокой.

— Гляди-ко, ведь сколько лет прошло, и теперь уж никто не помнит, как ты с Афоней на демидовских заводах суд и расправу чинил.

Дедушка Мирон глубоко вздохнул и опустил голову.

— Годы, они, брат Никита, все заровняют. А доброе дело народ завсегда помнить будет. Это ты не говори, что забыли. Помнят. У народа память железная.

«Вон оно что,—подумал Андрей,—крестный-то с крестницей, оказывается, ближняя родня. Ай да дедушка Мирон!»

И оттого, что узнал дедову тайну, еще больше полюбил этого человека.

Никита погостил у своего друга дня три и ушел за Камень.

Реки застыли, в лесу лежали сугробы, снег опушил деревья и кусты. По ночам были волки. Андрей тосковал по работе, по людям.

Однажды приехал на санях Савватка. Он привез деду муки. На этот раз Андрей сам заговорил с ним о заводе.

— Только как на работу меня примут? Ведь я беглый.

— Работных людей не хватает. Только-только поставлен завод. Примут. Поедем. У меня и жить будешь.

Но тут дедушка Мирон вмешался:

— Савватка — бобыль, станете оба жить впроголодь. Ты просись к бабке Власьевне. Скажи, Мирон послал. Там тебе, по крайности, теплый угол будет.

Андрей скорой рукой собрался на завод. Простился с дедушкой Мироном, как с отцом родным. Старик поглядел на него своими светлыми глазами грустно и ласково, обнял.

— Ну, милой сын, желаю тебе удачи. Помни мое слово: каков ты к людям, таковы и люди к тебе. А работы не бойся — работа, она человеком делает... Не поглянется — приходи ко мне обратно, место найдется...

Мягкими пушистыми хлопьями валил снег. Андрей с тревогой наблюдал, как все гуще и гуще белели спина и плечи сидевшего впереди Савватки.



— Н-но, милая! Прибавь шагу, потрудись, недалеко осталось,— уговаривал тот свою тощую кобыленку.

По Каме ехать было легко, но когда свернули в сторону и до завода оставалось еще верст семь, дорога стала прямо-таки убойной.

— С осени изломали,— пояснил Савватка.— Сперва на заводе-то медь плавил. Поставили фабрики молотовую и доменную, а руду да чугун из Кизела возят. Покудова три горна действуют да шесть молотов. Работных-то людей большой нехваток.

— Каково у вас тут людям живется?

— Наши строгановские против других-то как у Христа за пазухой живут.

Андрей задумался.

Что, в самом деле, если там, на заводе, о работных людях начальники пекутся, как о родных? Лучшего и желать не надо.

Снег падал и падал, с шуршанием ложась на землю, даль казалась белесой и мутной в непрерывном мелькании снежного роя. Андрей, ехавший в гуньке, подаренной дедом Мироном, продрог и все чаще соскакивал с саней, чтобы согреться на бегу. Савватка подбадривал:

— Потерпи, парень, скоро Чермоз. Вон за тем взлобком.

Он понужал кобылу, и сани скоро остановились у первой избы. Над входом почему-то висела елка.

— Приехали? Ты здесь живешь? — обрадовался Андрей.

— Не, я дальше. Здесь Иван Елкин — как его минуешь?! Обогреться надо.

Из полуоткрытых дверей избы валил пар, доносился пьяный говор. Приколоченная елка, оказывается, означала кабак. Андрей ни разу еще не бывал в подобных заведениях и не решался войти.

— Айда, айда! Чего встал? — торопил Савватка.

— Иди, я лошадь покараулю.

— Никуда она не денется. Айда!

И он чуть не силой затащил Андрея. Они вошли в комнату, довольно просторную, со столом посередине, за которым уже сидело пятеро мужиков. В глубине комнаты за стойкой разливал водку и вино сам хозяин кабака, плотный мужчина с тяжелым взглядом



из-под кустистых рыжих бровей. Савватька, сняв шапку, поклонился ему и зачастил скороговоркой:

— Как здоровьице, Семен Трофимович? Как детки? А мы вот с племянником из самого Кизела едем, продрогли до пят. Не одолжишь ли по чарочке? За мной не пропадет.

Выпив стакан сивухи, Савватька повеселел. За столом у него нашелся знакомец, рябой, с тусклыми рыбьими глазами, безусый и безбородый.

— Перша! Да как ты сюда попал? Тебя ровно в Ильинское наряжали.

— Вот из Ильинского и привез земляков. Село-то их к нашему заводу приписано. В курени которых послали, а этих в доменную фабрику.

Два парня сидели с заплаканными лицами.

— О чем ревете? — набросился на них Савватька. — Да, ячменна кладь, кабы не моя поломанная нога, я бы сейчас кричным мастером робил. Из-за ноги меня с работы прогнали.

Перша поддержал:

— Привыкнут. Человек ко всему привыкает.

На другом конце стола сидели двое, обнявшись, и пели что-то очень унылое. Андрей старался разобрать слова. Это была песня на языке коми.

— Что это они поют? — спросил Андрей.

Перша, оказавшийся совсем трезвым, охотно перевел:

Возьму я, возьму котомочку,  
Возьму я, возьму дубиночку,  
Пойду я, пойду по долгой дороге,  
Буду я, буду в черном лесу...

— Эй, вы, иньвенские! — крикнул он певцам. Те замолкли и испуганно подняли головы. — Не вздумайте лыжи наострить. По всем дорогам караулы расставлены.

Наступила жуткая тишина.

«Эге-ге, — подумал Андрей. — Вот тебе и «у Христа за пазухой».



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Чужая сторона*

*Прибавит ума.*

*Пословица*

Дом бабки Тетюихи, или Домны Власьевны, стоял возле заводской церкви. Покойный муж ее был причетником, и после смерти его Домна стала просвирней. Она не только пекла просфоры, но промышляла и другим: заговаривала кровь, бабничала, содержала комнату для приезжающих, пускалась и в коммерцию: в престольные праздники ездила с товаром в Майкор и в Ильинское на базар.

Обо всем этом Андрей проведал от полупьяного Савватьки, который вез его прямо к Власьевне, так что он узнал свою будущую хозяйку еще до знакомства.

Было уже темно, когда они добрались до нее. Савватька постучал кнутовищем в ставень. Послышались шаги.

— Кто там? — спросил сонный голос.

— Отопри, матушка Домна Власьевна, привез тебе постояльца да поклончик от Мирона Захарыча.

— Пожалуйте, пожалуйста! Агашка, отопри!

Ворота распахнулись, и сани въехали во двор, наглухо крытый.

— Здравствуй, матушка, вот молодца тебе привез. Он из благородных. В контору бы его пристроить, — тараторил Савватька.

Домна Власьевна испытующим взглядом смерила «благородного» с головы до ног, увидела гуньку с чужого плеча, летний картуз на голове, стоптанные башмаки на ногах и все поняла.

— Заходите в избу на мою половину.

У Домны Власьевны было уютно: и половики на полу, и лавка круговая, и ставец с посудой в стене, и стол с камчатной скатертью, и картина с изображением ступеней жизни человеческой. На голбце лежал сытый, тигровой масти котище.

Сама Домна Власьевна оказалась пожилой женщиной. У нее было такое доброе лицо, что Андрей не скрыл от нее страшной истины, рассказал все: как он



бежал, как попал в лагерь Матрены, а потом к дедушке Миرونу, как соскучился по людям, по работе, по настоящей жизни.

— Эх, дитятко, тебе бы жить да жить у Мирона. У нашего попа железными просфорами кормят. Не поглянется тебе. Ну, да утро вечера мудренее. Ложись спать.

Андрей залез на полати, а Савватка о чем-то долго вполголоса говорил с хозяйкой. Сквозь сон Андрей слышал, как Савватка крякал и говорил: «Спаси Христос! Дай бог не по последней».

Утром Власьевна накормила Андрея оладьями и отправила в контору, желая всякой удачи.

Контору он отыскал быстро, потому что во всем заводе было только два каменных дома: контора и управительский дом, оба они стояли на высоком месте за плотиной. Зашел Андрей в помещение конторы, да так и остановился: до того знакомой показалась обстановка, точно в Усолье вернулся. Так же сидели за своими столами конторские писцы. У каждого гусиное перо за ухом, перед каждым чернильница, банка с песком и сандарак — притирать скоблюшки, чтобы не растекались чернила. В углу за высокой конторкой сидел бритый пожилой мужчина в парике — начальник заводской канцелярии, или, как его называли, правитель дел.

К нему-то и обратился Андрей.

— Хотел бы получить работу. Я конторское дело знаю, грамоте учен.

Мужчина в парике устремил на него ничего не выражающий взгляд и процедил сквозь зубы:

— Ступай в распомечную.

— Куда? — удивился Андрей.

— В распомечную, сказано.

— Это рядом изба, — подсказал один из канцеляристов.

Андрей пошел разыскивать «распомечную». Там он застал своих вчерашних знакомых: Першу и двух ильинских парней. Распометчик записывал их в доменную фабрику. Парни с унылым видом выслушали решение своей судьбы.

— Ну, а тебе что? — спросил распометчик Андрея.

— Из конторы послали.

— Фамилия, имя?



— Некрасов Иван,— соврал Андрей.

— Эх, какой ты рыжий, кудри огнем горят. Тебя надо поставить поближе к огню.

— Отправь его на домну,— подсказал Перша,— под начал ко мне. Через год мастером будет.

— Будь по-твоему.

Так вместо конторы угодил Андрей Плотников на огневую доменную работу.

Непривычного человека ужас охватывал в этом закопченном сарае, где вспышки пламени озаряли черные стены и усталые лица людей в кожаных запонах. Пламя бурлило, клокотало и, казалось, готово было вырваться, сжечь людей.

Люди чуть не падают от изнеможения. Трудно становится дышать от нестерпимой жары. Кружится голова, и часто начинает стучать сердце.

— Эй, сторонись!

Несколько рабочих тащат тяжелый короб с флюсом.

Шестисаженная домна, как ненасытное чудовище, готова без конца глотать эти короба с рудой, известковым камнем и флюсами. Непрерывно везут по плотине уголь, таскают носилки.

Ровное розовое пламя колеблется над пастью домны. Работники заваливают уже десятую колошу. Время от времени взрывается пламя, люди отбегают. Прозеваешь — обожжет огненным дыханием.

Андрей мучительно переживал первые дни новой работы, хотелось поскорее привыкнуть к ней.

Поставили его на просевку песка для опок. Вместе с ним работали два брата с Иньвы, кроткие, молчаливые люди.

...Печь клокотала, тучи искр и дыма вырывались из жерла домны. Деревянные клинчатые мехи нагнетали воздух с фурмы. Тихо и медленно двигалось огромное маховое колесо, и с каждым его поворотом, свистя и хрипя, растягивались мехи и гудела домна. Грохот стоял такой, что, казалось, можно было оглохнуть. Мастер кричал в переговорную трубку. Чугун опускался все ниже и ниже и становился молочно-белым.

— Господи благослови! Сварилось. Отходи!

Из устья печи хлынула ослепительно яркая струя и поползла светящейся змеей, разбрасывая искры.



Они взлетали к высокому черному потолку, вылетали в просветы между балками и таяли там. А чугун лился в формы и остывал в них. Сначала оранжевый, потом красный, потом багровый, он темнел все больше и больше. Невольно залюбовался Андрей.

— Ну, чего стоишь болваном! — раздался сзади голос Перши, и Андрей едва не упал от сильного удара палкой по спине.

Мгновенно обернулся и, сжав кулаки, кинулся на обидчика.

Тот отскочил и со злобой пробормотал:

— Вишь, какой сердитый. Ну, погоди ты у меня.

На следующий день Андрея поставили на работу еще более трудную и опасную — заваливать руду и флюсы. Молча подчинился юноша этому новому повороту в своей судьбе.

Время шло и все помаленьку заравнивало. Стал Андрей привыкать и к работе, и к людям. Полюбил он мастера Петровича за его умение варить чугун и во всякое время справляться с уросливой домной, жалел ильвенских, которые никак не могли привыкнуть к «огненному действию». Нравились ему ильинские парни, поставленные на доменную работу. Один из них был совсем смирный, зато другой оказался малый хоть куда: белобрысый, со шрамом на щеке, с лукаво щурившимися глазами Никифор Лисьих всех потешал рассказами о всевозможных приключениях, а больше всего о чужих краях. Сам он о них, по его словам, слышал от дворового, услужавшего господам, жившим в Ильинском, где была главная строгановская контора. В часы, когда, завалив в домну очередную колошу, мастеровые шабашили, вокруг Никифора собирались любители послушать забавные его истории...

Андрей старательно учился у опытных рабочих, как нужно держать носилки, как сбрасывать и поднимать, не делая лишних движений. Больше всего тянуло его узнать само доменное действо.

Он часто стоял за спиной мастера, когда тот «колдовал» у печи.

Однажды Петрович обернулся и не то с досадой, не то насмешливо спросил:

— Не видал чугунного молока?



Андрей честно ответил:

— Как не видал, да научиться хочется, твою тайность охота познать, Петрович.

— Ты что, стервец, удумал?

Петрович ударил Андрея по спине, но, похоже, не со зла.

— Никому тайности моей познать не дозволено. И снова гудит домна. От поворотов водяного колеса сотрясаются пол и стены поддоменника.

...Как-то в конце работы Петрович дернул Андрея за рукав.

— Слышь, приходи ко мне в воскресенье после обедни.

В воскресенье — это значило через день.

В субботу, как водится, у всех на огородах топились бани. Когда Андрей пришел с работы, баня уже истопилась. Власьевна сидела за столом с головой, завязанной полотенцем, и охала. Агафья стояла перед ней с деревянным выражением лица.

— Дура ты приснопамятная! Уморить, что ли, меня собралась? Ведь к завтраму просфоры надо печь. Ой, головушка моя победная!.. Да что столбом-то стоишь? Принеси хоть рассолу!

Агафья молча пошла выполнять приказание.

— Ты, Андрюша, обожди ходить в баню-то, угоришь. Да и Савватка сулился прийти. Вместе и сходите.

Савватка не заставил себя ждать и вскоре пристылял.

— Здорово, матушка Домна Власьевна! Хвораешь? То-то, сколь разов говорил тебе: не ходи в первый пар. Не ровен час и кончину примешь. У меня с кумом такое приключилось...

— Не мели языком! Ступайте с Андрюшей. Веники возьмите... Агашка, дай им веники.

Банька у Власьевны отличалась, как и все в ее хозяйстве, чистотой и добротностью.

Раздевшись, Савватка тотчас полез на полок и принялся хлестать себя веником так усердно, такого надал пар, что Андрей не один раз выбегал в предбанник. Напарившись всласть, Савватка стал мыться. Он пришел в блаженное состояние и говорил без умолку.

— Вот ты, Андрюха, глядишь на меня и думаешь:



«Непутевый ты, Савватка, пьяница и нероботь, ячменна кладь...»

— Никогда я такого не думал, Савватий.

— Не думал — и хорошо. Я, Андрюха, добро жил, семейно, из полного сусека ел. В кричной робил, и лучше меня подмастерья не было по всему заводу. Подхватить крицу на вилки — это для меня было все равно, что плюнуть. Я ведь с основания завода, коренной рабочий человек... И так мне сперва счастливо: женился, хозяйство завел, дом выстроил. Сын родился, в дедову память Иваном нарекли... А потом, ячменна кладь, как под гору покатился. Сломал ногу и работать не смог. А любил я ее, заводскую работу, хоть и тяжелая она. Год прошел — умер от черной немочи парнишко. Нога-то у меня худо срасталась, лежал я лежнем, а жена и за себя и за меня вымогалась на господской работе. Ну и надорвалась... Похворала год и богу душу отдала. Так вот оно, Андрюха, и пропало все, и остался я бобылем, ячменна кладь...

— Горькая твоя доля, Савватий.

— А ты не жалея! Не люблю, когда жалеют. Давай-ка мы лучше кваску выпьем...

Одеваясь, он подмигнул Андрею.

— Зазнобушки-то еще не нажил? Коли надо, скажи. У меня в соседях живут девахи добрые, работающие. Женю тебя: я в посаженные отцы пойду, Власьевна — в матери... Живой о живом думает, Андрюха... Чуешь?

— Рано мне об этом думать, — хмуро отрезал Андрей, образ красавицы атаманши опять встал перед ним, и сердце запылало.

— Во всяком разе, коли приключится какая нужда или беда, не забывай хромого Савватку. Выручу... Спроси у дедки Мирона, как мы с ним встретились. Я, брат Андрюха, даром что калека, каждого насквозь вижу...

Андрей перестал слушать. Савватка попал на свою колею и пошел врать да хвастать.

В воскресенье после обеда Андрей не без робости отправился к Петровичу. Жил мастер недалеко от церковной площади на самом уветливом высоком месте, где ставили первые заводские избы. Отсюда пошла главная заводская улица. Дома строились «по-росейски» — огороды на задах, с улицы высо-



кое крыльцо с подклетью. Таким был и дом Петровича.

Поднявшись по ступенькам крыльца, Андрей зашел в сенцы, разделявшие избу на две половины. Не зная, в которую дверь стучать, наугад постучал в левую. Оказалось, тут и жил сам хозяин.

Петрович, хоть и полагалось в воскресный день отдыхать, стоял у окошка, затянутого пузырем, и на небольшом аккуратном верстачке выпрямлял железный прут.

Хозяйка вынимала из печи пирог. В комнате стоял густой и острый запах сига.

— Разболокайся да садись за стол,— повернувшись вполупорот, сказал Петрович.

Редкие волосы у него были ради праздника расчесаны и примаслены. Непривычно было видеть его без кожаного запона, без вачег — в рубаше с вышитым воротом, подпоясанной пермяцким узорчатым поясом.

Постукивая ручным молотком, Петрович говорил своим глухим, сиповатым басом:

— К пирогу поспел. С сигами пирог. У купцов чердынских рыбу купил.

Жена Петровича тем временем накрывала стол, ставила на него деревянную тарелку с пирогом.

— Ешь,— скомандовал Петрович.

Пирог оказался сочным, вкусным. Отправляя в рот кусок за куском, Андрей разглядывал комнату. Стены и пол были чисто выскоблены. Единственный сундук заключал в себе, видимо, все имущество старого мастера. На полках стояла посуда — глиняная, деревянная, и, видимо, многое было сработано руками самого Петровича, в том числе берестяная солонка и ложки с фигурными ручками. На стене красовалась лубочная картина «Погребение кота мышами».

Завтрак прошел в молчании. Затем хозяин с Андреем выпили по полной кружке пермяцкой браги, хлебной и сытной.

— Так, говоришь, тайность мою хочешь узнать?

Петрович кинул на Андрея быстрый и, как тому показалось, насмешливый взгляд.

— Ни к чему она тебе. Ты человек залетный. Сегодня здесь, завтра там. А мы здешние, коренные. Нами заводы строятся, нами держатся. Худо ли, хорошо ли — все одно мы к заводу как пришитые.

— Что ты, Петрович! Я думаю остаться здесь.



Помолчал Петрович и глянул пронзительно.

— Дальний ты?

— Усольский. Служителей сын. Отца давно в живых нет.

— Как же в краях наших очутился?

Андрей замялся.

— Не бойся. Не выдам.

— Беглый я.

— То-то и есть. Ты беглый и дале побежишь, а мы останемся.

«И с чего это он заладил одно и то же,— с досадой подумал Андрей.— Не нужна мне его тайность в таком случае».

— Грамоте учен?

— Учен.

— И то добро... Выйди-ко, Арина.

После того, как жена вышла, Петрович, испытующе глядя Андрею в глаза, начал вполголоса:

— Позвал я тебя как человека нездешнего и, видать, грамотея. Хочу тоже узнать одну тайность.— Он понизил голос до шепота: — Правда ли, будто царь Петр Федорович жив? Слух идет, что сокрылся он... И будто в наших местах...

Андрей ответил, что ничего такого он не слышал. Петрович стал пасмурен и молчалив. Андрею стало жаль его, он спросил:

— А какое это может иметь следствие?

— Дело-то государственное,— ворчливо заметил мастер,— а ты еще млад и глуп.

Разговор явно не клеился. Андрей поблагодарил хозяина за угощение и распрощался.

Шел он по улице и думал: неспроста идет слух о покойном императоре. Ждет чего-то народ.

Солнце багровело к морозу.

Идя мимо соседней избы, Андрей услышал пение и топот каблуков. «Живой о живом думает»,— вспомнились ему слова Савватки.

«А завтра ни свет ни заря эти же люди пойдут кто в кричную, кто в доменную, кто в кузню, кто в меховую фабрику».

Андрей не без удовольствия подумал, что теперь уже не страшно ему «доменное действо», что становится он работным человеком, таким же, как все, окружавшие его.



На следующий день поставили его на поддоменную работу. Андрей понял — тут не обошлось без Петровича и обрадовался: признают его, стало быть, заправским рабочим. Живя на заводе, Андрей понял, кто здесь составляет главную силу. Такие, как Петрович, знали дело лучше всех приказчиков, вместе взятых.

На каждой фабрике были свои мастера-умельцы: искусные литейщики и кузнецы, слесари и токари, кричные мастера, управлявшиеся с раскаленным металлом, знаменитые строители плотин, каменщики, воздвигавшие здания на вечные времена. Каждый из них вносил в общее дело свой опыт и умение. Без них рухнуло бы все заводское действо и железное дело пришлось бы прикрыть.

Андрей все больше и больше втягивался в заводскую работу. Хотелось ему стать хорошим мастеровым, но случилось так, что в жизни его снова произошел крутой поворот.

Наступила весна, и по улицам побежали мутные ручьи. Лед на пруду побурел. На деревьях, еще голых, неумолчно кричали грачи. Все чаще заводские крестьяне стали поглядывать на обнажавшуюся землю: с каждым днем все больше манила она хлебоборов.

В этот роковой день Андрей встал по обыкновению на рассвете, хотя и было воскресенье. Расчесал кудри, умылся и, не зная, чем себя занять, взял книжку. Ее оставил один из постояльцев Власьевны. Называлась она «Лолота и Фанфан».

«Кроткому духу нравится резвое журчание ручейков и густая тень рощей, а особенно тогда, когда я, о, люди, схоронил свое сердце далеко!»

Читая эти строки, Андрей усмехнулся. Сразу видно, что барин сочинял. Было время слушать журчание ручейков. А тут спину некогда разогнуть. Перед глазами встала вчерашняя встреча с мастеровым из кричной фабрики. Парень шел и стонал.

— Что с тобой?

— Уставщик избил... Каждый день бьет, незнамо за что.

«Незнамо за что» били всех. Эх, кабы не было над работными людьми злодейской власти!



Андрей направился к Никифору Лисьих, с которым последнее время подружился.

— Что-то надо делать, Никифор. Худо живется людям. Может, начальство не знает, как обижают нас уставщики и надзиратели?

— Как не знает! С ведома управителя и декуются над нами. Меня за пустое слово выпороли при конторе. А кому я согрубил?

— Нет, надо что-то делать.

— Слезницу писать?

— От слезницы толку не будет, а вот с глазу на глаз поговорить с управителем...

Никифор ничего не ответил, надел шапку и азам.

— Пойдем хоть подышим.

У церковной ограды толпились приписные к заводу крестьяне. Они толковали меж собой.

— Время пахать...

— Да, теперь день год кормит.

— Уезжать надо. Мы не собирались так долго работать.

— Начальство нас обмануло.

— Кабы кто грамотный... Сходить бы к управителю. Может, отпустит.

Андрей толкнул Никифора в бок:

— Чуешь?

— Чую.

На другой день в поддоменнике, когда мастеровые стояли возле печи, дожидаясь плавки, Никифор сказал Андрею:

— Слышь, ночью-то пятеро приписных утекли на конях с завода.

— Толково сделали,— отозвался тот.— Жаль, что не все. Пускай начальство слово держит. За людей нас не считают.

— Начальству о нас заботы нет, хоть помри на работе.

— Тихо! — прикрикнул на обоих Петрович.— Глядите-ка, Перша-то слушал, слушал, да и пошел... Куда он?

Один из рабочих выглянул в раскрытые настежь ворота.

— К конторе идет.

— Ну, ребята, спасайте шкуры,— сказал Петрович.— За язык спина ответит, мягче брюха сделают.



Парни приуныли.

— Что делать, Андрюха? — спросил Никифор. — Попали мы в петлю.

— Пойдем к Савватке. Он поможет. Уходить надо скорее...

Савватку они застали за работой: рыбак смолил лодку, посвистывая и напевая песню.

— Помогай бог!

— Здорово, коли не шутишь. Садитесь на приступок. В избу не зову, необходимо у меня.

Изба у Савватки покосилась, крыша прогнулась, а затянутые бычьим пузырем маленькие окна походили на бельма.

— Мы к тебе, Савватий, по делу. Выручай из беды. Надо спастись, пока не поздно. Заводское начальство не сегодня-завтра доберется до нас. Увези к деду Миرونу.

— Не могу, милок. Погляди, какая ростепель!

— Так не выручишь?

— Как не выручу, ячменна кладь! Провожу вас в свою землянку на Каме, там дождетесь ледохода. Лодка у меня есть — садись и плыви, куда хошь.

Последний час коротал беглый писец Андрей Плотников в Чермозе. Власьевна уже знала о его намерении и готовила ужин.

— Мне и есть-то неохота, — говорил Андрей, — скорей бы Никифор пришел.

— Как перед дорогой не поесть, Андрюшенька. Что-то с тобой станется? Выбирай себе товарищей добрых, а с лихими людьми не связывайся.

— Для меня, Власьевна, самые лихие люди — это заводской начальник да полицейский служитель.

— Оно и верно. Сама начальство не люблю. А все-таки сидишь тихо, так и начальство не тронет.

Андрей хотел ответить, что ничего не боится, но в ставень постучали. Это был Никифор.

— Готов?

— Готов.

— Садитесь, поешьте, — упрашивала Власьевна, но приятели отказались: хотелось скорее уйти от опасности.

Сердечно простился Андрей со своей хозяйкой, благодаря ее за все заботы о нем. Власьевна прослезилась:



— Как родного сына тебя провожаю. Так весь век и расстаюсь с дорогими сердцу: в молодости мужа похоронила, потом друг милый в разбойники ушел, а теперь и с тобой прощаюсь. Береги себя, Андрюшенька, не ввязывайся в худые-то дела.

Ночь была звездная. Тихо-тихо журчали ручьи. Черные тени от деревьев падали на землю, не успевшую еще застыть.

Савватка ждал их уже во всей амунии, с дорожной сумой, с топором за поясом, у своих ворот.

— Где вы запропали, ячменна кладь?

— Не сердись, Савватий! Пошли.

Земля начала подстывать, идти становилось легче.

Андрей с Никифором поселились в землянке на крутом берегу Камы.

Неласковая северная весна улыбалась все чаще. Уже зазеленела трава на угорах. Лес звенел от птичьего гама.

Солнце играло в голубой вышине, только ветер с севера, с далекой колвинской и вишерской пармы дышал холодом, да в разлогах под сенью островерхих елей еще лежал белыми плешинами нерастаявший снег.

Лед на Каме тронулся ночью. Андрей, проснувшийся от шума, разбудил Никифора. Тот поднялся недовольный, почесываясь.

— Чего ты?

— Да погляди, красота-то какая!

Андрей стоял на берегу и не мог оторвать взгляда от быстро несущихся льдин. Они со скрежетом задевали одна о другую. Вода под ними шипела и пенилась. Кама словно срывала с себя оковы.

— Ну, Никифор, скоро и мы с тобой поплывем.

— Я к себе в Ильинское. Тятка с мамкой, поди, глаза обо мне проплакали.

— Берегись, больше суток тебе там жить нельзя. Поймают — засекут. Укажу я тебе надежную пристань.

И Андрей рассказал, как отыскать землянку дедушки Мирона.

— Пожалуй, и вправду нельзя мне оставаться дома. Стало быть, вся жизнь моя теперь по ветру летит? Как ты полагаешь?



— Не жалею, Никифор.

— Я на все пойду. Мне самого себя не жаль. Только от родных мест неохота уходить.

— Может, еще и наладится твоя жизнь. А я на низ подамся, в Кунгур либо в Екатеринбург. В большом городе и укрыться легче.

Утром Никифор все-таки ушел в Ильинское.

Андрей готовил лодку к отплытию, конопатил щели, прибил доску на сиденье, стругал весла.

Отплывал он в ясную погоду, в солнечный ветреный день. Ветер завивал водяные стружки. Широка и величественна была в эти дни Кама. Вся она радостно светила под солнцем, словно торжествуя свое освобождение. Прибрежные тальники поднимали над водой верхушки голых веток. Проголосной песней лилась перед ним река.

На свежем воздухе сон приходит легко. Андрей спал, и снилось ему, будто баюкает его в лодке камская волна. Спал так крепко, что, когда проснулся, ничего не мог понять. Перед ним стояло несколько человек. Один из них держал его за руки.

Андрей отшвырнул его от себя и попытался приподняться, но тут же упал — ноги были связаны. Стоявшие над ним захохотали.

— Попалась птаха!

— Чего с ним цацкаться? Тащи в лодку!

Как ни сопротивлялся Андрей, его все же скрутили, связали ремнем руки и поволокли к лодке.

«Что со мной будет?» — промелькнула мысль.

Связанного по рукам и ногам Андрея, как выяснилось, везли на медеплавильный господина Осокина завод. Был этот завод больше похож на крепость. Все — и фабрики, и магазейны, и казармы, где жили работные люди, заводчик приказал обнести частоколом. У ворот бессменно стоял караул.

Андрея втащили в караульную, и тут же его принялся допрашивать полупьяный сержант. Видя, что от нового работника трудно чего-либо добиться, он распорядился развязать пленника и направить в ближайшую землянку, куда уже сходились из фабрики и работные люди.

Размяв затекшие мускулы рук, Андрей почувствовал себя легче. Спросил у сгорбленного рудоноса, как живется работным людям на Юговском заводе. Тот



повернул к нему костлявое бескровное лицо и сказал хрипло:

— Порядки известные — раным-рано гонят на работу. Все робят: и мужики, и бабы, и старики, и малолетки, и русские, и башкирцы, и вотяки, и чувашаи.

Поглядел Андрей на фабрики, и тоскливо ему стало. Поднимался над ними какой-то зловещий желтоватый дым.

Фабричные строения чернели у подножия плотины. В сливных каналах колебалось отражение пламени, вспыхивавшего над плавильными печами. Пруд багряно рдел в лучах заката.

Горько задумался Андрей о своей доле. Почему же он, Андрей Плотников, снова оказался не хозяином, а рабом горестных обстоятельств судьбы своей?

Он стоял до тех пор, пока не появился красноносый сержант:

— Т-ты... по какому случаю тут... К-каналья!

Андрей с ненавистью взглянул на пьяного сержанта и побрел в казарму. Здесь царила полутьма, в узкие оконца еле пробивался свет. Сперва трудно было что-нибудь разглядеть. Через всю казарму тянулись двойные нары. На бечевках между ними были развешаны онучи, опояски, рубахи. Кислый запах ударял в нос. Люди лежали вповалку. Одни уже уснули, другие штопали порванное белье, третьи ужинали. Слышался глухой, сдержанный говор.

Андрей выбрал свободное место на нижних нарах. Соседом его оказался давешний рудонос. Он со стоном ворочался на нарах.

— Что, землячок? Али занедужил?

— Давно хвораю...

— Сколько же лет-то тебе?

— Пятьдесят второй пошел. Сорок лет на заводских работах состою... Сорок лет...

Он надсадно кашлял.

— У нас здесь и помереть не дадут спокойно. Кабы я один такой был, а то вон Степану Оборину за самовольную отлучку сто пятьдесят лозанов дали. Степану-то шестьдесят годов, и к работе он маломощен... Да что старики? Малолеток не щадят. Ванюшке Спирякову тринадцать лет было. Принес домой поделку из меди, чтобы, значит, домашним показать — взяли под караул и присудили наказать сотней розог. Пар-



нишка-то был малосильный, заморыш, ну и кончился под розгами... У нас так: помираешь — и то поднимут за ноги, приволокут на работу, и тут тебе полицейское исправление по форме определяют. Розгами душу из тела вынут.

Под этот разговор Андрей заснул крепким сном восемнадцатилетнего парня.

...Проснулся от грубого толчка в бок. Вчерашний сержант стоял над ним, злобно выпучив глаза.

— Вишь, разлегся! Тут тебе не у тещи... Вставай, сволочь!

Кругом сыпались с нар полуодетые люди. Кто надевал рубаху, кто обувал лапти, кто, уже одетый, искал в мешке ложку, кружку, деревянную чашку. Возле казармы за длинным деревянным столом рассаживались работные люди.

— Ешь на весь день, набирайся сил, — сказал Андрею старый рудонос, наливая себе из ведра, стоявшего на столе, полную чашку щей.

«Попал из огня в полымя, — подумал Андрей. — Ну, коли так, долго здесь не загощусь». И он жадно поглядел на другой берег пруда.

В помещении конторы за столом, залитым чернилами, сидели протоколист и усатый пучеглазый сержант.

— Рудоносом назначаю, — буркнул сержант, даже не взглянув на Андрея.

Руду носили прямо из куч, сбрасываемых рудовозами. Поглядел на них Андрей и ахнул — страшны были эти рудничные со следами рудной охры на лицах, с темно-бурыми руками: десятки лет перебирали эти руки тяжелые куски медного колчедана.

«Ну, мне не впервой», — сказал про себя Андрей, ловким рывком поднимая носилки с рудой.

Руду носили в плавильную — благо, недалеко.

Одноэтажное сооружение фабрики походило на тюрьму. Вверху под самой кровлей поблескивали восемь полукруглых небольших окошек с решетками.

Над фабричной крышей высились четыре узкогорлые трубы. Из них поднимались клубы ядовитого желтого дыма.

Внутри фабрики стоял вечный полумрак. От черного земляного пола, от сваливаемой в кучи руды в воздухе кружилась густая едкая пыль.



Расплавленную медь выпускали в лётку, ею наполняли тачки, из которых огневая жидкость разливалась в круглые ямы, вырытые в земле. От льющегося металла шел голубой и едкий дым. Плавильная наполнилась белесым туманом. Дышалось тяжело, и рабочие, поставленные к плавильной печи, всю ночь харкали «чернядью».

«Вот тебе и новая работа», — думал Андрей, с ожесточением таская носилки. Он качался от усталости. В нем все более закипала злоба. Он вспомнил Петровича — умного, знающего мастера, своих товарищей по доменной работе. Здесь еще больше почувствовал Андрей рабское свое состояние.

Выпустили медь. Ослепительно сверкая, полилась она в изложницы.

Вдруг раздался душераздирающий вопль. Бросив носилки, Андрей кинулся в ворота плавильной. На полу возле печи, извиваясь, как червяк, катался человек. На нем пылала рубаха, пахло чадом горящего тела.

Вокруг сгрудились испуганные мастеровые.

— Воды! — закричал Андрей. — Человек кончается...

Несколько мастеровых бросились за водой.

Горевшего подняли. Лицо и борода были сожжены.

— Братцы, — стонал он, — родимые... — Голова его бессильно откинулась.

Гнев овладел Андреем. Все, что он перенес за эти последние полгода своей жизни, встало перед ним в кровавом образе заводского начальника, как враждебной человеку силы, и, когда в плавильную пришел унтер-шихтмейстер, толстомордый и дюжий, Андрей крикнул:

— Долго нас казнить будете?

Тот даже попятился. И вдруг произошло одно из тех событий, когда люди действуют неожиданно даже для себя самих.

На крик Андрея все повернули головы.

Литухи побросали тигли, рудоносы — носилки.

— Не кормите, а работу спрашиваете!

— Где у вас правда?

— Докудова тиранить будете?

Каждый торопился высказать свои обиды.



Пришли двое работных, уносивших обгоревшего из фабрики.

— Помер.

Негодование еще сильнее овладело толпой. Кой-кто схватился за ломки.

— В печь его, толстомордого!..

— Ответит за все разом!

Андрей схватил унтер-шихтмейстера за шиворот и, повернув его лицом к выходу, вытолкнул из пла-вильной.

...А через час в сопровождении двух стражников стоял перед сержантом, и тот не то с сожалением, не то со злостью говорил:

— Эх ты, балда! Рудник заработал, да еще с исправительной казармой...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Работали мы день до вечера,  
До потух-зари.  
А с потух-зари мы домой пошли.  
Домой пришли позднехонько.  
Под окошечко постучались —  
Отцы, матери испужались.*

*Песня*

Бадья быстро опускается вниз, в глубь колодца, в «дудку». Раскачиваясь, она ударяет то об одну стену, то о другую. Внизу — пропасть, темь, зловецим могильным холодом веет оттуда. Вверху светлый клочок неба становится все меньше и меньше. Кажется, навсегда прощаешься с солнцем, с зеленым привольем, со всем, что так дорого на земле. Скрипит ворот, руки крепче стискивают пеньковый канат. Сердце замирает от мысли, что можно сорваться в глубь этой зияющей тьмы.

Но вот бадья стучается о твердую почву.

— Отпускай канат! — слышится сверху.

Теперь надо пробираться по краю штольни. Кое-где рука нащупывает подхваты, сделанные из крепкого лиственничного дерева. Надо идти во мраке, ощупью. Сделаешь неверный шаг — прощайся с жизнью, тут то и дело попадаются ямы, и не один в этой норе свернул



себе шею. Стены холодные и влажные. Вода струится то в одном, то в другом месте. Скоро вся одежда становится мокрой. И вот здесь, в этой норе, нужно работать. Глухо, жутко, даже собственный голос не узнаешь. Надо долбить породу, кайло то и дело отскакивает от камня. Жарко, а еще более душно. Кто-то высек огонь, засветил лучину. На миг озарились светом черные норы, заблестела вода под ногами, обозначились фигуры полуголых рудобоев. Но вот лучина зашипела, погасла, и снова все погрузилось во мрак.

Люди задыхаются. Хотя бы глоток свежего воздуха. В висках стучит, сердце бьется. Скорее бы, скорее выйти из этой крошечной тьмы на свет, на свежий воздух!

Но выйти нельзя. Долгие часы проходят в тяжелой работе. Тут и там слышатся глухие удары железа о камень, шум подземных вод и стоны невольников этого подземелья. Только поздно вечером опустится бадья, и друг за дружкой станут подниматься на белый свет рудничные. На некоторых из них звякают кандалы.

Дни текли, томительно похожие один на другой. Вместе с другими рудничными Андрей вскакивал с нар, наспех умывался и подходил к шахтному колодезю. Черная яма зияла, как разинутая пасть, готовая проглотить свою жертву. Вместе с другими возвращался Андрей в казарму, ложился на жесткие нары и предавался горьким злым думам.

Прошное снова и снова вставало перед глазами: лица и события проходили чередой, теснились в мозгу...

Не однажды пытался Андрей завести то с одним, то с другим из рудничных разговор об освобождении от неволи.

— Как освободишься? Караулы кругом, тын высокий. Не убежишь.

— Чтобы убежать, надо перебить стражу.

Рудничный только вздыхал в ответ.

— Да кто вы: люди или твари неразумные?

— Забитые мы до полусмерти, вот мы кто.

Андрей же не бросал мысли о свободе.

Год провел он в исправительной казарме на хлебе и воде — и выжил. Чем дальше, тем больше укреплялась в нем мысль избавиться от неволи.

Помог случай.



Вечером поздней осенью, когда сиверко прохватывал насквозь, а на застеклившиеся под заморозками лужи падали последние блеклые листья и алый закат разливался над гребнем гор, в казарму пригнали новую партию рабочих.

Они вошли шумной толпой, в старых азямах, в лаптях.

— Нет ли землячков? Есть камышловские?

— Нет ли кого шадринских?

— На кладбище земляков ищи,— отозвался с нар-глухой и сердитый голос.— Недолго дожидаться и вам.

— Что, разве шибко лихо?

— Отведай — узнаешь.

— Не то видели, не запугаешь.

Это были сплошь участники крестьянских волнений в Камышловском и Шадринском уездах. Держались они дружными кучками, по волостям.

Андрей прислушивался и присматривался, но в казарме было темно. Несмотря на ранний час, наработавшиеся до усталости рудничные ложились спать. Возле растопленной печи пришедшие с работы сушили онучи.

Один из новичков подсел к ним, как старый знакомый.

— Что, братцы, приумолкли? Не вешайте голов, не унывайте. Распоследнее дело — унывать. Споем лучше нашу дедовскую.

Ты взойди-и, взойди, солнце красное...—

чистым и звонким голосом затянул он старую волжскую песню,—

Над горою ты взойди, над высокою...

— Будет тебе волков пугать! Кого там взяло? — раздалось со всех сторон.

— Нешто и петть здесь нельзя? Эх вы, пуганые!

Андрей подошел к печке и взглянул в лицо певцу. Что-то знакомое мелькнуло в этом худощавом седом человеке с сумасшедшинкой в глазах, во всем его гибком, как у ящерицы, теле.

— Блоха.

Это был он.

— Блоха! Родной мой! — Андрей схватил знаком-



ца в объятия, стиснув его острые плечи своими сильными руками. Кругом ахали.

— Вот где земляки-то друг друга отыскали!

— Мы больше чем земляки,— сказал Блоха.

— Как ты попал сюда? — спросил Андрей.

— Говорят, в Тамакульской волости мужиков на бунт подговаривал. Да мало ли чего не наскажут.

И Блоха лукаво подмигнул.

Андрей в ту же ночь поделился с ним мыслями о восстании.

Решено было разделить людей по десяткам и каждому десятку поручить свое дело: одним снимать с вышек караулы, другим обезоружить охрану, третьим — идти в контору.

Дул студеный ветер. Тучи, клубясь, вытянулись над горами в одну сплошную грядку. Закатные лучи ярко освещали их края, и казалось, будто там, за горами, тлеет зарево большого пожара и ветер несет все дальше и дальше обагранный отсветом пламени дым.

Закусив чуть не до крови губы, поднялся в бадье Андрей.

— Ты почто рано? Смена не кончилась,— сказал воротовой.

— Замолчи! — крикнул Андрей.— Там пятерых придавило.

К шахте сбегались рабочие. Штейгер-немец ругался.

— А, канайль! Русише швайн! Ленъ работайт? Шиво на работ! Марш в шахта!

Между тем из черного устья шахты поднимались еще рабочие с бледными, безумными лицами.

— Обвал! Завалило еще троих...

Толпа волновалась. Катали побросали тачки, сгрудились. Блоха протискивался между людьми, уговаривал:

— Не ждите добра от начальства. Сегодня восьмерых задавило, завтра, может, еще больше погибнет.

Андрей взял его за руку:

— Звони сполох.

Кто-то схватил штейгера за шиворот:

— Конец вашей власти!

Это явилось сигналом. Часть рудничных, похватав



кайлы, кинулись к вышкам, другие бежали к кордегардии.

Бунт начался и вскоре охватил весь рудник. Закованные сбивали с себя кандалы. Тачки летели в устья шахт. Сигнальный колокол звонил без умолку.

В здании конторы рудничные спешно уничтожали списки рабочих и реестры. Солдаты, находившиеся в кордегардии, не могли выйти, потому что дверь была завалена бутовым камнем и бревнами.

— Наша взяла! — ликовал Андрей.

Но Блоха остудил его радость:

— Лучше давай поскорей смазывать пятки: смотритель успел угнать не то в Билимбай, не то в Ревду. Того и жди — солдаты нагрянут.

В тот же вечер они бежали с рудника. Решили укрыться в куренях под Ревдой. Это была затея Блохи.

— Я и чеботарь, и шорник, и коновал, — говорил он. — А где мы найдем работу и жительство, как не на куренях? Нас с тобой там на руках станут носить. Меж людей-то и сам человеком будешь.

Слова Блохи оправдались: в куренной избе отвели сапожникам угол, кормили даром, только работай. Работы оказалось много, притом спешной: кому хомут починить, кому седелку, кому узду сшить, а то и всю шлею. Наступала пора возить уголь. Блоха не слезал с сидухи, обшитой кожей. Шило так и мелькало в его костлявых и сильных пальцах. Андрей старался не отставать, помогая ему и на ходу учась шорному мастерству.

Блоха подмигивал лукавым глазом:

— Живем, Андрюха, до весны, а там, как вольные птицы, улетим на Волгу.

И он запевал свою любимую песню.

Ты взойди, взойди, солнце красное!

Андрей подтягивал, любуясь своим неунывающим другом.

Вечером приходили с работы жигари, кучеклады, дроворубы, топили печь, ужинали и слушали побаски Блохи.

Уже миновали сретенские морозы, веселей глянуло солнце. Проснулся, ожил лес, звонко стучали дятлы, какая-то пичуга чиликала на ближней сосне. С крыши



свесились ледяные веретена. Дроворубы уходили в лес довольные, не надо было надевать тяжелые тулупы и полушубки. Куренной староста сказал:

— Скоро по домам.

Наконец подъехала смена. Назначенные в курени на время весны приписные крестьяне были озлоблены: свое хозяйство приходилось оставлять в самую горячую пору.

Зато отбывшие срок кабанщики ликовали. Куренной староста сунул Блохе кошелек с деньгами.

— Бери, приятель. Мы со всей артели собрали в благодарность за ваши труды и подмогу. Спасибо вам, родные!

Блоха взял деньги.

— Пригодятся,— сказал он Андрею.— Айда и мы в путь-дорогу. Сказывают, на Чусовой, у Шайтанки, большой караван сбивают.

— Готов хоть сейчас,— обрадовался Андрей.

Сумрачные, сплошь заросшие лесами горы: Волчиха, Полынная, Березовая, Мокрая. Таежная глухомань. Бродят по тайге волки, дикие козлы, сохатые. Глубоки закрытые тенью лога. Бегут по ним горные речки и ручьи, змеясь в кустах, сонно затихая в омутах, весело разливаясь по каменистому ложу на несколько рукавов, журча и сверкая. Непроходимые дебри сторожили глухие урочища, стиснутые между горными громадами. Первые насельники края башкиры боялись заходить в эти места, где недолго и заблудиться, где услышишь только протяжный вой голодной волчьей стаи да зловещее уханье филина, где, кажется, может обитать только нечистая сила. Недаром башкиры прозвали одно из таких гиблых урочищ Шайтан-лог.

Вот в этом-то логу на берегу Шайтанки и заложен был Никитой Демидовым чугуноплавильный и железоделательный завод. Рудознатцы доносили, что местность богата рудами, да и от Чусовой недалеко. В честь сына Василия назвал Демидов завод Васильево-Шайтанским.

Широкая и высокая плотина перегородила течение Шайтанки, и лог наполнился водой, образовался большой пруд. У подножия плотины встали доменная фабрика, молотовая, кузница, пильная мельница, и там, где лешачьим голосом ухал филин, зашумела вода в



ларях, падая на колеса: подняли двадцатипудовые железные кулаки боевые и обжимочные молоты, завывали мехи, раздувая пламя в горнах. Люди в кожаных запонах, вачегах, в обуви на деревянных колодках привели в движение и колеса, и молоты. Потянулись подводы с рудой, с углем.

Подходя к Шайтанке, Андрей немало дивился суровой и дикой красоте этих мест. Двугорбая громада Волчихи мрачно серела на синеве неба, а дальше тянулись все новые и новые горные кряжи. Они вставали один за другим, и, кажется, не было конца этому горному царству, напоминавшему застывшее на бегу каменное море.

— Остановимся в Талице у Пахома Балдина,— сказал Блоха.

— У тебя и здесь знакомцы?

— Поброди-ка с мое, так в лесу каждого волка по имени знать будешь.

Добрались до Талицы. Деревня стояла на низком месте, на берегу незамерзающего ручья, верстах в пяти от завода. Десяток рубленых из добротного кондового леса изб был поставлен однорядком. Блоха подошел к самой высокой избе с коньком и шатровым крыльцом, постучал в ставню.

Слуховое окошко приоткрылось, и женский голос спросил:

— Кого надобно?

— Пусти, Михайловна. Люди мы знаемые и тебе и твоему хозяину.

Женщина лет сорока, приоткрыв калитку, подозрительно оглядела путников, но тут же лицо ее прояснилось.

— Это ты, Блоха? Давненько не бывал в наших краях.

— А пути не было. Дома Пахом?

— На угольном дворе. Скоро будет.

— Приехали наниматься на сплав. Как у вас нынче? Нужны работники?

— Наймутся... Да вы проходите в избу.

В избе было темновато, но опрятно, видать хозяйка часто скоблила и мыла свое жилье.

— Ужо я к соседке сбегая за капустой,— сказала она и вышла.

Блоха стаскивал с себя зипунишко.



— Акси́нья-то ведь от живого мужа выдана за Пахома.

— Как так? — удивился Андрей.

— По барскому приказу. Первого мужа барин в рекруты сдал, а Пахому велел на Акси́нье жениться.

— Ну и дела!

— Да, брат, по заводам и не такое еще творится. Вернулась хозяйка с туеском соленой капусты.

— Правда, что вас Демидов другому владельцу отдал?

— Правда, батюшка. Наши господа теперь купцы Ширяевы. Завод-то наш, бают, подарил им Демидов за то, что на ихней сестре женился. Сколько-то пожил с ней, и то ли он ее бил, то ли она ему супротивничала, только ушла она от Демидова. Слышь, воротил он ее, да ненадолго, опять сбежала. Ну, это не наше дело, господское. Их грех — их ответ.

— А каково живетсЯ с новым господином?

Акси́нья тяжело вздохнула.

— Сами дивимся, как еще до сих пор живы. Ох и лют Ефим Алексеевич, ох и лют.

— Ну, где они, господа-то, не люты? Это исстари повелось: что ни барин, то зверь.

— Да наш-то, слышь ты, наособицу... Поешьте капустки, а я тем часом печь затоплю.

— От капустки мы не откажемся, а топить для нас не надо: мы не баре, нас никакая стужа не возьмет, ежели тулупом накроемся.

Скоро приехал хозяин, крепко сколоченный, с могучим красным затылком мастеровой. По размеренным, неторопливым движениям можно было судить, что Пахом Ильич характера спокойного.

— Здорово, Блоха! — сказал он. — С чем прибыли? Что нового по заводам? Как житье?

— Везде одинаково: в нашем краю, как у бога в раю, калины да рябины — не приешь и половины.

— Тебе все шутки, а вот нам, приписным, надо с оглядкой жить.

— Слышал уж я, что попали вы к супостату.

— Не говори!.. Возле смерти каждый день ходим... Акси́нья! Накормила гостей?

— Накормила чем бог послал.

Утром рано хозяин пошел на работу, а Блоха с приятелем — разведать насчет сплава.



В долине еще лежал сумрак, было студено и влажно. Пахом проводил своих постояльцев до завода. Солнце только-только выглянуло из-за косматой вершины горы, высветило закопченные корпуса молотовой и доменной фабрик. На угоре стояли каменные здания конторы и господский дом, окруженный садом. По лощине к фабрикам шли и ехали работные люди. На всем лежала чернота: от угля и сажи была черна дорога, черны заводские строения, черны лица работников. Подходя к конторе, Андрей заметил человека с железным обручем на шее, а на груди, привязанная к этому ошейнику, висела гиря.

— Что такое? — спросил Андрей.

Блоха мрачно усмехнулся.

— Называется — «матрену» повесили. Это еще что: гляди, тот вон идет и колоду за собой волокет, а тому вот, как козлу, рогульку с батогом на шею надели.

Угрюмые, молчаливые, брели рабочие в худой, рваной одеже. Глухо постукивали о каменистую дорогу деревянные баклуши на ногах.

В конторе Блоха и Андрей застали самого владельца завода Ефима Ширяева. Это был плотный лет пятидесяти мужчина с бритым розовым лицом, с глазами, отливающими влажным блеском.

— С чем пожаловали? — спросил он.

— На сплав наймоваться пришли.

— Добро. Документы есть?

— Есть.

— Запиши их, Иван, — распорядился барин и вышел из конторы.

Писчик, молодой человек одних лет с Андреем, любезно спросил приятелей, как у них с харчами. Ведь ждать придется недели полторы, пока сколотят караван. Блоха тотчас же стал выговаривать побольше «пропитала».

Писчик улыбался.

— Ты, отец, у нашего хозяина много не выторгуешь. Хорошо, если за путину заплатит рубль при своих харчах, а то и того не получишь.

— Сегодня он никак навеселе? — не унимался Блоха.

— Сестра ихняя приехала — Софья Алексеевна.

— Это которая за Никиту Никитича Демидова выходила?



— Та самая. Выходила и уходила. Теперь снова ушла.

В контору впорхнула барынька в кринолине, напудренная, с мушкой на белой щеке.

— Иван! Куда ушел Ефим Алексеевич?

Писчик почтительно поклонился:

— Не могу знать-с.

— Скажешь ему, что я поехала в город.

Барынька прошумела накрахмаленным платьем и скрылась.

— Жена? — спросил Блоха.

— Полюбовница, — ответил Иван.

Бежит барка по Чусовой, бежит мимо серых, источенных ветрами, крутых, будто срезанных, скал, мимо хмурых еловых лесов. Бежит мимо редких деревень, мимо разбитых коломенок и расшив, оголенных, как скелеты с торчащими ребрами.

Играет Чусовая. Мутная вода бурлит и пенится у крутояров, зажата между скал как между двух каменных стен, и вдруг вырывается на широкий плес, на луговой простор, разливаясь далеко и привольно. И снова, извиваясь, уходит то вправо, то влево, и опять то справа, то слева поднимаются серые неприступные утесы с черной гривой леса, и тень от них сумрачно падает на воду.

Андрея и Блоху поставили к носовым веслам. Работа тяжелая, некогда любоваться Чусовой. Только знай слушай команду лоцмана. Плынут они на передней барке. Здесь отобраны самые опытные сплавщики, самые сильные. Блоху было забраковали, но он все-таки сумел заверить:

— Вы не глядите, что я тощий. Сила-то ведь не в мясе, а в костях, да и не первый год на сплаве.

Мордастый караванный заржал на весь плес:

— Ну, ино, будь по-твоему. Возьму, а уж там на себя пеняй.

Несмотря на тяжесть работы, Андрей отдыхал душой. Мускулы наливались железом, все тело становилось упругим и сильным. Эта дикая горная река, грозно катившая свои мутные волны и готовая бросить барку на утес, приводила его в радостное волнение. Ему нравилась эта неукротимая сила, бушевавшая без конца и края в каменных теснинах.



Барка, груженная штыковым железом, глубоко сидела в воде, яростная струя несла ее легко и быстро, как будто это была какая-нибудь утлая лодчонка. Караванный с беспокойством вглядывался в приближающиеся утесы. Лоцман стоял рядом, насторожившийся и суровый.

— Как бы нам Разбойник благополучно миновать...

Впереди виднелась каменная громада. Еще издали слышался гул воды. Он становился все сильнее и сильнее, наконец перешел в сплошной оглушительный рев.

Андрей, налегая всей грудью на весло, видел, как стоявший против него Блоха посерел от страха.

— Господи, спаси! Пресвятая владычица... Ты, мать твою, чего зубы скалишь? — вдруг осердился он на Андрея.

— Наддай, соколики! — кричал лоцман.

— По чарке водки на рыло! — орал караванный, силясь перекрычать рев воды.

Сплавщики работали поносными изо всех сил. Все понимали, что решается судьба каждого из них, что через несколько минут все может быть кончено: барка ударится о скалу; в бурлящей пене закружатся люди, доски, куски железа...

Зловещей тенью пронесся остросеребряный утес Разбойник, и люди вздохнули полной грудью. Иные, сняв шапки, крестились. Караванный распорядился выдать всем водки. За передней баркой благополучно миновали страшное место вторая и третья. Весь караван выплыл на стрежень. Солнце выглянуло из-за туч, брызнуло на волны, на просмоленные борта коломенки, на усталые, но радостные лица сплавщиков. Выпив по чарке, люди совсем повеселели.

— По Каме плыть — одна любота, не то что здесь.

— Хватишь еще горького до слез.

— Да все не так, как на Чусовой.

— Эх, хоть бы в деревню отпустили!

— Думаешь, не отпустят?

— Еще путину заставят ломать, а там на завод пошлют.

«Ну, мы-то здесь не останемся», — подумал Андрей. Они с Блохой решили уйти в Лаишеве совсем.

...Ранним утром показались из-за мыса городские колокольни, а вскоре стало видать и флаги на мачтах.



Барки стояли у причалов, и было уже их немало. Различались караваны по цвету раскраски носов.

— Гляди, робя, черноносые, наши, ревдинские!

— А эти, с зеленым?

— Не знаю, кажись, турчаниновские.

— Вот уткинские красноносые подплывают.

Ширяевские барки плыли с желтыми носами.

Несмотря на ранний час, на берегу работа кипела вовсю. По сходням катили тачки с чугуном и железом, со слитками меди. Возле складов ржали лошади, здесь шла разгрузка, железо везли гужом. Стали причаливать и шайтанские.

Караванного окружили бурлаки.

— Ваше степенство, нельзя ли хоть в город сбежать, поесть, попить?

— Денег бы получить с вашей милости.

— Дай вам деньги — сбежите.

— Не сбежим, ваша милость. Ублаготвори.

— Не дам денег — вот и весь сказ... Становись на разгрузку!

— Кляп тебе в глотку, вонючий боров, — вполголоса сказал Блоха.

Когда кинули сходни, он и Андрей первыми сбежали на берег.

— Куда, куда? — кричал караванный, но приятелей и след простыл.

Блоха и Андрей шагали по песчаным улицам Лаишева — прямо в сердце «железного города» — на базарную площадь. Оттуда уже доносился многоголосный шум. Город праздновал прибытие первых весенних караванов.

Дома и домишки тонули в белой кипени садов. По всей улице тянуло горьковато-сладким ароматом. Вспомнилось Андрею детство, и стало грустно. Как птенец, выпавший из родного гнезда, скитался он по рудникам и заводам, одинокий, никому не нужный, без семьи, без пристанища, без настоящей, по сердцу, работы.

— Что же теперь будем делать, Блоха? — спросил он товарища.

— Были бы руки — дело найдется, — философски заметил тот. — Сперва надо поесть.

Не одни они шли на площадь. Брили под присмотром десятников согнанные из вятских деревень, с



Можги и Кильмезя, крестьяне-вотяки. На их лицах застыла тупая покорность. Шли пермяки с соляного каравана. Много работников требовал «железный город». Можно было услышать здесь говор татар и мордвы и окающую волжскую молвь. В центре города разместились конторы, где писцы с утра до вечера скрипели перьями, переписывая договоры, накладные, документы по купле и продаже. С утра до вечера возле этих контор толпились жалкие, оборванные люди, которых нужда или плетъ надзирателя пригнали сюда с верховьев Камы, с Белой, из-под Чистополя и Казани. Много было среди них барских крестьян, запроданных помещиками на время сплава.

То и дело по улице Лаишева проносились коляски с сидящими в них приказчиками, управителями, доверенными, а то и самими хозяевами.

Завидя такой экипаж, встречные снимали шляпы и низко кланялись.

Показалась площадь. Народу на ней было полным-полно.

Долго толкались Андрей и Блоха в толпе прикамского люда. Кого тут только не было: богатыри грузчики, крестьяне-возчики, мастеровые, которых сразу можно было узнать по красным пятнам на скулах и подбородке, по войлочным шляпам, нищие и калеки в рубищах. Были здесь и люди почище одетые: монахи, выпрашивавшие на построение храма, приказные в потертых мундирах — служители торговых контор и магистрата, караванные с пристаней камских и чусовских. Эти носили суконные кафтаны с галунами и позументами.

Точно цветы в поле, пестрели женские платки, кокошники и сарафаны. Площадь гудела, как разыгравшаяся в половодье река.

— Надо подумать и о том, где причалить, — молвил Блоха. — Поспросим добрых людей о работе, чтобы ни легко, ни тяжело, а в самую пору пришлось.

Однако сколько они ни спрашивали, а такой работы как раз и не находилось. Требовались бурлаки, но Блоха решительно отказался надевать лямку.

— Четыре путины прошагал. Хватит с меня этой мокрой каторги.

Андрей решил не отставать от товарища.

Солнце уже начало клониться на закат. Пора было



подумать об ужине и о ночлеге. Пошли на берег. Полюбовались на суда, стоявшие на реке: на широкогрудые беляны, на огромные баржи-«сороковуши», на длинные ладьи. Над некоторыми трепыхались на мачтах флаги и белые крылья парусов. Тут и там снова-ли легкие косные лодки.

У бурлака, сидевшего на берегу и беспечно курившего трубку, друзья спросили, не знает ли он где-нибудь поблизости избу для ночлега. Бурлак хитровато прищурил глаз и ответил:

— Есть такой дом, и не так чтобы далеко. Вон за тем мысочком. Спросите там кривого Мартына.

Идти пришлось довольно долго. Дом кривого Мартына оказался неказистым, нижний этаж его врос в землю. Дверь в этот полуподвал была открыта, и из помещения доносились оживленные голоса.

— Тут, видно, жильцов-то и без нас хватает,— сказал Блоха, входя.— Мир на стану! Будьте здоровы, добрые люди!

Из полумрака кто-то ответил:

— Здорово, коли сам добрый.

— Где хозяин?

Как из-под земли выросла хмурая фигура самого Мартына с одним глазом, серьгой в ухе, с головой, повязанной грязной тряпкой.

— Что нужно?

— Пусти переночевать.

В подвале послышался смех.

— Будет вам ночлег такой, что и не проснетесь.

— Цыц, вы! — сказал хозяин.— Как ты, Иван, полагаешь, пускать или не пускать?

На свет вышел мужчина лет тридцати, со смуглым злым лицом. Он ощупал приятелей недружелюбным взглядом черных, как угли, глаз.

— Кто такие?

— Сплавщики с каравана.

— Что ж не на барках ночуете?

— Ушли с барки.

— А не подосланы вы от управы благочиния?

Андрей вспыхнул:

— Кто вы, чтобы нам допрос чинить?

— Сейчас узнаешь. Связать их!

Несколько человек бросились к друзьям. Началась свалка. Андрей отшвырнул насевших на него, как



щених, и поспешил на выручку к Блохе, но тут же почувствовал удар чем-то тяжелым в ухо и, застонав от боли, повалился. Обоим скрутили руки за спиной.

Блоха закричал:

— Вы что! Сдурели? Мы сами от злого начальства спасаемся.

Тут один из сидевших за столом и не принимавший участия в схватке поднялся и живо спросил:

— Блоха?

— Он самый.

— А я Чебак. Вот где встретились.

— Ты что, знаешь его? — спросил черноглазый.

— Да как же! Сколько лет вместе зимогорили да в остроге вшей кормили. Дружба наша старинная.

— Развяжите их, — распорядился атаман. — А вы рассказывайте про себя все по порядку, да не врите.

Приятеля начали исповедоваться, почему и как они попали в столь тяжкие обстоятельства. Жизнь обоих вызвала всеобщее сочувствие.

— С этого бы и начали, дурни, — сказал атаман.

— Прими их, Иван, в свою команду, — упрашивал Чебак. — Ребята хорошие.

— Принять, пожалуй, можно, только с уговором: все пополам и друг за друга стоять неотступно. За трусость, за измену — смерть. Мы вольные люди и меж собой названные братья.

Через пару часов оба приятеля в компании вольных людей под предводительством атамана Ивана Прибытова плыли на косной лодке к Пьяному бору.

Кровавое сияние зари, догорая, плескалось на волнах.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Как по утренней заре вдоль по Каме, по реке,  
Вдоль по Каме, по реке легка лодочка плывет,  
А в лодочке гребцов ровно двести молодцов.*

*Песня*

Недалеко от Пьяного бора, между гор, в лощине, затененной пихтачом, вольные люди устроили привал. Место было глухое, потайное, полянка в лесу небольшая, даже трава здесь плохо росла. Меж кустов таль-



ника светилась Кама. Откуда-то из болотной мочажины доносился сладковатый запах багульника.

На полянке догорал костер, и угли в нем постепенно розовели, покрываясь седым пеплом. Андрей сидел и задумчиво глядел то на погасающий костер, то на лица своих новых товарищей.

Кто они, эти люди? На ковре, растянувшись во весь рост, спит Атаман Иван Прибытов. У него тяжелое, грубое лицо с вывороченными ноздрями. Во сне приоткрыл рот и оскалил зубы, будто злобно смеется. Не нравился Андрею этот человек с первой встречи. Узнал он о нем только то, что раньше Иван работал на Егошихинском заводе, что атаманил он всего второй год, но уже за поимку его кунгурский воевода обещал пятьдесят червонцев, что сами разбойники побаиваются и не любят его.

Вокруг костра сидят другие члены шайки. Все они называют друг друга не именами, а кличками. Андрею дали прозвище Рыжанко. Вон Косая Пешня — рябой, узколицый мужик, молчаливый и угрюмый; рядом с ним покуривает трубку молодой паренек из Сайгатки, по прозвищу Кулик, так его прозвали за длинные ноги. Глаза у Кулика юношески чистые, но ранние морщины прорезали лицо. В стороне с азартом играют в карты Юла, Шкворень, Заячья Губа и Чиж. Все эти парни лет двадцати пяти, в самом цвете сил бежали с рудников и заводов, и теперь вынужденное бездействие тяготит их.

— Скоро ли вылезем отсюда, — со вздохом говорит Чиж, чернявый бойкий малый.

— Послушаем, что соглядатаи принесут, — отвечает Шкворень, коренастый большеголовый детина. — Крой, Юла!

Блоха, Чебак и еще трое уехали на разведку в Елабугу. С чем они воротятся — неизвестно, а может быть, и совсем не вернутся. Андрей просил отпустить его вместе с другом, но атаман приказал остаться. Пришлось покориться. Первый раз Андрей почувствовал, что злая воля этого человека тягостна ему, и пожалел о вступлении в шайку.

Солнце пряталось за горы. Длинней ложились тени. На берегу караулил лодки Трехпалый, большой взлохмаченный парень. Был он из приписных с какой-то дальней волости. Все сотоварищи казались



Андрею озлобленными на жизнь, на людей. Неохотно рассказывали о себе, о своем прошлом. Единственно отрадное в этой искромсанной жизни, сулившей опасности и смерть под кнутом палача или от солдатской пули, заключалось в вольной волюшке.

С первого же раза не поладил Андрей с атаманом.

Когда трое разведчиков доложили, что усадьба господина Красильникова недалеко от Елабуги, большая и богатая, атаман так и загорелся.

— Богатая, говорите? А дворни много?

— Богато и дворни.

— Дворню перебьем. Главное, чтобы с налету взять.

— За что дворню-то, атаман? — спросил Косая Пешня, исподлобья глядя на Прибытова.

— Только и живем, что разбоем, — поддержал Чебак.

— А я так полагаю, — сказал Андрей, — господское добро раздать дворовым.

— Вишь ты какой добрый!

— Он в святые метит, — подковырнул Юла.

— Я не святой, а бедных людей обижать не хочу.

Набег был кровавый. Красильникова с сыном Прибытов застрелил собственноручно, имущество разграбили, но дворовые не получили ничего. Разбойники на нескольких подводах вывезли барское добро. Начался кутеж.

— Волчий праздник, — сказал Андрей.

Вдругорядь поссорились они в селе Тихие Горы. Здесь Прибытов грабил поповский дом. Андрей не участвовал в набеге, но тоже был в селе. У ворот дома стоял на карауле Блоха.

— Гляди-ко, что Иван-то вытворяет. Пытает попа.

— За что?

— Спроси.

Андрей зашел в избу. В ней было дымно, пахло горелым мясом. Под матицей посреди комнаты над горящими вениками висел старик. Он стонал и корчился от боли. Прибытов свирепо глядел на него.

— Не скажешь, где деньги, — до смерти замучу.

— Все отдал. Больше ничего нет, — прохрипел тот.

— Мало.

Андрею стало жаль старика и противно было глядеть на такое мучительство.



— Отпусти его, Иван.

Прибытов поглядел волком:

— Я здесь хозяин.

— Над чужой жизнью ты не хозяин. Бей того, кто противится, а беззащитного нечего мучить.

— Молчать!

— Я тебе говорю, оставь старика.

Атаман выхватил из-за пояса пистолет, Андрей вытащил свой. Оба стояли друг против друга, полные бешеной ненависти. Разбойники бросились их разнимать.

— Опомнитесь!

— На кого руку поднимаете? Брат на брата!

Старика отвязали, он упал на пол. Атаман молча вышел из дома. По улице брели пастух с подпаском. Пастух трубил в берестяную трубу, и она издавала дикие, заунывные звуки. Начинался обычный трудовой день. Мычали коровы, и горластые петухи во всю мочь заводили утреннюю перекличку. Собака лаем провожала разбойников. Прибытов разрядил в нее пистолет.

— Душегуб! — бросил ему Андрей, тот злобно ухмыльнулся.

Прошло, должно быть, около месяца жизни в разбойничьем отряде. Блоха перестал напевать и насвистывать любимую песню и все чаще поглядывал на другой берег, за Каму. Подолгу сидел на откосе и покуривал трубку, сердито сплевывая.

За этим как-то и застал его Андрей.

— Далеко ли хочешь прыгнуть, Блоха?

— Чего зубы скалишь? Самому небось тошно?

— До того тошно, что вот-вот сбегу.

— Да, брат Рыжанко, залетели мы с тобой не в ту стаю. Ребята-то здесь ничего, да начальник такой варнак, каких свет не родил...

— Однако слушаются его.

— Куда голова, туда и ноги.

— Да, Блоха, не о том я думал, когда соглашался идти с ними. Думал, бедным защитой будем, начальству — грозой, а тут одни грабежи да насильство.

— При таком деле, конечно, святым не будешь, но этот черт... он родную мать убьет и за грех не почтет...



Кончить надо его, Рыжанко, либо самим отсюда убираться,—неожиданно заключил Блоха и, набив табачком трубку, выжидающе посмотрел на Андрея. Тот молчал.

За шайкой гонялись воинские отряды, но разбойники были неуловимы. Почти все они выросли на берегах Камы и отлично знали местность. На двух косных лодках носились они вверх и вниз по реке, останавливаясь в тихих заводях, в тени кустов тальника.

В середине лета совершили набег на село Полянки. Здесь жила барыня Красильникова.

Варвара Сергеевна была еще не старая женщина, полная, белолицая, с замашками настоящей помещицы. Дом был строен на городскую ногу: с мезонином, с оранжереей, с фонтаном в саду.

Вот сюда-то и нагрянула шайка атамана Прибытова.

Рослая пригожая деваха встретила разбойников в воротах. У ней были серые глаза с черными ресницами, маленький свежий рот и толстая русая коса.

— Как тебя зовут, красавица? — спросил атаман.

— Дуня.

— Вот, Дуняша, дело-то какое. Поди скажи своей госпоже, гости, мол, с Волги-матушки прибыли. Пусть сама пожалует встретить, да угощение чтобы было по чести.

Девушка изменилась в лице и, сверкая босыми ногами, побежала доложить о непрошенных гостях.

Красильникова, встревоженная, вышла на крыльцо. Прибытов насмешливо церемонно раскланялся с ней.

— Побывали мы в гостях у вашего мужа, теперь вот и к вам приехали. Извините за беспокойство.

Женщина, обморочно побелев, с ужасом глянула на убийцу мужа и сына. Она не знала, что делать, и стояла бледная, с дрожащими губами.

— Веди, барыня, в покои. Чествуй дорогих гостей.

Прибытов издевался. Ему было приятно внушать страх. Андрей не первый раз замечал это и все больше приходил к мысли, что атаман — негодяй.

Двери распахнулись, и разбойники прошли в комнату, где стоял длинный, накрытый белой скатертью стол.

Атаман важно сел в передний угол.



— Садись и ты, барыня, и пускай твои девушки тоже садятся с нами. Мы люди веселые, простые. Любим попеть, попить, погулять.

Дуняша и три ее подруги стали прислуживать. Стол уставили яствами. Разбойники расположились за ним, подливали вино и хозяйке и девушкам. Те боялись перечить. Атаман, усмехаясь, пристально и жадно поглядывал на Дуняшу.

— А ну, красавицы, спойте нам веселую... И ты, барыня, пой.

Девушки запели величальную, пела с ними и госпожа Красильникова. Андрей, стиснув зубы, наблюдал за пиршеством. Ему хотелось швырнуть в лицо Прибытову тяжелый кубок. Ненависть кипела в нем.

Девушки пели не очень складно, со страхом поглядывая на незваных гостей. Атаман встал и махнул рукой: все поняли этот знак и направились во внутренние покои искать денег и драгоценностей. Андрей, как обычно, ничего себе не брал.

— Праведником хочешь быть? — говорил Юла. — В рай нас с таким ремеслом все одно не пустят. — Он подмигнул: — Гляди, атаман-то никак девку поволок.

Андрей выскочил во двор и увидел, что Прибытов тащит в амбар Дуняшу. Девушка отбивалась изо всех сил и разорвала у атамана ворот рубахи.

— Оставь ее! — крикнул Андрей, отбросив Прибытова. — Ты что задумал?

— Не твое дело, — ответил тот сквозь зубы и потянулся за пистолетом.

— Не мое, а наше!

Разбойники начали сходиться на крик. Подошли Косая Пешня, Блоха, Трехпалый, Чиж, Чебак и Шкворень. Стали расспрашивать, что случилось.

— Да вот девку хотел опозорить.

— Нехорошо, Иван, — осудил Шкворень.

— На нас за такие дела весь народ обиду будет иметь, — сказал Блоха. — Разве можно такое?

— Эх, атаман, атаман, — укоризненно покачал головой Чебак. — Еще кабы барского помету была девка, а то ведь своя сестра, крепостная!

— Пошел вон!

— Нет, мы этого так не оставим.

Прибытов глянул волком.

— Что, судить меня задумали?



— Судить и будем,— строго сказал Андрей, заряжая пистолет.

— Кончай его, Рыжанко! — крикнул Блоха.

— Ах, вот вы как! Ну, я вам не дамся, рачий глаз...

Он не договорил: Андрей выстрелил ему в лоб. Прибытов сделал судорожный шаг вперед и ткнулся ничком.

Все так быстро произошло, что разбойники не успели опомниться и растерянно смотрели на Андрея, на дымящийся пистолет в его руке, на распростертое тело своего атамана.

— Ладно ты его,— проговорил Чебак.

— А теперь что? Без головы остались,— недовольно сказал Чиж.

— Атамана выбирать надо. Нельзя без атамана,— выкрикнул Юла.— Пускай Чиж будет атаманом.

— Лучше Юла,— ответил Чиж.

— Знаем мы вас, дружков,— усмехнулся Косая Пешня.— Вздернуть на осину — некоторый не перетянет.

Поднялась разноголосица.

— Пускай Шкворень атаманит.

— Юла!

— Чиж!

— Юла!

Тогда раздался звонкий тенорок Блохи:

— Пусть Рыжанко будет атаманом. Он творил суд над Прибытовым — ему и власть.

Опять поднялся галдеж. Особенное недовольство выражали Юла и Чиж. Но Блоху поддержали Косая Пешня, Чебак, Шкворень, Заячья Губа — старшие по годам члены шайки, и Андрей стал атаманом.

— Похороните его,— распорядился он, кивнув на труп Прибытова.

Ничего не взял новый атаман в усадьбе.

— Видал, какого змея на шею посадили,— шипел Чиж Юле.

В последнюю минуту подошла Дуняша.

— Возьмите меня с собой.

— Куда же мы тебя, дурочка, возьмем? Ведь нам во всяких переделках доведется бывать.

— Не боюсь ничего, только бы с вами.

— Нет, Дуняша, оставайся...

Андрей уже сидел в лодке, а Дуняша по-прежнему



стояла на берегу. Враз поднялись и опустились весла. Напряглись мускулы, и, разрезая речную гладь, лодка птицей метнулась вперед. Девушка шла по берегу и прощально махала платком.

На Кленовском руднике рабочий день начинался рано, часа в четыре утра.

Тяжелым сном спала казарма: рудничные вздрагивали во сне, храп прерывали стоны, всхлипывания. Люди и ночью не отдыхали, переживая дневные муки. Больные тихо стонали — до аптеки было не меньше ста верст. Оставалось одно — умирать.

В эту душную летнюю ночь старший по казарме проснулся как обычно, в положенный час, ожидая, что ударят в колокол, висевший возле рудничной конторы. Вот-вот послышатся знакомые звуки, и он крикнет:

«В добрый час, во святое времечко! На работу, де-тушки!»

И с нар, звеня цепями, поднимутся десятки людей. Они торопливо съедят по ломтю ржаного хлеба, круто посыпанного солью, и пойдут выполнять ненавистный урок.

Долго ждал старший сигнала к работе, да так и не дождался.

«Что за притча?» — подумал он и вышел из казармы. Край неба над горой уже светлел. Старший пошел к конторе. Возле нее стояло несколько человек с ружьями, такие же вооруженные сторожили кордегардию, где жила рудничная охрана.

— Скоро ли бить-то будут? — робко спросил старший у одного из вооруженных.

Тот оскалил белые зубы:

— Скоро будут бить ваших начальников.

Старший оторопел. Он еще больше изумился, когда увидел, как из конторы вышли в одном исподнем белье смотритель рудника и штейгер. За ними с пистолетами в руках шел незнакомый, кудрявый детина, рядом с ним бородатый тощий мужик с саблей наголо.

— Собирайте к конторе рудничных.

Старший побежал в казарму и не своим голосом завопил:

— Айдайте к конторе! Невиданные дела творятся!



— Что случилось, Кузьмич?

— Сам не знаю. Ступайте скорее.

Вскоре возле конторы сгрудилась толпа рабочих.

— Братья! — обратился к ним кудряш. — Сам я когда-то выматывал последние силы на рудничной работе и знаю, как вы страждете. Теперь вашим мукам пришел конец. Кто хочет, идите в родные места, кто не хочет, оставайтесь здесь. Начальство ваше — вот оно. Судите его сами. Доброе было — пусть живет, худое — казним.

— Казнить! Казнить! — заревела толпа.

— Таких кровопийцев земля не примет.

— На виселицу их.

К смотрителю и штейгеру протянулись десятки рук. Истощенные непосильным трудом и голодом, люди точно враз обрели силу.

Часть рудничных с криками окружила караульную, где засели стражники.

— Сдавайтесь, шкуродеры!

Из окна вырвался огненный язычок, грянул выстрел, в толпе послышался стон и вслед за ним яростный вопль.

Атаман подошел к казарме.

— Бросайте ружья, или сожжем вас.

Это подействовало.

— А убивать не будете?

— Получите, что заслужили. Народ вас судить будет.

В казарме наступило молчание.

— Тащите, братцы, соломы!

В окно протянулась длинная тяжелая фузья и брякнулась оземь.

— Ну, Блоха, — сказал атаман, обращаясь к своему неразлучному спутнику, — большое мы дело сотворили.

— Неплохо бы нам охотников здесь набрать, — предложил Блоха.

— И то верно.

— Кто с нами желает по вольной воле жить, злых господ кистенем глушить, подходи и товарища с собой веди! — звонко выкрикивал Блоха.

Подошло человек двадцать. Из них Блоха отобрал шестерых, более крепких и молодых.

— Нам лечиться негде и некогда.



Привел их к атаману. Тот головой покачал:

— Уж больно тощи: кожа да кости.

— Да ты ладом смотри. Чем не богатыри?

— Были бы кости — мясо нарастет. Главное, чтобы сердце было ярое. Верно, ребята?

— Верно, верно, — загалдели все шестеро. — Возьми нас, атаман, не покаешься.

— Ну, уж так и быть — возьму.

Рудничные обрадовались и разобрали брошенные стражниками ружья.

Стражники, вышедшие из казармы, угрюмо ожидали решения своей участи и тоскливо поглядывали на ближнюю сосну...

На Аят-Уфимский завод брели бесконечными дорогами, глотая пыль, тридцать семей. Шли они не своей волей, четверо стражников с приставом во главе сопровождали «переведенцев» до места назначения.

Впереди шли самые выносливые, в конце двигались подводы с больными и престарелыми, с домашним скарбом и провизией.

Пристав, почерневший от дорожной пыли, то и дело замахивался нагайкой.

— Скоро ли я от вас избавлюсь?.. Эй, ты, шагай!.. Гляди, исполосую...

Высокий смуглый мужик с суровым лицом, шагавший впереди, даже не обернулся на оклик, только ту же сжал брови. Рядом с ним шли его жена и сноха с ребенком на руках.

— Терпите, родные, — говорил он вполголоса.

А они, хотя слышали эти слова уже много раз, все-таки отвечали:

— Не заботься о нас. Потерпим.

Люди с трудом передвигали смозоленные, натруженные ноги. Скрипели деревянные колеса телег.

В бесконечную даль тянулся Великий Сибирский тракт. Ветер шевелил зеленые космы плакучих берез, посаженных вдоль дороги. Шли «переведенцы» мимо полей, где волнами колыхалась спелая рожь, шли мимо целин, до которых не касалась рука землероба. А земля была вся в цвету, и голову кружило от запаха трав.

Шедший впереди мужчина тоскующим взглядом



глянул на пустоши: вот бы где приложить руки. Да и не один он поглядывал с тоской на землю, ждавшую человека.

— Стой! — слышался неожиданный окрик.

Обоз остановился. Передние видели, как пристав поворотил лошадь. Из-за придорожных кустов выходили незнакомые люди с фузеями, с копьями.

— Стой! — снова слышался крик, затем звонко хлопнул выстрел, и пристав, взмахнув руками, повалился с лошади.

Из кустов вышел рослый парень. В руке он держал длинноствольный пистолет.

— Воля! — крикнул он. — Идите, куда кто хочет. Злодейской власти нет больше. Жалую вас волей. Будьте счастливы!

— Будь счастлив и ты! — дружно отозвалась толпа.

— Здрав будь, атаман! Спасибо тебе! — гаркнул смуглолицый.

Сстоявшая рядом с ним жена его благодарно говорила:

— Золотой ты наш...

Молодушка, стыдливо глянув на кудряша, молвила про себя:

— А ведь и впрямь — золотой.

Вольные люди сидели на лесной поляне. Неподалеку журчал горный ключ. Вся лужайка, как снегом, была усыпана ромашками. Сытно пообедав, перебрасывались шутками. В одном месте шел разговор между Чижом, Трехпалым, Шкворнем и Косой Пешней.

— Удачлив наш атаман, — говорил Шкворень.

— Хоть и удачлив, — возразил Чиж, — да Прибытов нам поживиться давал... Дуваны при нем во какие богатые были.

— Угу, — бормотал Трехпалый.

— Этот за мирское дело стоит.

— А кто нам, дуракам, спасибо за то скажет? Все одно петля ждет.

— Угу, — подтвердил Трехпалый.

— Душа у тебя волчья, хотя ты и Чиж, — вмешался Косая Пешня. — Тебя вместе с Прибытовым тогда же бы пристрелить...



— Кого пристрелить? — спросил подошедший Юла.

— Тех, кто о Прибытове плачет.

— Не плачем, а головы под топор подставлять не желаем. Сколь ни велика добыча, всю раздаем мужикам. Не согласный я с этим. Зря Прибытова убили.

— А что, ребята! Тот хоть и сволочь был, зато с ним вина-то сколь попили,— вздохнул Юла.

Весь этот разговор слышал Блоха и передал атаману.

— Предадут они меня, Блоха.

— Не думай, Андрюха. Я рудничных за ними приставил доглядывать. Эти, брат, не выдадут.

Железный караван с Шайтанки, с заводов господина Ширяева, миновал Нижне-Чусовские городки. До устья оставалось меньше полста верст. Течение было тихое. Усталые бурлаки медленно шевелили веслами, благо ночь подходила к концу; караванный в домике на головной барке храпел во все носовые заворотки, и лоцман клевал носом.

В туманной мгле никто из сплавщиков не видал и не слышал, как две лодки, одна с правой, другая с левой стороны, вдруг очутились у самых бортов. Из той и из другой прыгнули на барку незнакомые люди...

Караванный проснулся от шума, совершенно необычного. Это были возгласы, похожие на слова воинской команды.

— Стоять всем недвижимо! Спускать якорь!

Послышался скрежет железной цепи — якорь действительно спускали.

Караванный перекрестился широким крестом и, вспотев от страха, встал с постели, хотел было открыть дверь, но побоялся.

Кто-то властно постучал:

— Отворяй, да поживее.

Пришлось открыть.

В полумгле наступающего утра караванный увидел двоих: один был худ, как скелет,—его лицо показалось караванному до того знакомым, что стало еще более страшно.

Второй, помоложе, с шапкой буйных золотистых кудрей, сказал почти весело:

— Не узнаешь, Захар Кузьмич? Когда-то вместе до Лаишева плавали.



— Не признаю, родимые... Да воскреснет бог и расточатся врази его. Чур меня, нечистая сила!

— Ну, молитва тебе не поможет... Распечатывай сундук с деньгами и рассчитывай народ на этой и на прочих барках.

К караванному тотчас вернулся здоровый рассудок.

— Как же так? Ведь деньги-то господские. Я на то права не имею.

— Знаем, что скупехонек ты, так же, как и господин Ширяев. Только обижать и обманывать людей не годится. Доставай деньги.

— Да что вы, братцы? Смилуйтесь!..— Однако вытащил из-под подушки ключ. В железном ларце певуче звякнул замок.

Кто-то услужливо зажег свечу, и при колеблющемся ее свете на стол посыпались серебряные и медные монеты.

Бурлаки столпились возле дверей. Слышалось громкое дыхание и приглушенные возгласы.

— Вот когда счастье-то привалило!

— С деньгами теперь по домам пойдем.

— Да кто они, наши милостивцы?

— Не спрашивай: видать, добрые люди.

Когда на столе образовалась большая грудa серебра и меди, атаман скомандовал:

— Становись в затылок! Заходи по очереди...

Барка неподвижно стояла посреди реки.

Там, где в Каму впадает речка Гаревая, на веселом душистом лугу сошлись оба отряда. Рыжанка и атаманши Матрены.

С радостью увидел Андрей, что не изменилась Матрена. По-прежнему из-под мохнатых ресниц сияли ее притягивающие глаза. Усмехаясь, шла она навстречу.

— Я тебя поджидала. Думала, все равно с тобой свижусь. Слыхала про тебя. Знаешь, как на Каме тебя зовут? Атаман Золотой.

— И я ожидал, что снова встречу тебя.

— Помнишь, как просился в мою шайку? Теперь бы я, пожалуй, такого молодца взяла с радостью.

Они любовались друг другом.



Андрей не говорил ни слова, только смотрел на любимую. Матрена заметила его смущение.

— Ну, что же, будем в молчанки играть? Поможет тебе ровно бойчее был. Пойдем в мой курень гостевать.

Андрей отдал распоряжение ставить палатки.

На лугу люди двух отрядов познакомились друг с другом, рассказывали о своих приключениях, о схватках с воинскими командами. Среди людей Матрены Андрей заприметил рыжеусого парня и стал припоминать, где он видел его. Тот, в свою очередь, тоже уставился на Андрея.

— Таракан?

Да, это был Таракан, когда-то спасший его от смерти в холодных водах Камы.

— Вот где встретились!

— Переходи ко мне в команду.

— Кабы Матрена не обиделась. Ведь я у ней в первом десятке состою.

— Ну, гляди сам.

Встретил он и есаула Мясникова. С ним поздоровался молча.

Зато у Блохи с атаманшей встреча была самой дружеской.

— Матренушка!.. Родная ты моя,— всхлипывал Блоха, обнимая могутные плечи красавицы.

— Здорово, земляк.

В синих сумерках плыл горьковатый дымок. Разбойники зажгли костер и поставили на него таган. Над рекой, над лугом полилась песня, раздольная, проголосная.

Ах ты поле ты мое, поле чистое,  
Ты раздолье мое, степь широкая!  
Ничего ты, поле, не спородило,  
Спородило част ракитов куст.  
На кусту-то сидит млад ясен сокол,  
Под кустом лежит молодой солдат.  
Он не так лежит — тяжело раненный...  
В головах у него бел горяч камень,  
Во руках у него сабля вострая,  
Во ногах у него стоит добрый конь...

Тоска по неудавшейся жизни звучала в песне, и было грустно слушать ее здесь, над речным простором, из уст людей суровой судьбы.



— О чем задумался, атаман Золотой? — услышал Андрей сзади голос Матрены и вздрогнул от чувства неизъяснимой радости.

— Вот о чем думаю. Соединиться бы нам да ударить по слободам, по заводам, волю дать людям.

Атаманша повела крутым плечом.

— На что это? Сколько своих потеряешь на таком деле.

Андрей взял ее за руку, горячую и сильную.

— Матрена! Нам бы с тобой век не расставаться.

Женщина тихо засмеялась и ответила раздумчиво:

— Не пара мы с тобой, милый, к тому ж и воли я попробовала. Ничьей женой уж не стану. Слышишь? Ничьей... Да и разве такая тебе нужна? Ты ведь молодой.

Она быстро отошла к костру, налила себе полную чарку вина.

— Выпьемте, разбойнички, за добрую встречу!

— Пей, матушка Матрена Никитична!

— Будь здорова, землячка, — протянул свою чарку Блоха.

— А ты все бойко прыгаешь? — спросила Матрена.

— Покудова мать сыра земля носит, Матренушка.

— И все свою песню любимую поешь?

— А то как же.

Разбойники кричали:

— Будьте здравы, атаман и атаманша!

Отсветы костра освещали загорелые, обросшие бородами лица членов грозного братства.

Пир затянулся за полночь.

— Не пора ли расходиться по балаганам? — сказала Матрена. — Есаул, выставь караулы. Прощай, Золотой, покойной ночи!

Андрей проводил ее горячим взглядом и пошел к себе в палатку.

Долго он лежал с открытыми глазами, слушая стрекотанье неугомонных кузнечиков. Мысли его неотрывно блуждали вокруг Матрены. Если бы только она согласилась на соединение обоих отрядов, сколько можно бы доброго сделать для народа. А самое главное — быть с ней все время, видеть ее, ласкать ее, никогда больше не расставаться.

Вдруг он услышал шорох: кто-то шел по траве.



Пола над входом в палатку приоткрылась, и знакомый голос позвал:

— Не спишь, Золотой?

Андрей вскочил и протянул руки:

— Матрена! Милая ты моя!..

...Он не слышал, как она ушла. Солнце стояло уже довольно высоко, когда он проснулся, желая лишь одного — снова обнять ее.

Лагерь просыпался, но Матрениного отряда не было.

— Где Матрена? — спросил он у караульного.

— Раным-рано снялась и уплыла на пяти челнах.

Все случившееся казалось похожим на сон, однако тело хранило память о ласках любимой женщины и на губах оставался соленый вкус ее жарких поцелуев. Ему было горько, что она не захотела остаться с ним. Ушла, не разбудив, не простившись. Шевельнулась тревожная мысль: что, если эта встреча была последней? Он подумал о роковом пути обоих и невольно вспомнил слова песни:

Под кустом лежит молодой солдат.

Он не так лежит — тяжело раненный.

...Атаман Золотой увел свою команду на Чусовую. Из пещеры, где хоронилась шайка, часто уходил он на берег реки и молча смотрел с крутизны на мутные волны. Они сейчас катились медленно и свинцово-тяжело, как будто предчувствуя долгий зимний плен, когда лед скует их буйную свободу и завоюет метели.

Но придет весна, забурлят с окрестных гор потоки, вздуется, посинеет река и взломает ледяной покров. Вот когда развернет она свою богатырскую силу! Не стой на пути! Далеко слышно, как ревет Чусовая у Бойцов, бешено взбегают на утесы, разливаясь шипящей белой пеной, крутя воронки и стремительно уносясь дальше. Вот обогнула кругом мыс и широко разлилась на всю пойму, синее небо сияет над ней, в воду глядятся вековые сосны, и отражения их колеблются в волнах... Ширь и раздолье!

Хозяином стал на Чусовой атаман Золотой. Свято держал он клятву: не поднимать руки на брата бедняка. Зато горе было караванам Демидова, Турчанинова, графа Воронцова. Страх наводил он на заводчиков, на чиновников, на горное начальство. Наголову



разбивал полицейские команды. В Екатеринбурге забеспокоились члены горного управления. Не один раз собирались они на совет.

— Что делать с окаянным? Просить помощи из России — позор.

— Неужели своими силами не справимся? Доверьте мне сие предприятие, — заявил Башмаков, коллежский асессор, и все согласились.

— Спасай!

...Блоха не раз уговаривал атамана:

— Не шути со смертью, Андрей. У нашего брата она за плечами стоит. Пора сменить пристань.

— Не наводи тоску, Блоха.

— Берегись, за нами, как за зверями, охотятся.

Блоха напророчил. В серый прохладный день, когда дали закрывала пелена тумана, караульный подал сигнал. Из-за мыса выплывала барка. Видно было, как усердно работали поносными сплавщики.

— По лодкам! — скомандовал Золотой и назначил старших.

Разбойники сели в лодки, в одну семь, в другую пять человек, и поплыли к барке. Оттуда блеснул огонь, грянул выстрел, бурый дым поднялся над пушкой. Атаман заметил треуголки солдат за бортом. В тот же миг слышались стоны и крики — картечь ударила в середину лодки. Из-за барки, с другой стороны, показался шитик с воинской командой. Он плыл наперерез.

— Назад! — крикнул атаман. — К берегу!

Первая лодка ринулась вниз по течению, вторая стала поворачивать к берегу. Раздался новый залп. Ядро попало в борт. Лодка начала тонуть. Люди барахтались в воде. Солдаты стреляли в них, били веслами по головам. Андрей в бессильной злобе метался по берегу. С оставшимися в живых он решил защищаться до конца.

Солдаты причалили и повыскакивали из лодки. Они привинчивали к ружьям штыки. Предстоял бой — неравный, смертный. С барки снова хлестнула картечь. Косая Пешня упал. Блоха ойкнул и схватился за грудь. Четверо оставались невредимы: сам атаман, Трехпалый, Чиж и Шкворень. А солдаты уже лезли на угор.

Путь к пещере был отрезан. Пришлось принимать



бой на угоре — сзади лес, впереди река. Разбойники, прячась за камнями, стреляли в солдат из ружей и пистолетов. Раненый Блоха заряжал те и другие.

Один из солдат был убит. Оставалось еще девять человек. Сержант, командовавший ими, подняв пистолет, кричал:

— Помни присягу, ребяташки! Поспешайте, заберем злодеев в полон! Эй, вы, окаянные! Кидайте оружие!

— Да ведь это Ванюшка Некрасов! — узнал атаман усольского приятеля-протоколиста.

— Ванюшка! Это я, Андрей Плотников.

Сержант молча начал целиться в него. Расстояние было не больше двадцати шагов. Андрей вышел из-за прикрытия.

— Стреляй! Стреляй в старого друга, сволочь!

Раздался выстрел, пуля свистнула возле уха.

— Худо же тебя учили, Ваня, воинскому артикулу.

Атаман взвел курок и выстрелил в старого приятеля. Тот зашатался и упал. Солдаты, потеряв командира, стали пятиться к лодке.

— Наша взяла! — кричал Трехпалый.

— Обожди радоваться, — предупредил Блоха. — Вон еще едут.

И верно: еще одна лодка с десятью солдатами направилась к берегу. Несколько человек с нее навели мушкеты.

Раздался залп, и Шкворень, хватая руками воздух, свалился под откос.

Находившиеся на берегу солдаты снова пошли в наступление.

— Что делать, атаман? — спросил Чиж. — Не устоять нам.

— Отходить надо, ребята, — посоветовал Блоха. — Тут я все тропки знаю. Как-нибудь доберемся до Уткинской пристани, а там на Сылву, на Каму.

Атаман согласился. В тяжелый и долгий путь по лесным буеракам тронулись они, пробираясь сквозь чащобу, через мочажины и гари, переправляясь через лесные топи и таежные речки. Колючие лапы елей хлестали их лица, не давали покоя комары. Блоха с трудом передвигал ноги. Рана загноилась. Однажды на привале он расстегнул ворот рубахи, и Андрей с содроганием увидел у него на груди черные пятна.



— Умру я, братцы. Оставьте меня здесь. Я вам помеха.

Никогда Андрей не испытывал такой жалости и душевной боли за другого, как сейчас.

— Не оставим, понесем на носилках.

Тут же сделали носилки и понесли Блоху, сменяясь по очереди. Умиравший слабо стонал, качаясь в такт шагам, наконец попросил остановиться. Его положили под густой пихтой, чтобы не мочило дождем.

— Прощайте,— сказал тихо Блоха.— Не смерти боюсь, жалко, что жизни настоящей не видел...

Со слезами на глазах Андрей держал в своей руке его холодеющую руку. Из груди друга с хрипом вырывалось короткое дыхание. Трудно, мучительно умирал старый бродяга...

Зарыли его тут же под разлапистой пихтой.

Возле Уткинской пристани повстречали Юлу, изнуренного, оборванного, еле державшегося на ногах. Он рассказал о том, что во время боя двое были убиты картечью враз, а Заячья Губа, Чебак и двое рудничных попались в Кыну полицейским служителям.

— Я таки успел убежать.

— Востер ты на ноги,— хмуро сказал атаман.— Товарищей-то бросил? Я же тебя старшим поставил.

— Всяк за себя,— отворачивая взгляд, отвечал Юла.— Так уж довелось.

— Ну, коли всяк за себя, так иди ты своей дорогой один, куда хочешь. Верно, ребята?

— Верно,— нехотя отвечали Чиж и Трехпалый.

С Утки направились они прямо на завод к берегам Камы. Андрей искал Матренин отряд. Однако сколько ни бродили товарищи по Прикамью, как ни выслеживали по укромным местам на берегах, нигде не нашли даже признака отряда.

— А на что нам Матрена? — злился Чиж.

— Дурак! Три человека или тридцать — это, по-твоему, одно и то же?

— Изнищали мы, изголодались,— ныл Трехпалый.

Над головами беглецов торжественно шумели темно-зеленой хвоей кедры. Их кроны были так густы, что в тени у корней было темно и пусто, даже зимой здесь не наметало снегу, а летом не росла трава.

...Ночью разбойники покинули своего атамана.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Слышу, вижу, моя радость,  
Что другую любишь.*

*Песня*

Со смятенной душой сидел Андрей на чурбане возле землянки деда Мирона. Светлые глаза деда смотрели строго. Он комкал свою ручьистую бороду и говорил:

— Навоевался? Слышал про твои дела, как вы с Прибытовым грабили да насильничали.

— Народ я не трогал,— глядя в землю, проговорил Андрей.

— Не трогал, так и с народом не шел. Вот и остался не у шубы рукав. Запомни: кто для других не живет, тот и для себя не живет... Тут у меня еще двое таких же, как ты, спасаются... Один из Матрениной шайки.

Андрей встрепенулся.

— Из Матрениной? А с ней что?

— Не стало Матрешки. За чем пошла, то и нашла. Настиг ее воевода возле устья Вишеры. С двух сторон подплыли, из Соликамска и из Чердыни. Большая, сказывают, сеча была, с огненным боем из пушек и фузей. Матреша сдаваться не хотела, до последнего билась. Только сила их была, воеводских-то... С Матрешей справиться не могли. Вся израненная еще отбивалась. А когда уже выходу не стало, схватила двух солдат и со струга прямо в Каму кинулась...

Старик замолчал.

Андрей сидел, стиснув руками виски. Перед ним вставало прекрасное и грозное лицо подруги.

Почему она не согласилась разделить с ним свою судьбу? Может, бросили бы они кровавую разбойничью жизнь? Может, ушли бы далеко на север, где нет жестоких начальников...

Душевная боль становилась еще более острой от мысли об одиночестве. Впервые Андрей почувствовал необходимость раз и навсегда решить вопрос, кем быть.

— Дедушка Мирон, я пришел к тебе как к отцу родному. Каюсь, много крови пролил. Посоветуй, по-



моги... То ли новую шайку собирать, то ли за мирный труд браться?

Глаза деда Мирона потеплели.

— Вот и хорошо, милой сын, что на мирную жизнь тебя потянуло.

Вечером вернулись с рыбалки двое постояльцев дедушки Мирона. Это были есаул Мясников и Никифор Лисьих. Никифор прямо с берега побежал к Андрею и упал ему в объятия.

— Нашел! Нашел!

В тот же вечер вчетвером, сидя в землянке, обсуждали они план дальнейшей жизни. Андрей предлагал отправиться на низ.

— Жить будем неподалеку от реки в деревне. Никто не узнает.

— Знать-то нас знают широко, в какую деревню ни забреди,— заметил Мясников.

Этот красавец с матово-бледным лицом, опущенным небольшой курчавой бородкой, с тяжелым пристальным взглядом темно-карих глаз вызывал у Андрея чувство ревности. Может, атаманша ласкала его.

— Что ж, по-твоему, в городе поселиться? — спросил он недружелюбно.— Из благородных, что ли, не привык к деревне?

Мясников добродушно улыбнулся.

— Из самых благородных: кузнец и сын кузнецкий.

— Ну, коли так — в деревне тебе дело найдется. А уходить надо. Скоро зима. Проживем зиму — двинемся на сплав. Там принимают, кого хочешь.

Решили двинуться в низовье.

Они пришли в деревню на берегу Камы, ниже Сарапула. Староста согласился взять их на зиму в работники. У него они и поселились в большой светлой клети.

Никифор оказался очень расторопным: по-крестьянски обстоятельно поговорил со старостой, с мужиками, рассказал, что пришли они с дальних северных краев, спасаясь от «хлебной скудости», что готовы любую работу робить и «никакого дурна чинить не будут». Мужики кивали головами, но помалкивали: дескать, поживем, увидим. Когда Никифор сказал, что



один из них кузнец, а другой грамоте ученый, все обрадовались.

— Вот это, паря, подходяще.

— Как бы нам того грамотея попросить, чтобы жалобу написал. Мы государственные, а нас к Юговскому заводу приписали. Да и кузнецу вашему работа найдется. У нас и кузница есть.

Никифор рассказал приятелям об этом разговоре, и на другой же день они с Мясниковым пошли осматривать кузницу. Андрей поговорил со старостой о мирских нуждах и пообещал написать жалобу кунгурскому воеводе.

Все трое почувствовали себя нужными для людей.

— Может, корни здесь пустим? — мечтательно говорил Никифор. — Я уже девку тут одну приглядел. По сиротству живет в людях, а родительская изба заколочена.

— Больно ты хваткий, парень, — мрачно отозвался Мясников. — Нам сейчас надо быть тише воды, ниже травы — кто его знает, какой тут народ.

— Народ везде одинаков. Я с любым язык найду.

— Язык языком, а нож и пистолет наготове держи.

— Верно, есаул, — сказал Андрей. — Ты, Никифор, поменьше о нас болтай.

— Эх, вы! Мне ли мужиков не знать!

Деревня Комарова была недалеко от села Полянки, поместья барыни Красильниковой. Это несколько смущало и настораживало Андрея, особенно когда староста, благообразный плешивый старик, похожий на Николу-угодника, принялся рассказывать о недавних событиях.

— Летось у нас в Полянках разбойники шумели. Напужали госпожу Красильникову до того, что она ополоумела. Так теперь и зовем ее «дура-барыня». Вокруг дома забор поставила, держит свору собак, а дворня, слышь, вся ходит оборуженная, и барыня та бродяг ловит, ни одного нищего не пропустит: под караул да в город.

Когда Андрей поведал друзьям о дуре-барыне и ее порядках, Мясников встревожился.

— Гляди, как бы нас не трянули за ворот... Может, податься куда-нибудь подальше? К Бикбарду, на Ик, в Камбарку, или уйти в леса под Красноуфимск. Места там гористые, не скоро доберутся.



— Чего раньше времени умирать,— возражал Никифор.— Мужики нами довольны. Кто докажет про нас?

— Ты из-за своей Палашки нас под обух подве-  
дешь.

Вечером в ворота постучали. Андрей был один в доме: Мясников с Никифором с утра работали в кузнице. На всякий случай атаман взял с собой пистолет и пошел отворять ворота. Каково же было его удивление, когда он увидал перед собой девушку в низко повязанном платке. Большие серые глаза, круглые щеки, маленький прямой нос — все это было чем-то знакомо. Где он видел ее?

— Не узнал? — спросила девушка.— Я Дуня из Полянок.

— Дуня? Теперь узнал. Проходи в избу.

Девушка тихо сказала:

— Пришла тебя упредить. Прослышала наша барыня, где вы схоронились, весть до нас дошла. Вишь ты какой приметный. Барыня говорит: беспрременно это разбойники, те самые, что мужа моего и сына убили. Мой совет: уходите, да поскорее. А дорога вам на восход солнца до большого увала.

— Спасибо, Дуняша.

— Будете бежать, так я вам и место назову. Тятка мой живет в лесу возле куреней. Их видать с увала. Давыдовский починок зовется. Там и укроетесь... А мне идти пора. Наверно, уж хватилась барыня... Придете на починок, так и скажите: Дуня, мол, послала.

Дуняша поправила на голове платок и поднялась все с тем же тревожным выражением в глазах. За калиткой они расстались. Андрей тотчас же отправился в кузницу предупредить товарищей. Он застал их за горячей работой. Никифор держал в клещах раскаленный добела кусок железа, а Мясников бил молотом. Андрей рассказал о грозящей опасности.

— Вот и нажились,— с грустью сказал Никифор, бросая клещи.— Все одно Палашку с собой уведу.

— Ты о своей голове думай,— возразил Мясников,— а чужую не завязывай.

Стоял серый прохладный вечер. Как будто паутиной затянуло окрестность. Вечерний дымок поднимался над крышами и лениво таял. Стайка воробьев, на-



хохлившись, сидела на огородном прясле. Все дышало таким покоем, было так обычно, даже не верилось, что в это время где-то на господском дворе снаряжается в розыск команда и надо бросать обжитый уют.

— Куда вы, кормильцы? — спросила соседка, увидав приятелей, собравшихся в дорогу.

— Куда глаза глядят, бабка. К медведю в берлогу, вместе будем лапу сосать, — отвечал Никифор.

Веселостью он хотел скрыть тоску по девушке, по привычному крестьянскому житью. Ему всех горше было расставаться с деревней.

Дорога до Давыдовского починка оказалась на редкость тяжелой. Друзья пробирались меж гигантских сосен и лиственниц, сквозь частый ельник и заросли можжевельника. Пахло папоротником и палой гниющей листвой.

— Бредем, как видно, наугад? — недовольно спросил Никифор.

— Лучше нам заночевать здесь, — предложил Мясников.

— Взберемся на увал, там, может, не так сыро, — сказал Андрей.

На увал они взошли, уже когда настала ночь, холодная, сырая, мгlistая. Выбрали полянку и разожгли костер. Стало теплей, и на душе немного легче. Озаряемые пламенем костра, из темноты выступали черными великанами деревья. Снизу, из мочажины, доносился волчий вой.

— Теперь бы на полатах погреться, — проговорил Никифор, развязывая мешок с провизией.

— Поживем здесь с недельку, может, корни пустим, — пошутил Мясников.

— Мы от настоящей жизни отвыкли.

— Скажи: отучили. Неужели Андрей с его грамотой не нашел бы работу по душе? Ты бы за сохой ходил, а я бы в кузне ковал. Как скovyрнули нас со своего места, вот мы и нелюди стали.

— Я так думаю: человеку завсегда лучшего хочется.

— Вишь ты, до чего додумался. Кабы не беда, ты, Никифор, не поумнел бы. Верно, стало быть, говорят: худа без добра не бывает.

— Тебе все шутки, а я озяб до того, что зуб на зуб не попадает.



Никифор и Мясников легли возле костра, Андрей сидел и любовался игрой огня. Он думал о том, что человек может перенести очень много, если не потеряет веру в свои силы.

Волчий вой в долине слышался все громче. На разные голоса выла большая стая. Андрей подбросил сучья в костер. Языки пламени взвились и заплясали в клубах дыма.

Поворачиваясь то одним, то другим боком к огню, приятели пытались заснуть на постелях из пихтовых веток. Андрей, чувствуя, что не сможет заснуть, подерживал костер.

Туман стоял на дне долины такой густой, что горы казались повисшими в воздухе. Утро вставало студёное, неласковое.

Мясников потянулся до хруста в костях и открыл глаза.

— Эх, и сладкий же сон мне снился!

— Матрена? — спросил Андрей.

Мясников приподнялся на локте.

— Слушай! Сердце у меня не телячье и рука тяжёлая. Может, и Матрена снилась. Ну и что? Любил ты её, я тоже, и ещё неведомо, кто жарче любил. Кабы жива была, померялись бы силами...

«Что я в самом деле?» — подумал Андрей и сказал сердечно:

— Прости меня.

Мясников ничего не ответил.

Когда совсем рассвело, перед глазами беглецов во всю ширь раскрылись дали. Внизу, по дну долины, текла речка, и вода в ней по-осеннему была глубоко-синей. В одном месте над лесом поднимались голубые дымки.

— Курени! — воскликнул Никифор. — Значит, поблизости должен быть и починок.

Все приободрились, хотя путь по-прежнему лежал через чащу. Продираясь через хвойную завесу, путники наконец вышли на поляну, где курились кученки. Спросили у углежогов, где Давыдовский починок. Те глянули хмуро и с подозрением:

— А вам на что?

— Не бойтесь, рассказывайте, не с худом пришли.

Еле-еле уговорили показать тропинку. Один звелся проводить.



— Тут незнакомый человек заблудится.

— Вот это нам и надо, чтобы не знали, где мы якорь бросили.

Починок состоял из трех дворов. Дворов, собственно, и не было, даже верей не были врыты.

Избы свежесрублены, одна еще и не закрыта. Возле нее широкоплечий сутулый старик гнул ободья для саней.

— Не ты ли дедушка Давыд?

— Я самый. А что вам надобно?

— Нас послала к тебе Дуняша.

Старик оставил работу и пригласил нежданных гостей в избу.

— Оставайтесь. Места у нас скрытные. Поживете, сколь поглянется. Вот я клеть начал ставить, так можете.

— Поможем, дед.

Закопченные стены избы показались изыбшим и голодным беглецам краше дворцовых покоев. В двух отдельных избах жили женатые сыновья Давыда. Они работали дроворубами в куренях.

Местность была до того глухая, что лес подступал прямо к окнам.

— Тут только в небо дыра,— тоскливо сказал Никифор, почесывая затылок.— Ну и добрались до жительства, неча сказать. Здесь, кроме медведя да лешего, никого не повстречаешь.

— Лучше уж с лешим повстречаться, нежели с полицейской командой,— резонно заметил Мясников.

— Отдохнем, братцы, и за работу, станем жилье себе строить,— сказал Андрей.

— Верное слово, атаман,— откликнулся Никифор.

— Ты меня атаманом не зови. Кончилось мое атаманство. Теперь каждый из нас над собой атаман, только и всего.

— Нет, уж ты мне не прекословь. Как ты мне помог из Чермоза бежать, с той поры я тебя и стал звать атаманом. Ты мне заместо брата родного...

Андрей только рукой махнул. Он присматривался к новому жильству и думал, что зиму здесь прожить надо по-человечески: в труде. Он твердо решил не возвращаться разбойником на большую дорогу.

Целыми днями друзья работали в лесу, валили деревья, обрубали сучья, подтаскивали к жилью. Благо,



ходить недалеко — все было под боком. Давыд учил их, как и что нужно делать.

— Глядите, братцы, красота какая! — позвал товарищей Андрей, показывая на сосну, гордо и широко простершую могучие ветви с густой темно-зеленой хвоей.

— У нас на Колве много таких красавиц, — сказал Мясников и вздохнул.

Никифор смерил сосну взглядом снизу доверху.

— Спилить, так дров-то на ползимы хватит. Доброе дерево.

— Сам ты дерево, — сказал Андрей с досадой.

Как-то среди работы со стороны починка услышали они девичий голос.

Ты заря ли, моя зоренька,  
Заря вечерняя, полуночная.  
Высоко ты, заря, восходила,  
Выше лесу, выше темного,  
Выше садика зеленого...

— Чья это залетная пташечка? — спросил Никифор.

— Палага, наверно, прибежала, — усмехнулся Мясников...

Когда они на валках затаскивали на двор очередное бревно, увидели девушку. Она стояла на крыльце, выжимая вехоть, простоволосая, босая, в подоткнутой юбке.

— Здорово, Дуняша! — крикнул Андрей.

Девушка застыдилась и скрылась в избе.

Обедали все вместе. Мясников поглядывал на стены, на пол.

— А ведь ровно в избе светлее стало, когда хозяйка пришла.

— Как же это ты, Дуняша, решилась? — спросил Андрей.

— Давно думала убежать. Тятенька без меня былым живет.

«Хитришь, девка», — подумал Андрей.

В тот же день возле избы между ними произошел разговор снова о побеге.

— Не будут тебя искать?

— Пускай ищут, — ответила девушка. — Я на все решилась.



— Разве так плохо жилось у барыни?

— Плохо ли, хорошо ли, а хочу по своей воле жить... Помнишь, просилась тогда с тобой? Отчего не взял? Вот и пришла сама.

Андрей взглянул на ее просветлевшее лицо. Девичьи глаза, большие, ясные, смотрели прямо и доверчиво, как будто говорили: вот я, вся твоя.

Андрей обнял ее и поцеловал в мягкие покорные губы. Он не знал еще, любит ли ее, но чувствовал, что именно с ней ждет его простое и долгое счастье.

Они стояли под высокой елью. На ветке, раскинув хвост, сидела белка и, сверкая черными бусинками глаз, с любопытством смотрела на обнявшуюся пару.

Дни заметно становились короче, моросил дождь, и друзья торопились закончить жилье до снега. Вскоре подъехали из куреней сыновья Давыда, и тогда работа пошла вдвое спорей. Венец за венцом ложились на мох под дружное пение плотников.

— К михайлову дню вселяться можно,— объявил Давыд.

Сам он бил из глины большую русскую печь. Решили новую избу сделать не по-черному, а по-белому.

— Надо одну комнату отделить,— лукаво заметил Никифор.

— Для тебя, что ли? — спросил Мясников.— Палашку хочешь привести?

— Нет, для молодых.

— Для каких молодых?

— Для атамана и Дуняшки.

Андрей рассердился:

— Будет тебе брехать.

— Чего брехать, видал, как вы целовались.

— Ну и пес!

Мясников захохотал.

— Он тебя выследил, чтобы самому по закону с Палахой начать жить. Я их, ильинских, знаю: мастера в мутной воде рыбу ловить. Недаром возле Камы живут.

— Пускай ведет Палашу,— добродушно согласился Андрей.— Заживем семейно. Будет кому щи варить да чистоту наводить.

— Ну и живите, а мне оставьте место хоть на голбчике,— пошутил Мясников.



Избу все-таки разделили на две половины.

В михайлов день справляли новоселье. Мягкий пушистый снег лежал на поляне, на крышах изб, на ветвях деревьев. И от чистой его белизны было светло вокруг.

Давыдовы снохи напекли пирогов, сварили жирные щи, состряпали кулебяку. Старик вытащил из подполья заветный лагунец медовухи. Дуня накрыла на стол чистую скатерть. В новой горнице вкусно пахло свежестроганым деревом, на стенах выступили прозрачные клейкие капли.

Когда все сели за стол, Давыд перекрестился.

— Освятить бы надо жилье-то, да где попа достанешь.

— Сами освятим, Давыд Маркелыч,— отозвался Никифор.

— Помолчи, шуторма! Крест — от нечистой силы оборона.

Дуняша принесла ржаную ковригу, старик в благоговейном молчании всего застолья разрезал ее на ломти. Посреди стола поставили большой пирог с рыбой.

Давыд налил всем по чарке.

— Ну, детушки, и вы, гости любезные, выпьем за новый дом, чтобы жилось в нем в труде и радости...

И все выпили по чарке. Женщины стояли поодаль.

Когда выпили по третьей, Никифор повеселел.

— А что же это бабоньки-то притолоки подпирают? Али места за столом не хватает?

— Ладно им и так,— ответил Давыд.— Не отсохнут ноги... Дунька, неси брагу!

Дуняша налила кружку и поднесла сначала отцу. Тот отпил. Дочь опять налила с верхом и так обошла всех.

Когда очередь дошла до Андрея, он сказал тихо:

— За твое счастье, Дунюшка!

Девушка ответила ему нежной улыбкой.

— Пейте на здоровье!

Никифор, больше всех выпивший медовухи, раскис:

— Хорошие вы мои! Мы с вами проживем... Как родные будем жить... Вот как!

— Ежели к нам с добром, так и мы добрые,— сказал Давыд.



Заговорили и молчавшие до того его сыновья.

— У нас в куренях один углежог в кученок провалился, еле живого вытащили.

— Все одно помрет мужик, шибко обжегся.

— Вы хоть ради новоселья-то не болтали бы про такое,— рассердился Давыд.— Нешто другого разговора нет?

Мясников пил и не пьянел, только становился еще мрачнее. У Андрея слегка кружилась голова.

Женщины тоже выпили медовухи и сели рядом с мужьями за стол.

— А тебе, Дуня, и места нет? — пожалел Никифор.— Садись со мной рядом... Нет, не садись — у меня невеста есть. Палашкой зовут...

Дуня села рядом с Андреем. Давыд глянул на нее с гневным изумлением и даже крикнул: «Это что же за бесстыжая!» Но ради праздника не сказал ничего. «Точно свадебный пир,— подумал Андрей. Он ощущал рядом теплоту девичьего тела и снова подумал: — Не ты ли моя суженая, с кем идти мне рука об руку всю жизнь до гроба?»

Дуняша как будто угадала его мысли, повернулась и быстро шепнула:

— Не гляди на меня: тятенька гневается.

Давыд переводил взгляд то на дочь, то на Андрея: ему по душе был этот ловкий и сильный парень, он бы с радостью отдал за него дочь, но вот беда: кто он таков, не известно, сегодня здесь, а завтра ищи его, как ветра в поле. А проклятая Дунька глаз с него не спускает. Надо дать ей острастку!

С этой мыслью он тяжело поднялся из-за стола, за ним поднялись и сыновья. Дуня осталась убирать остатки еды.

— Выходи за меня замуж, Дуняша,— сказал Андрей, обнимая девушку за плечи. Она спрятала у него на груди счастливое лицо.

Никифор похрапывал, прислонившись к стене и опустив голову на грудь. Мясников забрался на полати. Весь день он не проронил ни слова. Андрей догадывался о причине его тоски. Однажды кузнец рассказал ему, как он поженился и стал жить во вновь отстроенной избе, как явился смотритель с заводов Походяшина и приказал отправляться на Богословские заводы. Кузнец отказался. Его хотели взять силой.



Он убил зрителя и бежал, оставив навсегда и дом и жену.

На другое утро Андрей пошел на половину, где жил Давыд. Старик надевал бахилы, а Дуня затапливала печь.

Андрей молвил напрямик:

— Дедушка Давыд, благослови свою дочь на брак со мной.

Давыд поглядел исподлобья и долго молчал.

— Не нашего ты корню человек. К крестьянской работе непривычен. Жить в лесу не станешь... Пошто сомустил девку?

— Не сомущал он меня, тятенька! — отчаянно крикнула Дуняша.

— А ты молчи! Рано волю взяла. Вот возьму варовину да отхлещу...

— Стало быть, нет твоего согласия? — спросил Андрей.

— Нет и не будет.

Дуня с рыданиями выбежала за дверь.

Андрей, может быть, и настоял бы на своем, но образ Матрены по-прежнему жил в сердце. Глядя на Дуняшу, он невольно вспоминал ту, которая принесла ему такое большое и такое мимолетное счастье.

Однажды девушка спросила его:

— Любил ли ты кого-нибудь, Андрюша?

— Любил, только померла моя любушка.

— Хороша она была?

— Зачем тебе знать?

Дуняша отошла от него и сказала с грустью:

— Ты и теперь ее любишь.

— Ее нет в живых, и не надо о ней вспоминать.

У Дуняши показались слезы.

— О чем ты, Дуня?

— Так... Ни о чем.

Зимой Андрей постарался каждому из товарищей дать дело. Вспомнив, как чеботарили они с Блохой на ревдинских куренях, он через Дуняшиных братьев связался с куренщиками. Заказов на починку всякой дорожной снасти было столько, что друзья половину избы заняли под мастерскую.

С утра до вечера слышался стук молотков.

— Сроду не думал, что чеботарем стану, — говорил Никифор.



— Люби дело, и оно тебя полюбит,— подбадривал Андрей.

— Ты вроде деда Мирона: нас на путь наставляешь, а сам, поди, не чаешь, как весны дожждаться.

И все трое расхохотались.

Между тем слух о новоселах на Давыдовом починке дошел до ушей начальства. На масленице со старшим сыном Давыда приехал незнакомый человек. Был он маленького роста, собой щуплый, с хитрыми глазками и сморщенным, как пустой кошелек, лицом.

— С праздником, с широкой масленицей! Вон вы куда забрались! Верно, чтобы от очей начальства подальше быть? Ась?

Давыд несколько смутился.

— Это уж как вашей милости угодно.

Он посадил гостя за стол и поставил перед ним тарелку с блинами.

— А кто у вас в другой половине жительствоует? — полюбопытствовал приезжий.

— Знакомцы деревенские, земляки.

— Что же ты их не пригласишь к столу?

— Чего их приглашать: не чужие, сами придут. А вы, господин, чьи сами-то будете?

— Красноуфимский я. Бумагомаратель. По письменной части маюсь.

Глаза «красноуфимского» воровато шарили по избе.

— Не худо живете, худо, что в тайности себя содержите.

Поев, он оделся и, будто по ошибке, зашел на другую половину.

По случаю праздника друзья играли в карты.

— Мир честной компании! — сладким голосом заговорил приезжий. — Дозвольте присесть?

— Садитесь, — ответил Андрей. — Какое у вас к нам дело?

— Дела, можно сказать, никакого... Просто заехал познакомиться.

Андрей нахмурился.

— На что же это понадобилось?

— Да больше из любопытства.

Мясников внимательно разглядывал неожиданного посетителя.



Тот невольно съежился под его немигающим темным взглядом.

— Что ты, мил человек, так смотришь на меня? Или признаешь знакомого?

— Признаю,— глухо сказал Мясников.

Гость принужденно засмеялся.

— Истинно сказано: гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдется... Уж вы меня простите. Я поеду.

— Скатертью дорожка,— буркнул Никифор.

Приезжий откланялся, следом за ним вышел и Мясников.

Вскоре есаул вернулся и спокойно сказал:

— Помогите-ка мне, ребята, зарыть эту падаль.

— Убил?

— А вы как думали? Он нас вынюхивал. Затем и ехал в такую глушь. Он мне уж попадался раз, да я, дурак, отпустил его в ту пору... Старый ярыжка!

Зима подходила к концу, хотя порой еще шумели злые метели.

Но вот наступила тихая погода. Прояснилось небо, и солнце блеснуло по-весеннему ярко, заслезилась оттепель. Как будто после долгого сна просыпалась тайга. Громче слышались в ней птичьи голоса, снег отяжелел, стал зернистым.

Приближалась весна, и друзья стали готовиться к отъезду на сплав. Дуняше велели сушить сухари. Она ходила с заплаканными глазами.

— Не ездь, Андрюша,— уговаривала она.— Сердце чует, не увидимся мы больше с тобой.

— Не тужи, Дуня, не кручинься. Привезу тебе из Нижнего полушалок, из Казани ботинки сафьяновые, из Лаишева...

— Ничего мне не надо. Без тебя я с тоски зачахну.

— Ну, полно, полно. Все равно ехать надо.

Друзья решили отправиться в Шайтанку: во-первых, уже знакомо, во-вторых, было у кого остановиться. Андрей рассчитывал зайти к Балдиным.

Накануне ему приснилась Матреша. Снилось, будто оба они поднимаются на высокую крутую гору. Кругом мрачные скалы, обросшие мхом, в расселинах



темные, хмурые, островерхие ели и медно-красное небо над головой.

Тягостно было на душе Андрея, точно оставлял самое дорогое и шел неизвестно куда. Матрена вела его за руку. Ладонь была холодная, и холод ее проникал до самого сердца.

— Ведь ты мертвая,— говорил он.

— Для кого мертвая, а для тебя живая.

— У меня есть невеста, отпусти меня.

— Я твоя жена навеки.

Она смотрела на него неживыми глазами, и взгляд ее был страшен.

— Пусти! — крикнул Андрей, вырвал руку из ледяной ее руки и проснулся.

Тишина стояла в избе, только слышалось, как капля за каплей падает вода из рукомойника.

— Тьфу, какое наваждение!

У Андрея тревожно стучало сердце. Так он и не мог больше заснуть.

А в день отъезда младший из давыдовичей привез печальную новость: брата его взяли под караул и увезли в Красноуфимск.

— Стало быть, хватились нашего гостя,— сказал Андрей.— Пора и нам связывать котомки.

Уезжали синим мартовским утром.

Как ни крепился Андрей, но, глядя на Дуню, едва удержался от слез: такую душевную боль выражало ее лицо.

В последнюю минуту она прижалась к нему, всхлиывая, как ребенок:

— Не отпускай!

Он с силой разжал ее руки и, уже не оборачиваясь, пошел к саням, где сидели товарищи. Вез их Давыд. Старик тоже был печален.

Никифор насвистывал что-то под нос, Мясников пытался развеселить Андрея, но напрасно. Тот сидел молча, грустно глядя на лесную дорогу.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*О, горе нам, холопам, за господами жить!  
И не знаем, как их свирепству служить!*

*Плач холопов*

Ефим Алексеевич Ширяев проснулся в отличном расположении духа. Он сидел в легком шелковом халате у окна, держа в руке чубук, и с удовольствием наблюдал, как по плотине везли руду и уголь. Завод работал в полную силу. На складах все больше и больше накапливалось штыкового и полосового железа. Брат Сергей писал, что можно заключить выгодный контракт в Нижнем и по первому сплаву отправить весь запас. Надо ему ответить...

Писала и сестра Софья из Екатеринбурга. Собирается начать дело об окончательном разводе с Демидовым. Преглупейшая история! Неужели нельзя было завести аманата, сохранив все в тайне от мужа? Нет, понадобилось бежать — и к кому? К мелкопоместному дворянину, из роскоши — в бедность... Чем все это кончится? Недостаточно того, что люди болтают всякую всячину, так дошло до самой императрицы. Беспримерный скандал!

Он, Ефим Ширяев, разумеется, не попал бы в дураки.

Мысли Ефима Алексеевича приняли игривое направление. В доме все было устроено, как он хотел: в одних комнатах — жена, в других — любовница. Имелась еще одна, тайная келейка, в нее приводили к нему молодухек.

Заведывал этим Алешка Кублинский, исполняющий обязанности дворецкого.

Вот и теперь он, наверно, уже дожидается в передней с утренним докладом. Преданный, верный раб.

— Алешка!

— Здесь, ваша милость! — слышалось за дверью.

В комнату вошел мужчина лет тридцати, с русыми волнистыми волосами, с карими навывкате глазами, с пухлым красным ртом. Во всей его фигуре было выражение угодливости и подобострастия. В руках Алешка держал довольно толстую тетрадь, «журнал повседневный всяким случаям и обстоятельствам».



Барин пососал чубук, выпустил изо рта клуб голубоватого дыма и лениво процедил:

— Читай.

Алешка прокашлялся и густым баритоном нараспев, ибо не очень наторел в грамоте, стал читать повседневную запись случаев за вчерашний день.

«Крестьянские женки Парасковья Прядина и Дарья Никитина за поношение между собою тальем нещадно наказаны.

Крестьянин Семен Репин за ослушность, по выдержании двух суток в цепи, палками наказан.

Крестьянин Пахом Власов за прогул от своей работы батожьем наказан.

Повар Евграшка Трусов за игру в карты, по выдержанию под стражей в цепях одних суток, вицами наказан.

Заводские женки, числом до семи человек, за ослушность от работы, в проводу по улице палками наказаны».

— Это от какой же работы бабы отказались?

— Работа самая пустяшная — руду таскать.

— Сколько палок дали каждой?

— Пятнадцать.

— Мало! Сыщи тех баб, добавь еще по пятнадцати лозанов и приставь их к подноске руды на вечное время... А теперь поди скажи Катерине Степановне, чтобы кофий сварила.

Алешка на цыпочках подошел к комнатам, которые занимала содержанка. Катерина Степановна Иванова, екатеринбургская мещанка, уже второй год жила в господских хоромах, окончательно оттеснив на задний план законную жену барина.

В первой комнате, гостиной, Катерины Степановны не оказалось.

«До кой поры дрыхнет! — подумал Алешка. — Не попалась бы на глаза нашему аспиду, торговала бы калачами в Разгуляе, не щеголяла бы в робронах да фижмах».

Напившись кофе, барин отправился на завод совершать свой ежедневный утренний обход. Его сопровождал, почтительно отступив на шаг, Кублинский. Они шли по главной улице — Проезжей.

Навстречу попалась миловидная девушка. Завидев



барина, она пугливо перебежала на другую сторону улицы.

— Чего это она? — недовольно спросил барин.

Алешка тотчас же заворотил девку и представил перед барские очи.

— Чья ты?

Девушка молчала, опустив глаза. Румянец стыда заливал ее смуглые щеки.

— Анютка Нарбутовских, надзирательева сестра, — отрапортовал Алешка.

— Что же ты, милая, не отвечаешь мне, я ведь не зверь какой-нибудь, — говорил Ефим Алексеевич, на глаз оценивая девичью статью.

Под этим липким и бесстыжим взглядом девушка стояла ни жива ни мертва.

— Ну, ступай покуда, — разрешил барин. — Девка или замужняя? — спросил он Алешку.

— Помолвлена недавно за Гришку Рюкова из молотовой фабрики.

— Ты мне ее сегодня доставь. А Гришку отправь в Подволошную и запиши на сплав.

— Будет исполнено, ваша милость.

Ефим Алексеевич пошагал дальше, опираясь на трость. Эту трость хорошо знали шайтанские мастера: была она железная и обшита кожей.

Теплело. По обочинам каменистой, усыпанной углем дороги бежали звонкие весенние ручьи. Пруд сверкал разводьями, но на горах еще белел снег.

Только фабрика внизу, у плотины, в этот весенний день казалась точно еще чернее. Шум воды, лязг металла и удары молотов сливались в сплошной гул.

Ширяев начал обход с кричной фабрики, самой крупной на заводе. В открытые ворота виднелись пылающие горны. У трех молотов стояли мастера с подмастерьями. В горнах «спели» крицы, и работники ожидали, когда можно будет раскаленную массу металла поддеть на вилку и подкатить к наковальне.

Ефим Алексеевич всегда раздражался, когда видел хотя бы малейший перерыв в работе. В заводском деле он разбирался плохо, и ему всегда казалось, что мастера отлынивают от работы. Так подумал он и на сей раз.

Подошел к первому молоту, на котором работал Максим Чеканов, костлявый, с клочковатой, обожжен-



ной бородой и длинными жилистыми руками. Рядом с ним стоял с клещами наготове его подмастерье Иван Никешев — белокурый, богатырского роста и силы дитина, всегдашний победитель в борьбе и кулачных боях.

Оба сняли войлочные шляпы и поклонились хозяину. Тот спросил:

— Почему стоит работа?

— Дожидаемся, ваша милость, когда крица поспеет, — отвечал Чеканов.

— А ты что волком глядишь? — грозно спросил Ефим Алексеевич у подмастерья.

Иван попятился.

— Я не глядел...

Ширяев поднял трость и с размаху ударил парня по плечу. Тот вскрикнул и схватился за ушибленное место, новый удар заставил его со стоном опустить руку.

Утолив гнев, Ефим Алексеевич уже спокойно прошел по фабрике и направился к кузнице.

— погоди, дьявол, когда-нибудь доберемся до тебя, — прошептал мастер, с ненавистью глядя вслед хозяину. — Терпи, Иванко.

В кузнице работа кипела вовсю. Под ударами молотов золотые искры веером взлетали от раскаленного железа. Придраться было не к чему, но нельзя, чтобы день даром пропал. Ефим Алексеевич вспомнил о семи бабах.

— Сыскал негодниц?

— Сыскал, ваша милость. Куда их доставить?

— В аптекарскую баню.

При заводской аптеке имелась баня, где стригли и мыли рекрутов. В обычное время ею никому не разрешалось пользоваться. Туда-то и привели несчастных женщин. Несколько мастеровых, родственники осужденных, провожали их до самой бани и роптали вполголоса. Ефим Алексеевич присутствовал при экзекуции. Велел принести виц, а женщинам приказал раздеться. Те завопили в один голос. Алешка грубо сорвал с одной из них полушубок и сарафан.

— Ништо, не помрете! Вон какие толстомясые.

Отпустив пятнадцать ударов, принялся наказывать вторую. Та, плача от стыда, разделась до пояса сама и покорно легла под вицы. Последнюю молодую жен-



щину, жену мастерового Василия Карпова, Прасковью, Ефим Алексеевич стегал сам. Он хлестал молодуху до тех пор, пока по спине не потекла кровь.

— Станете еще ослушиваться? Навечно будете при подноске руды, навечно!

Он кричал сердито, но лицо его выражало полное удовлетворение, как будто исполнял он во всех отношениях приятное дело.

Женщины слушали, всхлипывая от боли и стыда, не смея взглянуть в глаза друг другу. Только Прасковья Карпова, которой досталось больше всех, стояла молча, бледная, с горящими глазами.

— Теперь можно и пообедать,— сказал Ефим Алексеевич, выходя из бани и блаженно щурясь под лучами апрельского солнца.— Как там Евграшка? Изготовил обед?

— Изготовил, ваша милость. Как не изготовить? Я бы ему, стервецу, тогда последние волосы выдрал.

...Василий Карпов, молодой мастеровой, накинул на плечи жены кафтан и, задыхаясь от душевной боли и гнева, шептал:

— Параша! Не пройдет это ему, не пройдет! А ты, родная, поплачь, легче будет.

Прасковья шла, не говоря ни слова.

В господском доме жизнь текла чередом. На половине самой госпожи Ширяевой всегда было тихо. Рано поблекшая, испытывавшая и унижения и побои, она так боялась своего мужа, что при одном его появлении бледнела и теряла дар речи. В своем доме она жила как в заключении. Частыми посетителями ее покоев были монахини из екатеринбургского женского монастыря, нищие и странники, а комната напоминала часовню. Горела негасимая лампада, пахло елеем и ладаном. Стареющая, оскорбленная женщина находила утешение только в молитве.

— Постриглась бы в монашки, что ли,— недобро шутил муж.— По крайности мне бы руки развязала.

— Я и так ничем тебя не связываю, Ефим Алексеевич.

— Все-таки женой значишься. Хоть бы подыхала скорее. Ух, ненавижу!..

И муж уходил, хлопнув дверью, а жена плакала — от обиды, от тоски, от сознания полной безвыходности своего положения в этом страшном доме.



Катерина Степановна тоже не чувствовала себя счастливой. Зевая, бродила она из комнаты в комнату, боясь без дела выйти из дому: как бы не донесли Ефиму Алексеевичу.

Господин Ширяев вернулся уже пополудни. Он потрепал Катерину Степановну по пухлой щечке.

— Соскучилась, душенька?

— Соскучилась.

— Ну, пойдем обедать. Столько было дел на заводе, что проголодался.

Обедали вдвоем. Евграшка подавал блюдо за блюдом. На столе стоял графин, и Ефим Алексеевич подливал Катерине Степановне в серебряный бокальчик красное, как кровь, вино. Та жеманно отказывалась, но все же выпивала чарку за чаркой.

Гришка Рюков был из той породы людей, которые сначала действуют, а потом думают. Поэтому, когда Кублинский передал ему приказ барина отправиться на сплав, он бросил на пол клещи и поднял зык на всю фабрику:

— Пошто не в очередь? Не поеду.

— Отведаешь батогов,—пригрозил Кублинский, однако не стал связываться, вспомнив, что самое главное его поручение — побывать у Нарбутовских и доставить Аннушку.

«Губа не дура у Ефима Алексеевича: не девка — мед», — подумал он с завистью.

Дворецкий ушел, а Гришка продолжал бушевать. Он неистово ругался и жаловался товарищам.

— В воскресенье свадьбу играть собирался... Что же это, ребята? В самую душу плюнули.

Ребята сочувственно говорили:

— Конечно, Григорий, неладно с тобой поступили, да ведь, сам знаешь, деваться некуда.

— Ты, Гришка, нюни не распускай,—сказал Никешев.—Сразу после работы укройся где ни на будь.

Максим Чеканов тоже советовал:

— Тут дело неспроста. Гляди, не зря на тебя озлился наш супостат.

Григорий застонал от ярости.

— Я ему кишки выпущу. Жизни лишусь, а за обиду отплачу.



— Не мели попусту, становись к горну,— оборвал его Чеканов. Гришка замолчал, поднял с полу клещи и принялся за работу.

Ветер свистел в щели. Буйно хлестала вода в вешнях.

Маховое колесо тяжело опускалось, и фабрика вздрагивала при каждом его повороте. В горнах неистово клокотало пламя.

Отработав урок, Григорий пошел домой.

Избенка у него была некорыстная. Узенькие, подслеповатые окошки, дырявая крыша. Манефа, мать Григория, хоть и была служителява вдова, домоводство правила не на широкую ногу.

Сухощавый, с огненными карими глазами, смугляк Григорий после работы любил покопаться в саду. Но сегодня даже не заглянул туда.

— Дай, матушка, поесть! — устало попросил он, снимая войлочную шляпу. Черная тоска лежала на сердце.

— Все готово, дитятко,— отвечала Манефа.

На столе уже поставлены были чашки и тарелки с неприхотливой едой. На то имелась причина: Григорий копил деньги на свадьбу. Все мысли его сейчас были о невесте. Надо бы передать ей, что посылают его на сплав, проститься. При мысли об этом кровь прилила к лицу: «Ну, изверг! Погоди, придет наш час».

Он скинул армяк, сел в красный угол, как подобает хозяину, и принялся есть.

Манефа, подперев щеку рукой, смотрела на сына и рассказывала о заводских «приключениях».

— Наказание было опять...

— Кому? — оторвался от чашки Григорий.

— Заводским женкам.

У Григория заходили на щеках желваки.

Неожиданно вошел Василий Карпов, зять Григория.

— Садись за стол,— пригласил тот.

— Еда в рот не лезет, Гриша.

— Что случилось?

— Такое, что и не слыхано. Баб наших драли лозанами в аптекарской бане... И мою Парашу... сам хозяин стегал.

— Парашу? — Григорий бросил ложку.— Сестру? Сам Ширяев стегал?



Василий опустил глаза.

Дверь распахнулась, и на пороге встала Прасковья, бледная, с раздувающимися ноздрями.

— Эх, вы! Мужики! — крикнула она. — Стыд за вас.

— Что? — грозно поднялся Григорий.

— А то, что когда мукам конец придет? Когда вы за ум возьметесь? Не нам ли, бабам, прикажете за себя стоять?

— Парасковья! Ступай домой, — сказал Василий, стараясь придать голосу строгость.

— Неужели в тебе совесть не говорит? При тебе меня раздели...

— Парасковья!

— При тебе меня... А ты?

Плечи у Прасковьи задрожали, она до крови закусил губу.

— Не плачь, сестренка, — сказал Григорий.

— Ну, хватит.

Василий взял жену за локоть, но она отбросила его руку.

Муж рассердился.

— Ты что? Вовсе из воли вышла?

— Дерьмо ты, а не мужик...

— Я?

Василий замахнулся, но тут в распахнутую дверь раздался сильный голос Мишки Харлова, барского конюха.

— Григорию Рюкову приказано не медля ни часу идти в деревню Подволошную и готовиться к сплаву.

— Не пойду! — крикнул Григорий, но Мишка уже исчез.

— За что тебя, Гриша? — спросил Василий.

— Ума не приложу. Никакой провинки за мной не числится.

— А знаешь ты, что твою невесту к барину уволокли? Бабы сказывали, будто остановил он ее посередь улицы.

— Убью! — рявкнул Григорий и, схватив молоток, ринулся к двери.

— Гришка, куда ты?

Григорий выскочил за ворота, здесь его остановили двое стражников, загородили дорогу.

— Приказ даден. В Подволошную... На сплав назначен.



Гришку подхватили под руки, потащили по дороге в Подволошную.

В этот день в доме надзирателя Ефима Нарбутовских все были в тревоге. Сам Ефим, не старый еще человек, недавно потерял жену. Дом вела старуха мать. Сестра Анна готовилась к замужеству.

Сегодняшняя встреча и расспросы Ширяева не на шутку обеспокоили все семейство. Анна уже знала, чем это обычно кончалось. Ее двоюродная сестра Марина, выходявшая замуж за писчика Ивана Протопова, силой была приведена к господину.

— Ты бы известила жениха-то, — советовала мать, но Ефим сказал:

— Нет его на заводе, отправили в деревню, а оттуда на сплав поедет.

— Вот тебе и свадьба! — вздохнула старуха.

Анна тосковала.

— Убегу я куда-нибудь, у соседей укроюсь.

— Сыщут — всех нас под наказание подведешь. Положись на божью помощь. Может, пронесет грозу.

— Нет, матушка, чует сердце беду. Как он глядел на меня! — Девушка содрогалась от гадливого ощущения.

Вечером, когда она вышла за водой, ее встретил Кублинский и, ухмыляясь, передал ей приказ барина идти в барские покои.

Он привел плачущую Анну в потайную комнату. Ефим Алексеевич находился уже там. Алешка вышел, Ширяев закрыл дверь на крючок и стал приближаться к своей жертве. Та с ужасом отодвинулась от него. Завязалась немая борьба. Разъяренный сопротивлением, Ширяев схватил девушку за горло и начал душить. Анна хотела крикнуть и не могла. В этот момент кто-то сильно ударил в дверь и сорвал ее с крючка. Ширяев в бешенстве обернулся: на пороге со стиснутыми кулаками стоял Ефим Нарбутовских.

— Ты... зачем ты сюда?

— Не позорь сестру, господин... Не дам ее поганить... Анна! Пойдем!

Он взял сестру за руку и вышел.

Ефим Алексеевич налил себе полный стакан вина, выпил залпом и стал думать о том, как отомстить Нарбутовских. Трудно было это сделать. Как лучшего на заводе мастера, превосходно знавшего заводское дей-



ство, как самого исполнительного и честного работника, вдобавок грамотного и трезвого, назначили Ефима на должность надзирателя. Если убрать его с этой должности, посадить на цепь в заводскую «чижовку», отзовется на собственном кармане. Надо поискать другое средство. Ефим Алексеевич выпил еще стакан вина, но так и не мог придумать, чем насолить надзирателю. Обидела его и девка. Ну, с той разговор будет короток. Он вспомнил Алешку Кублинского. Вот кому дать ее на потеху!

Ширяев плохо спал в ту ночь...

После завтрака Алешка принес письмо. Оно было от сестры из города.

«Дорогой и прелюбезный братец Ефим Алексеевич! — писала Софья. — Демидов сочинил на меня всякие небылицы, и теперь государыня требует меня к ответу. Помогите, любезный братец, добрым советом. Как мне быть в моем жалостном состоянии? Спасите меня от тирана. Что, если меня приказано будет вернуть к Демидову? Я тогда наложу на себя руки.

Приезжайте, любезный братец. Здесь много новостей. Приехал полковник Бибилов и дал знатный бал. Всю ночь играла роговая музыка. Я много танцевала.

Встретила вашу прежнюю любовь. Она мне сказала, что ей предстоит марьяж с капитаном здешнего мушкетерского полка. Есть еще время расстроить сие предприятие, ежели вы приедете незамедлительно.

Остаюсь преданная вам и любящая  
ваша сестра Софья».

— Вели закладывать лошадей, — распорядился Ширяев. Письмо взволновало его, к тому же давно хотелось съездить в Екатеринбург, отвлечься от заводских дел.

— В конторе, ваша милость, пришли наниматься на сплав.

Это тоже было важное сообщение.

— Дай одеться. Погляжу, что за народ.

Иван Протопопов переписывал прибывших наниматься на сплав. Записывая фамилию «Некрасов», он вспомнил, что где-то видел этого синеглазого кудряша.

— Два года назад я плавал на вашей барке до Лаишева, — подтвердил тот.



Господин Ширяев всегда сам принимал сплавщиков на караван. Из восьми человек он сразу же отобрал четверых, оказавшихся крестьянами Уткинской слободы. Эти у воды выросли, учить их не надо. Дошла очередь до следующей четверки.

— Как зовут?

Лобастый белокурый парень с широким веснушчатым лицом, изборожденным шрамом, ответил:

— Лисьих Никифор.

— Откуда у тебя шрам?

— В драке поцарапали.

— Мне буянов не надо. Проваливай... Ты кто таков?

— Посадский города Кунгура Кочнев Филипп Денисович, — бойко отрапортовал худощавый, быстроглазый человек лет двадцати пяти.

— На сплаву бывал?

— Не доводилось, батюшка барин. Врать не стану.

— Хлипок ты. Куда тебя поставишь? На барке сила и ухватка нужны. Не принимаю... А твоя фамилия?

— Некрасов Иван. Вот паспорт. На сплаву бывал.

Ефим Алексеевич посмотрел в паспорт, потом в лицо сплавщику, и что-то ему в нем не понравилось: и гордая посадка головы, и смелый взгляд, и золотистые кудри. От всей фигуры этого молодца веяло непокорством и независимостью. Такого в руки не возьмешь, а только намаешься.

— Не принимаю... Как твоя фамилия? — обратился Ширяев к последнему из четверки — смуглому, мрачноватому человеку.

— Мясников моя фамилия. Только я раздумал найматься, коли моих товарищей не взяли.

— Стало быть, одна шайка... Та-ак...

Окинув нанимавшихся змеиным взглядом, барин вышел, а Протопопов сказал:

— Будьте, братцы, настороже.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — весело отзывался Никифор.

Выйдя из конторы, друзья стали совещаться, как быть.

— Сперва поесть надо, — сказал Никифор. — Я до того голоден, что корову с телятком съел бы.

— Пошли в Талицу, — предложил Андрей.

Встречный мастеровой спросил:

— Не фатеру ли ищите?



— Да, надо бы хоть на время остановиться. Отдохнуть с дороги.

— Айда ко мне. Изба у меня просторная, ни жены, ни ребят. Спокой.

— Что ж, пойдете, друзья.

Мастеровой, назвавшийся Иваном Никешевым, привел их в свой дом на Верхней улице.

Той порой господин Ширяев, владелец Шайтанских заводов, во весь мах мчал в город.

Он приехал в Екатеринбург к вечеру. Дом, где жила Софья Алексеевна, стоял на самом бойком месте — рядом с гостиным двором. Поблизости, только перейти через улицу, желтели каменные здания горной канцелярии, горного училища, земского суда и острога.

С соборной колокольни лился унылый великопостный звон. Ефим Алексеевич снял шляпу и набожно перекрестился.

Сестра встретила его на крыльце. Это была миловидная пышнотелая блондинка, напудренная и надущенная. Глядя в ее открытые, чистые, как у ребенка, глаза, никак нельзя было подумать о многочисленных любовных приключениях этой женщины.

— Все одно я с Демидовым жить не буду, хотя бы государыня силой вернула к нему. Столько наобещал, когда женился, а после свадьбы посадил на хлеб, на воду.

Она гневно потряхивала ножкой, обутой в изящную бальную туфельку.

«И когда Софья успела заправской дворянкой стать», — думал Ефим Алексеевич, оглядывая нарядное убранство гостиной с коврами на полу и на стенах, с бронзовым амуром на столике из черного дерева, с расписным плафоном.

Вспомнил, как в Горохове та же Софья мыла полы в отцовском доме, а братья по очереди сидели в лавке, торговали мелочишкой. И вдруг, как в сказке, приехал волшебный царевич, взглянул на девку-чернавку, и стала она женой на всю империю знаменитого богача, а братья Ширяевы — владельцами Шайтанки, рудника и окрестных деревень. Враз стали богатыми людьми. Младший брат еще не хочет расстаться с торговлей, но часть прибыли от завода он получает



ежегодно, она дала ему право стать гильдейским купцом.

— Когда же ты думаешь попроведовать свою Амальхен? — спросила Софья Алексеевна, желая закончить неприятный разговор.

— Да хоть сейчас... Эй, Мишка! Ты еще не выпряг лошадей?

С радостным трепетом ехал Ефим Алексеевич на Береговую улицу. Там в маленьком домике, окруженном садом, жила его возлюбленная.

Уже совсем стемнело, когда он подъехал к заветному крыльцу. В одном окне светился огонь. Ефим Алексеевич заглянул в окно. Амалия сидела за столом и что-то вязала. Он постучал, как у них давно было условлено, три раза. Дверь отворилась, мелькнуло розовое платье.

— Ефим! О, ты не забыль свою Амальхен?

Ефим Алексеевич протянул к ней обе руки. Он точно переселялся в другой мир, полный светлых видений. Шайтанка, с курными избами, с унылыми фигурами мастеровых, злобно поглядывавших на владельцев, — все это стало бесконечно далеким.

— Я слышал, что ты собираешься замуж?

— О, найн, найн! Я люблю только тебя. Ты один хороший.

— Смотри у меня! А то давай, я тебя увезу в Шайтанку?

— Там Катиш.

— Катерину отправлю обратно к ее мамаше.

Она отрицательно покачала головой.

— Не хочешь — силой увезу.

Амалия посмотрела на него с испугом.

— Не хочу, не хочу. Ти злой.

— Ну, ладно, ладно. Шуток не понимаешь, дура. Ставь-ка лучше на стол вино и закуски...

На другой день Ефим Алексеевич отправился в горную канцелярию. Здесь он познакомился с новым членом горной канцелярии коллежским ассессором Башмаковым. Одетый в полувойенный мундир, чиновник с холодным и властным лицом встретил его вопросом:

— Как у вас на заводе? Спокойно?

— Грех пожаловаться. Народ у меня не балованный, работают.



Губы Башмакова сложились в улыбку. Он не поверил.

— Советую все же завести команду из верных людей.

Этот разговор очень неприятно подействовал на Ефима Алексеевича. Из кого он наберет верную команду? Несколько стражников — вот и вся команда. А заводское население, что скрывать, — только из-под палки и работает. Ах, до чего ему сейчас не хотелось жить в Шайтанке! Настроение Ефима Алексеевича окончательно испортилось. Он и в канцелярии не захотел оставаться, а велел Мишке снова ехать на Береговую.

И снова был он счастлив в этом розовом раю, хотя нет-нет да и мелькала мысль: а как там, в Шайтанке? Никому нельзя верить, в том числе самым близким слугам. Случись что — предадут.

Лежа на перине, полупьяный, он вдруг нащупал под подушкой листок бумаги. Поднялся с кровати, зажег свечу и прочитал начальные строки:

«Любезная моя сударушка! Сердечное мое сокровище! Ангел мой и купидон со стрелами! Жажду твоих поцелуев...»

Ефим Алексеевич побагровел от ярости, подошел к постели, где безмятежно спала Амальхен, и схватил ее за волосы.

— Кто писал? — прохрипел он, потрясая письмом. Та спросонок ничего не могла понять.

Он ударил ее по щеке.

— Не смеешь бить! — кричала Амальхен. — Ти не в Шайтанке. Вон отсюда!

Ефим Алексеевич посмотрел на нее с изумлением. «Вот как заговорила, проклятая!»

Задыхаясь от злобы, он подошел к стеклянной горке, где стоял дорогой сервиз саксонского фарфора, купленный для нее прошлым летом, и чашку за чашкой начал бросать на пол. С легким звоном разбивались они и вместе с ними искусно намалеванные на них пастушки, так похожие на розовую Амальхен.

— Мишка! Запрягай лошадей! Поехали в Разгуляй.

С того дня началась какая-то сумасшедшая карусель. Пасхальную неделю Ефим Алексеевич провел у сестры. Каждый день кончался пирушкой. Он пил без просыпу, стараясь заглушить тоску, пил со злости



на Амальхен, которая так подло его обманула, пил потому, что не хотелось ехать в Шайтанку.

Даже Софья Алексеевна начала беспокоиться за брата.

— Смотри, братец, как бы тебе без денег не остаться. Город у нас веселый.

Дни бежали незаметно среди гульбы и утех. Последний день Ефим Алексеевич вспомнил как тяжелый кошмар. Очнувшись в гостиной на диване, он увидел распластанный ножом ковер на стене, пустые бутылки под ногами и сброшенную с пьедестала статую Амура.

Потирая седеющие виски, Ефим Алексеевич пытался восстановить в памяти минувшую ночь.

Да, много было шума. Софья пригласила горных инженеров с женами. Лучше бы позвала веселых женок с Разгуляя, тогда не случилось бы такого скандала... Тьфу, мерзость! Кто-то дал ему пощечину... Говорят, дворянин... За что? Ведь он обещал его жене серьги с изумрудами... Нет, он больше ни часу не останется в этом доме.

— Мишка! Запрягай лошадей! Едем в Шайтанку.

Молчание. Пришлось встать. Мишка валялся в передней, с лицом, опухшим от пьянства. Только полный удар ямщичьим кнутом вернул ему сознание.

Андрей, получив от Ширяева отказ, стал советоваться с друзьями, как быть, что делать дальше.

— Свет не клином сошелся: рядом Билимбай, Ревда. Ревдинские караваны из всех небольшие,— говорил Кочнев.

— Говорят, лучше всего в Билимбае,— сказал Никифор.

— Все одно,— отозвался Мясников,— была бы работа.

Решили идти наниматься в Билимбай.

— Ну, тогда и я с вами,— согласился Кочнев.

— Думаешь, тебя, сухопарого, возьмут на барку? — насмешливо спросил Никифор.

— Зато я хваткий да верткий. Где силой не возьму, там ловкостью достигну.

— Будем держаться вместе,— сказал Андрей.— Завтра выступаем в поход.



Ему хотелось в этот день побывать в Талице, по-видаться с Балдиным.

Так он и сделал. Тот оказался дома и тотчас же спросил про Блоху.

— Похоронил я своего дружка в лесу, когда мы уходили от воинской команды. Умер от раны.

— Жаль мужика. Богатой души был человек, хоть и нищим жил. К таким люди как на огонек идут... Отчего же вы в такое злоключение попали?

— Вольными людьми мы себя называли, за бедный народ стояли, не давали спуску начальству, ну и начальство не дремало. На Чусовой бой приняли. Чуть не все мои товарищи там головы сложили... Страшно и вспомнить.

— Не тебя ли атаманом Золотым прозвали?

— Меня. Только ты об этом — никому ни слова. Мастеровой посмотрел на него с уважением.

Они сидели друг против друга, охваченные мыслями о минувшем.

Андрей поднялся со скамьи.

— Прощай, в Билимбай отчаливаю.

Пахом тоже встал и сказал проникновенно:

— Не уходи: большое дело на череду.

— Какое?

— Покуда не скажу. Видишь, вон вода в котле закипает, так и у нас. Оставайся. Не от себя прошу, от всех мастеровых.

В избе Ивана Никешева шел разговор. Начался он с пустого.

— Что ты левой рукой за все берешься? Левша, что ли? — спросил Никифор.

— Барин тростью благословил.

— За что?

— За погляд.

— Что ж, на него и взглянуть нельзя?

— То-то и есть, что на нашего барина никак не уноровишь: не глядишь — бьет и глядишь — бьет. Такого зверя еще на свет не родилось.

— Ты бы, Иван, попридержал язык, — вмешалась мать.

— Ничего, бабушка, мы такие же, как вы, — успокоил Андрей и стал расспрашивать дальше. — Я не первый раз в Шайтанке и слышал о ваших порядках много худого.



— Господин Ширяев такие порядки завел, что, знать-то, по всей Сибири не видано. У нас как приходит пора свадьбы играть, так девки и парни прячутся кто куда, лишь бы барин не прознал. Разве можно это терпеть? Поневоле будешь глядеть волком.

— Так вы и терпите, стало быть?

— Куда денешься? Кабы наша воля, давно бы его в пруд спихнули да еще бы гирию к ногам привязали, чтобы не всплыл.

— Не пытались жаловаться на злодея?

— Как не пытались? Писали жалобы. Ванюшку Протопопова, хотя он в этом деле и не повинен был, плетьюми стегали до полусмерти. Всех заводских грамотеев исклестали по подозрению, а толку от жалоб никакого... Такую гадюку надо своеручно удавить...

Иван поглядел на свои могучие кулаки, нахмурился и замолчал.

Вечером пришли соседи: надзиратель Нарбутовских, мастер Чеканов, Василий Карпов, подошло еще несколько человек.

— Позавчера сестру мою господин Ширяев едва не погубил,— сказал Нарбутовских.

— Кто привел ее к барину? Алешка?

— Кто еще? Три верных пса у барина: Кублинский, Шагин да Мишка Харлов... Теперь самого-то нет. В Екатеринбург угнал.

— Вот вам бы и согласиться меж собой, пока барина нет,— посоветовал Андрей.— Поодиночке он с любимым из вас сладит, а как все заодно будете, это уж сила.

— Кабы нашелся добрый человек, избавил бы нас от этого зверя, весь народ бы ему в ножки поклонился.

Андрей почувствовал, что разговор подходит к роковой грани.

— Все в нашем заводе от мала до велика ненавидят хозяина. Мы слышали, что по Чусовой назад тому года два гулял атаман Золотой, барки наших заводчиков топил, а бурлаков отпускал на все четыре стороны. Сговорились мы тогда просить его побывать у нас в Шайтанке и казнить нашего злодея, да опоздали: слух дошел, будто воинская команда побила атамана и его людей, будто никого из них в живых не осталось.



Пожилой мастеровой с выжженным глазом резко ответил:

— Не таковский Золотой, чтобы воинской команде поддаться. Он заговорен и от стрел и от пуль.

Андрей слушал, растроганный и изумленный. Мастеровой продолжал:

— Он девушку одну от позора спас, заступился за нее. А девица оказалась не простая. Дала она ему колечко в благодарность за спасение и говорит: «С этим колечком тебе никакие беды не страшны, через все стены пройдешь, все двери перед тобой отворятся. И будешь ты через это колечко цел и невредим...» Вот оно как, а ты говоришь: воинская команда. Он кольцо повернул бы — и команде конец.

— Знали бы мы, что атаман Золотой поблизости, мы бы от мира доверенных к нему послали: приходи, выручи,— сказал Нарбутовских, испытующе глядя на Андрея.

У того спазмы сжали горло. Вот когда пришел его час, вот когда сам народ просит его, ждет от него помощи, вот каким хочет он видеть его. Андрей думал открыться сейчас же, но было как-то неловко перед этими людьми, верившими в его волшебную силу.

«Бедным защита» — лучшей похвалы нельзя заслужить в этом мире насилия и неправды. Да, он поможет им, хотя бы это стоило ему жизни.

Он видел перед собой их лица — мужественные и скорбные. Сколько силы было в их жилистых руках. Дать бы в эти руки ружья, сабли, копья, топоры...

— Вот, други,— говорил Нарбутовских,— хоть недолго вы у нас живете, а видели, каково наше горькое житейство. Терпелив у нас народ, да всему мера есть... Кликни клич — весь завод поднимется.

— Что же не кличете? — насмешливо спросил Никифор.

— Нет у нас ратного навыка, мил человек. Сноровки той нет, чтобы, значит, враз начать и враз кончить...

— Нужно действовать решительно, внезапно и всем в один час. Лучше, если ночью,— с жаром заговорил Андрей.

В избе стало тихо-тихо.

Все точно ждали чего-то необыкновенного. Взоры обратились к Андрею.



— Надо знать, с каким оружием кто пойдет,— продолжал тот.— Первым делом нужно завладеть конторой, обезоружить стражников...

Мастеровые переглянулись.

— Да ты кто, молодец?

— Это он, ребята,— слышался вдруг сзади голос Василия Карпова.— Я на сплаву с ним когда-то до Лаишева на барке бежал. Он тогда в Лаишеве слез, а потом слух пошел, что новый атаман объявился. Он это и есть. Признал я его.

Тут и Никифор вступил в разговор.

— Атаман Золотой — вот это кто.

В избе стало радостно и шумно. Мастеровые повскакивали с лавки, окружили Андрея, хлопали его по плечу, заглядывали в лицо, стараясь лучше разглядеть желанного человека.

— Может ли это быть? Да неужели, парень, ты и есть атаман Золотой?

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Ах, когда бы нам, братцы, учинилась воля,  
Мы б себе не взяли ни земли, ни поля.  
Пошли бы мы, братцы, в солдатскую службу  
И сделали б меж собою дружбу.  
Всякую б неправду стали выводить  
И злых господ корень переводить.*

*Плач холопов*

Цвела рябина, но терпкий ее аромат не мог заглушить привычного запаха жженого железа и серы. Весна в этом году была поздняя, и природа точно наверстывала упущенное: буйно зазеленели кусты сирени и жимолости в палисадниках перед избами мастеровых, зазеленели скаты гор на берегу пруда, зазеленели леса на горах, обступавших Васильево-Шайтанский завод со всех четырех сторон.

Заводской рассылка обегал избы, поднимая шайтанцев на работу. Из-за гор поднималось ласковое солнце. Люди шли, не сутулясь от холода, с веселыми лицами, переговариваясь вполголоса.

— Слышал, Прокопъич, про атамана Золотого?

— Как не слышать, слышал. А что?



— Да то, что объявился он на нашем заводе.

— Врешь!

— Вот те истинный крест, не вру. Может, найдется теперь управа на нашего злодея.

— Добро, ежели бы так... Оно нам вдвойне лучше: в ответе не быть и без барина робить.

Максим Чеканов и Василий Карпов возвращались со смены в свой конец на Проезжую улицу.

Навстречу, помахивая тросточкой, важно шествовал Павлушка Шагин, в костюме с барского плеча, шея повязана шелковым белым платком, а на голове — модная круглая шляпа.

— Ишь ты, как вырядился! — с ненавистью заметил Василий.

— А тебе что за дело, варнак? Мало вас дерут...

— Обожди, и до тебя доберутся.

— Руки коротки!.. За дерзкие слова пойдешь господский двор подметать.

— Скоро атаман Золотой выметет вас отсюда вместе с барином.

— Ну-ка, ну-ка, расскажи, что за атаман? — прилип Павлушка. — Пойдем-ка со мной к барину.

— Никуда я с тобой не пойду. Отстань, паскуда.

— Врешь, пойдешь!

И он схватил Василия за шиворот. Тот вырвался и с маху ударил Павлушку по скуле. Модная шляпа слетела, и лакей едва устоял на ногах. Некоторое время он оторопело глядел на мастерового, потом поднял шляпу и погрозил:

— Ты мне за это ответишь.

— Ступай-ступай, жалуйся, барский наушник.

Никогда Павлушка не слышал от мастеровых столь дерзких слов, да еще с битьем по лицу, и со страхом подумал: «Что-то неладное готовится. Надо тотчас доложить барину».

— Зря ты с ним связался, — упрекнул Чеканов, когда Павлушка отошел, — и про атамана надо было молчать.

— Не стерпел, Матвеич. Вот до чего довели.

— Ну, я с тобой не прощаюсь, Василий. Ночью стукни, вместе пойдём к Никешеву.

У крыльца Максима встретил его старший сын Илюшка. Хотя ему было всего пятнадцать лет, он уже третий год работал рудовозом.



— Ну что, большак, отробился? — спросил мастер.

— Отробился, тятя.

У Илюшки было широкоскулое лицо, все в крупных веснушках, и большие светлые глаза. Отец и сын зашли вместе в избу.

Обоих работников ждал ужин. Агафья, жена Максима, проворная и работающая баба, растила пятерых детей, управлялась с домом и с огородом.

Вымыв лицо и руки, Максим сел за стол.

— Ну, бесштанная команда! Рассаживайся!

Двое мальчишек и девочка — все в одних рубахах — подошли к столу, младшая дочь качалась в зыбке. Отец долго и задумчиво смотрел на свою детвору, не прикасаясь к еде. «Кто-то из вас вырастет? — подумал он. — Что-то с вами будет?»

Агафья заметила, что муж сегодня не в себе. Таким она видела его только раз, когда накануне свадьбы уводил ее в Подволошную тайком к дальней родне. Поев немного, он положил ложку.

— Пошто мало ел?

— Не хочу.

— Что случилось-то?

Максим нахмурился:

— Ничего.

Он вышел на крыльцо. Стояла тихая, теплая, душная ночь. Небо неярко светило звездами. Месяц, какой-то необычно белый, серебрился над горой. Избы мастеровых слабо выступали из мрака. В некоторых окнах сквозь ставни виднелась полоска света. В настороженной тишине лишь изредка раздавался стук колотушки, и Максим подумал: «Сторожа надо первым делом убрать». По приказу барина никто в ночной час не смел выходить на улицу.

Мастер вернулся в избу, когда домашние уже спали. Поглядел он на своих детей, лежавших вповалку на полу, и ему сделалось тоскливо, какое-то смутное предчувствие пало на сердце. Вместе с Нарбутовских, Протопоповым, Балдиным он готовил Шайтанку к бунту.

В окно легонько постучали. Максим достал из-под скамьи топор.

Жена проснулась.

— Куда ты?

— Не твое дело.



— Максим! От меня, от матери твоих детей, таишь? Недоброе ты задумал.

— Что задумал, то и сделаю.

Он вышел из избы, жена за ним. Увидав блеснувший топор, она обняла мужа и заплакала.

На мгновение тот заколебался, но тут послышался голос Василия:

— Скоро ты, Матвеич?

Максим оттолкнул жену и быстро зашагал к воротам. Не отошли и десяти шагов, как их догнал Илюшка.

— Тятя, я с тобой.

— Не смей.

— Тятя, я все знаю,— сказал Илюшка.— Дозволь!

— Сказано, не смей!

В это время в доме Ивана Никешева все уже было готово к выступлению. Чтобы не вызывать подозрений, сходились поодиночке.

Весь этот день Андрей был настороже: у ворот дома дежурили посменно Мясников, Никифор и Кочнев. Вечером он послал Ивана разузнать, не выставлен ли караул у господского дома, и когда тот доложил, что дом усиленно сторожат, Андрей решил выделить несколько мастеровых в обход со стороны сада.

Люди были вооружены чем попало. Приходилось больше полагаться на смелость и внезапность нападения.

Впервые так сильно болел атаман Золотой не своей болью, но в этом не было ничего горького.

— Все, что будет сделано, валите на меня,— говорил он Нарбутовских и Протопопову.— С разбойника один спрос, с вас другой. Вам жить на месте, а я с товарищами — как ветер в поле.

— Верные твои слова, атаман,— сказал Нарбутовских.— Народ жалеть надо. Кто знает, как дело-то у нас обернется. Может, и нам тоже не жить в Шайтанке.

Андрей взглянул на Нарбутовских, в умные, глубоко запавшие глаза, и понял, что тот давно об этом думал и решил, как следует поступить на худой случай.



Мясников сидел на пороге и чистил ружье, Никифор точил кинжал, Иван Никешев — топор.

— Готовы, друзья? — спросил Андрей.

— Готовы, — ответил Протопопов. — Поднимай людей.

Послышался условный стук в окно — это пришли из Талицы братья Балдины.

— Вот и мы. Обманули караул.

Братья принесли с собой четыре ружья и запас пуль.

Около полуночи подошло еще десятка два мастеровых. Последними пришли Василий Карпов и Максим Чеканов.

— Не спят мужики, будто чуют, — сказал Максим.

— Что же, на святое дело идем, всяк придет на подмогу, — отозвался Нарбутовских и, перекрестившись широко, по-кержацки двумя перстами, поднялся с места.

— Не пора ли, атаман?

Андрей тряхнул кудрями.

Пора!

Он и сознанием, и сердцем ощущал себя теперь главой дела, которое считал самым высоким в своей жизни, и это еще больше придавало ему решимости и уверенности в успехе.

Он не сомневался, что народ их поддержит.

Молча, сжимая в руках оружие, шли заговорщики, прячась в тени изб и заборов. Впереди, по левую сторону улицы, на угоре, в тени елей и берез, возвышался барский особняк.

Ефим Алексеевич вернулся накануне из города невеселый. Все ему претило на заводе, хотя все как будто было по-старому.

Как всегда, после завтрака обошел он фабрики с железной тростью и собственноручно расправился с виновными, но без прежнего удовольствия.

Оставшись один, Ефим Алексеевич пытался разобраться в причинах своей тревоги. Напряженно глядел он в открытое окно на буйно зеленеющий сад, на закопченные заводские строения, на блестящее зеркало пруда и ничего путного не мог придумать.

Послышался осторожный стук в дверь.

— Кто там?

— Это я, Павлушка.



— Что тебе нужно?

Лакей вошел с низким поклоном.

— Не стал бы вашу светлость беспокоить, кабы не дело неотложное.

Ефим Алексеевич сдвинул брови.

— Какое еще такое неотложное? Говори.

— Да боюсь даже и вымолвить.

Рука Ефима Алексеевича потянулась к трости. Павлушка, захлебываясь от страха, бормотал:

— Беда, барин... Своими ушами слышал... Толкуют мастеровые, будто какой-то атаман Золотой приехал на завод...

— Что ты говоришь? Какой атаман?

— Разбойничий, ваша милость... Васька Карпов так сказал: «Скоро атаман Золотой выметет вас отсюда вместе с барином».

— Что же ты его на конюшню не свел?

— Я было взял его за шиворот, а он меня в скулу ударил и ушел...

— Сыскать немедленно и пороть!.. И этого Золотого разыскать и привести ко мне, а по ночам караулы выставить на улицах, чтобы никто из дворов не выходил... Где Кублинский?

Павлушка ухмыльнулся.

— Над чем зубы скалишь?

— Боюсь разгневать вашу милость...

— Ну, что еще?

— Алексей Иванович с Екатериной Степановной амурничают.

Ефим Алексеевич схватил трость и что есть мочи ударил верного слугу. Павлушка взвыл от боли. Барин зверем кинулся в апартаменты своей любовницы. Гостиная оказалась закрытой на ключ.

За дверью слышался шорох, затем звон ключа в замке. Катерина Степановна стояла смущенная и растерянная.

— От каких воров на ключ запираешься?

— Боязно мне, Ефим Алексеевич, сама не знаю, чего боюсь.

Эти слова еще более усилили тревожное настроение барина. Он велел позвать конюха Мишку и караульного по усадьбе.

Это был кривой полоумный старик по прозвищу Яша Дранный.



— Ночь не спите,—наказывал барин.— Гляди в оба.

Когда наконец явился Алешка, Ефим Алексеевич велел ему с завтрашнего дня начать обыск по всем домам, чтобы поймать атамана Золотого.

— Где ты шлялся? — спросил он в заключение.

— В Талице был, наряжал возчиков.

— С чего на тебя такое усердие накатило?

— Всегда стараюсь, ваша милость.

— Поставь сегодня у дома и у конторы стражников и обходчика.

— Будьте благонадежны, ваша милость. Все исполню, как велите.

Глаза у Алешки воровские — никогда не знаешь, врет или правду говорит. А что, если в самом деле он с Катей был? Кровь прилила к лицу, рука стиснула трость. Так бы и рассек эту кудрявую голову. Но тут же остановила мысль: на кого же можно положиться, как не на него? Если уж этот обманывает, значит, конец.

Вечером Ефим Алексеевич сел за письменный стол и начал строчить прошение в Горную канцелярию, требуя в скорейший срок выслать в Шайтанку полицейскую команду. Кончив писать, успокоился и пошел на половину Катерины Степановны. Хотелось забыться, рассеять тревожные думы. Пугало одиночество. Он лежал с открытыми глазами на пуховой жаркой перине. Рядом с ним безмятежно спала женщина, которую, как ему казалось, он любил.

С улицы доносился стук деревянных колотушек. Ефим Алексеевич встал с постели и пошел в людскую. Там на сундуке храпел во всю мочь Павлушка Шагин, в кухне спал Евграшка. Ширяев схватил Павлушку за шиворот и приподнял с постели. Тот глянул на него дикими глазами: не то человек, не то привидение — барин стоял перед ним босой, в белой ночной рубашке.

— Свят, свят, свят,—бормотал Павлушка, думая, что ему блазнит.

Ефим Алексеевич закатил ему оплеуху.

— Почему не ходил к Ваське Карпову?

— Ходил,—отвечал, потирая щеку, Павлушка.

— Почему, мерзавец, не привел его ко мне, как я велел?



— Привел бы, да самого едва не убили. Пришел, а у него в избе человек шесть мужиков. Схватили меня и принялись бить. Чуть живой приполз.

Павлушка врал: он просто струсил пойти к Карпову.

Ничего не сказал Ефим Алексеевич, необъяснимый страх снова овладел им.

Ему почудилось, будто кто-то подкрадывается к дому, ныряя меж кустов. Распахнув створки окна, он крикнул:

— Кто тут?

Никто не ответил, Ефим Алексеевич вернулся в спальню и опять посмотрел в окно. Совершенно ясно обрисовывалась человеческая фигура, за ней вторая, третья. Уже не слышно было стука колотушек. Кровь застыла в жилах.

Что делать?

— Катя...

Женщина в ужасе вскочила с кровати.

— Мы погибли, Катя! Надо спасаться.

Обмякли и дрожали колени, зуб на зуб не попадал.

Только бы не убили, только бы остаться живым. Любкой ценой!.. Еще не зная, кто хочет на него напасть, он уже готовился отдать все — деньги, драгоценности. Пускай возьмут дом, Катю, только бы пощадили его. И надо же было связаться с этим проклятым заводом! Недаром же назвали его Шайтанским... Шайтан-лог — чертово место!

— Алешка! — вскричал он.

Кублинский жил в нижнем этаже. Он пришел встревоженный и запер за собой дверь на ключ. Шагин и Евграшка тряслись и плакали от страха.

Колокол, висевший около конторы, сполошно прозвонил три раза и замолк. Кублинский прильнул к окну. По плотине бежали несколько человек, вооруженных ломами.

Дом был окружен. Слышались крики у ворот:

— Беда, Ефим Алексеевич! Знать-то, весь завод поднялся.

— Что делать, Алешка?

— Надо обороняться... Есть у вас пистолеты?

— Возьми в кабинете, в ящике стола.

В дверь постучали.

— Кто там? — спросил Кублинский.



— Отворяй, холуй, а то дверь высадим.

Это был голос надзирателя Нарбутовских.

Ширяев в ужасе бросился к лестнице, которая вела на чердак, следом за ним стала подниматься на вышку Катерина Степановна.

Кублинский встал с заряженным пистолетом около двери.

Раздался сигнальный выстрел, слышался звон разбитых стекол, вспыхнули факелы.

Начался приступ.

Мастеровые шли тремя группами. Первая во главе с атаманом направилась к господскому дому, с тем чтобы сразу же начать его осаду. Вторая группа под предводительством Мясникова должна была расположиться в саду, чтобы никого не пропускать в усадьбу. Третий отряд повел Василий Карпов к заводской конторе. Он же по пути должен был снять с работы мастеровых молотовой и доменной фабрик.

Когда подходили к дому Ширяева, встретили обоих караульных.

— Куда собрались такой ордой? — окликнул Мишка Харлов.

Вместо ответа Нарбутовских ударил его прикладом по голове и сбил с ног. Максим Чеканов спихнул бесчувственное тело в канаву.

— Собаке собачья и смерть!

Яшу Драного не тронули.

— Ступай, Яша, спать, мы за тебя покараулим. Старик покорно поплелся домой.

Отряд Карпова подошел к конторе. Один из стражников пытался было ударить в набат, но его тут же связали и заткнули рот кляпом. Остальные разбежались кто куда. Первыми бросили работу мастеровые молотовой фабрики. Они начали громить заводскую контору. С остервенением уничтожали учетные книги, заводские ведомости и реестры. Перед конторой зажгли костер.

— Горите, наши долги! — кричали работные люди, кидая в пламя конторские бумаги и кабальные записи. Ветер подхватывал и кружил исписанные листы.

Тем временем осаждавшие господский дом обезоруживали и вязали охрану. Толпа росла и росла. Бежали со всех концов мужики и бабы.



Андрей гирей взломал дверь. В темноте раздался выстрел.

— Алешка! Сдавайся, барский пес, добром,— крикнул Нарбутовских.

— Что на него, на злодея, смотреть? — Чеканов вышиб из руки Кублинского пистолет. Шагин пытался спастись бегством, но его повалили. Евграшка, став на колени, просил пощады. Аниска выла во весь голос.

— Ну, как, земляки? — спросил Андрей. — Может, оставим его?

— Он вреда нам не делал,— отвечали мастеровые. И Евграшку пощадили.

Рабочие ходили из комнаты в комнату, но Ширяева нигде не было. Кто-то догадался, что он на чердаке. Западня, однако, оказалась тяжелой и плотной: сколько ни рубили ее, открыть не смогли.

— Выходи, тиран! — крикнул Андрей. — Не выйдешь, сожжем вместе с домом.

Угроза подействовала. Люк приподнялся, и Ефим Алексеевич спустился, за ним слезла и его любовница.

— Волоките его на плотину. Пущай народ судит.

— Немало кровушки нашей попил...— раздавались из толпы гневные голоса.

— По двадцать часов заставлял робить...

— А сколько девок испоганил...

— Небось сейчас и про палку забыл...

Ширяев был жалок и отвратителен. Мелкая дрожь била его тело, однако, боясь расправы, он все еще надеялся, что помилуют, и, плача, просил:

— Православные! Простите за все обиды и притеснения, какие я вам чинил. Пощадите! Отдам все имущество и уеду с завода.

Толпа требовательно кричала:

— Стреляй в него, атаман! Будь проклят, аспид!

Андрей поднял пистолет и выстрелил в упор. Ширяев ткнулся лицом в землю.

В этот момент от господского дома верхом на коне выехал Мишка Харлов. Он на весь мах проскакал по Проезжей улице, погрозив толпе нагайкой. Вслед ему полетели камни, но Мишка мчался на лучшем жеребце из ширяевской конюшни.

— Ишь, оклемался, сволочь,— промолвил Василий Карпов.



— Эх, жаль, выпустили палача,—сказал Нарбутовских.—Теперь он в городе поднимет тревогу.

Катерину Степановну отправили в Екатеринбург пешком. Она шла по улице мимо толпы, подобрав длинный шлейф.

— Подними выше хвост, шлюха ширьевская,—кричали бабы,—авось, легче будет шагать до города.

Муку, соль, крупу из провиантских магазинов раздавали особо нуждающимся и многодетным.

Мишка Харлов настегивал жеребца, у того уже клубилась пена под удилами. Он остановил коня у желтого здания Горной канцелярии и, взбежав по лестнице на второй этаж, попросил доложить.

— По какому случаю? — хмуро спросил дежурный капрал.

— В Васильево-Шайтанском заводе бунт! Убили господина Ширьева.

Капрал тотчас отправился рапортовать начальству. Мишку впустили без задержки. Принял его член Горной канцелярии господин Башмаков.

Когда Мишка увидел его сердитое, как будто закаменелое лицо, он аж затрепетал в холопском умилении: точь-в-точь барин Ширьев, даже авантажней.

— Докладывай,—произнес господин Башмаков сквозь зубы.

— Так что, ваше благородие, в Шайтанке поднялись мастеровые, а с ними атаман Золотой...

— Кто?

— Разбойник, ваше благородие. Контору разорили, господина Ширьева выволокли в одном исподнем и казнили.

— Казнили?

— Точно так. Атаман Золотой застрелил его.

— Кой черт... «Застрелил»? Ты, каналья, подумал, о ком речь ведешь? Это не заяц... «Застрелил»... А вы где были?

— Ваше благородие, меня ранили, и, токмо притворяясь мертвым, я спасса от рук злодеев...

— Ты сделал, что надлежало,—раздумчиво промолвил Башмаков.—Ступай. Скажи, что я приказал дать тебе провиант и... ступай! — крикнул он.

Мишка скрылся за дверью.

Башмаков отправился рапортовать полковнику Бибикову.



Было решено <sup>16</sup>двинуть на Шайтанку воинские команды с ближних заводов — Ревдинского и Билимбаевского.

Труп Ширяева лежал на плотине в луже крови, и не было в Шайтанке человека, кто бы не прошел мимо него с гадливостью, как проходят мимо раздавленной змеи.

— Каково-то тебе будет на том свете, — мстительно говорила Прасковья Карпова, — а на этом мы с тобой в расчете. Надо бы тебя не один день на угольях жечь.

Восставшие на всех дорогах выставили караулы.

— Тебе бы по праву поселиться теперь в господском доме, — предложил атаману Никешев.

— Нет, Иван, лучше я у тебя останусь или пойду в Талицу к Балдину.

— Братец велел в гости тебя звать, — услышал он женский голос.

Аннушка Нарбутовских стояла перед ним, потупив глаза.

— Спасибо, Аннушка, непременно приду.

Вечером у Нарбутовских в большой и светлой горнице собрались Андрей, Мясников, Никифор Никешев, Василий Карпов, Иван Протопопов и братья Балдины. Одним словом, все вожаки восстания. Не было только Чеканова и Бужакова, они стояли в карауле.

— Надо нам обсудить, что дальше делать, — молвил хозяин. — Каков будет ваш совет?

— Большое мы дело сделали, только за него и ответ держать придется немалый, — ответил Иван Протопопов, — екатеринбургские власти пошлют против нас воинскую команду. Этого непременно надо ожидать.

— Что же, по-твоему, предпринять?

Протопопов молчал, тяжело дыша. Горячий Василий Карпов выкрикнул:

— Будем стоять до последнего! Насмерть будем биться.

— Так-то так, — заметил Протопопов, — да надо рассчитать и о будущем поразмыслить.

— Я думаю, — предложил Андрей, — не худо бы поднять соседние заводы: Ревду, Билимбай, Серги.

— Посланы туда люди, атаман, — сказал Нарбутовских.



Андрей понял, что здесь, в Шайтанке, не он все-таки главный. Все обдумано и решено без него.

Завод не останавливался и продолжал работу.

Не стало побудки, но мастеровые выходили на урок в свой час.

Среди работных людей шли разговоры о будущем.

— А дело-то наше не до конца завершено.

— Я так думаю: сколь мы ни хорохоримся, придут солдаты — и всем нам будет каюк.

— Ну, это еще поглядим.

Нарбутовских отпустил приписных.

— Неуж по дворам?

— По дворам.

— Добро мужикам!.. Ты гляди, народ совсем другой стал. Песни поют.

— Свободу почуяли!

— А не будь атамана Золотого...

— Это конечно...

— Вот уж неделя как без хозяина живем, а завод действует.

— Ништо!.. Заводское действо само по себе, а избы наши — сами по себе.

— Покуда атаман Золотой с нами, живем.

— Парень он хороший, да только ему один путь — нам другой.

Между тем, Андрей переживал медовый месяц своей славы. Достаточно ему было выйти на улицу, как еще издали, увидя его, мастеровые снимали шапки:

— Здрав будь, атаман!

Ласково улыбались девушки, а заводские мальчишки ходили по пятам, не спуская с него восторженных взглядов.

И днем и вечером в избу Никешева заходили мастеровые, кто побеседовать, кто просто посидеть, поглядеть на атамана, послушать его.

— Вот когда ты Золотым-то по-настоящему стал,— сказал как-то Андрею Мясников.— За такое и жизнь не жалко отдать.

Нарбутовских распорядился выставить заставы на двух дорогах. На ревдинской встали братья Балдины, Максим Чеканов со своими подручными — Никешевым



и Карповым. На возвышенных местах были поставлены дозорные.

— Чтобы ни проходу, ни проезду,—предупредил Нарбутовских.

— На нас можешь положиться, умрем, а не пустим,—ответил Максим.

Спокойно прошел день, другой, третий.

На четвертый день после обеда раздался сигнальный свист. Максим Чеканов оглянул поляну: из-за кустов с противоположной стороны выходили вооруженные чем попало рабочие, подгоняемые солдатами. Чеканов крикнул:

— Ревдинские! Не трожь нас, и мы вас не тронем.

Не встречая сопротивления, ревдинцы пошли через поляну. Шли не очень уверенно, оглядываясь друг на друга. Впереди вышагивал заводской приказчик, а сзади поблескивали штыки ревдинской воинской команды.

— На кого вы, сволочи? — гаркнул Максим. — На своих братьев?

Илюшка, как тень ходивший за отцом, кинул камень, да так метко, что попал предводителю отряда прямо в грудь. Тот выругался и, вытащив из-за пояса пистолет, стал целиться в Илюшку, но тот уже исчез в кустах. Он побежал за Иваном Никешевым. Иван переобувался, сидя на траве у прясла поскотины.

— Дядя Иван! Наших бьют.

— Наших.

Грянул выстрел. Иван Никешев вскочил, босой на одну ногу, выхватил из прясла жердь и побежал на поле боя. Он подоспел в ту самую минуту, когда ревдинская команда всей силой наваливалась на шайтанцев. Дрались чем попало: кулаками, камнями и кусками железа.

При виде остервенелого Ивана Никешева, бежавшего с жердью, ревдинцы оторопели. А когда жердь засвистела над их головами, начальник отряда побежал первый. За ним пустились наутек и остальные, едва ичиги с ног не спадывали.

Илюшка с пронзительным свистом бежал впереди своих. Версты две гнали ревдинскую команду шайтанцы, да так и не могли догнать.

— Суньтесь еще раз — огненным боем встретим,—грозили они убегающим.



Вторую победу одержали на следующий день. По дороге из Билимбая, где тоже была выставлена застава под командой Мясникова, в Шайтанку двинулась команда из билимбаевских мастеровых. Они шли явно нехотя, понукаемые полицейскими служителями.

— Братцы! — кричал им Мясников. — Бросьте эту затею, ворочайтесь на завод.

— Бунтовщикам — лютая смерть! — орал полицейский капрал, возглавляющий наступление, размахивая тесаком. — Вперед!

Но тут случилось то, чего он никак не ожидал: трое парней из его команды бойко перебежали поляну и крикнули шайтанцам:

— Мы с вами!

Тут человек десяток кинулись вспять по билимбаевской дороге, бросая на бегу оружие.

Все тридцать мастеровых, бывших в распоряжении Мясникова, дружно ринулись в атаку. Билимбаевцы бросились врассыпную.

— Кланяйтесь вашим! — крикнул вслед Федот Бажуков. — Скажите, как наши машут.

Несколько билимбаевцев были пойманы и по добровольному согласию зачислены в отряд Мясникова.

Илюшка Чеканов ходил среди ребят героем. Еще бы, все знали, как он зачинал бой на талицкой елани, не знали только, что в тот же день Максим высек своего большака.

— Что ты, варнак, наделал? Из-за тебя сыр-бор загорелся. Из-за тебя меня едва не застрелили.

Илюшка молча вынес порку. Зато после он ходил по Проезжей улице, с гордостью поглядывая по сторонам. Знакомые девахи смотрели на него с восхищением. А Илюшка очень хотел быть похожим на атамана Золотого.

Максим Чеканов жаловался:

— Скажи, совсем парень от рук отбился. В самый огонь лезет.

— Не тужи, Максим, — сказал столетний дед Архип, — они, молодые-то, дале нас видят, боле нас могут.

За горы садилось ласковое летнее солнце. По проезжей улице ходили мастеровые.



— Ну, Прокопъич, дождались света праздничка?

— Дождались.

— Каково тебе теперь?

— Ладно жить начал: и крупы, и мяса вдоволь, и мука в сусеке.

— А что, если конец нашему счастью придет?

— Тогда подумаем.

— Эх ты, голова,— тогда думать-то поздно будет.

Эти речи слышал Андрей, и сердце его сжималось. Что делать? Никто из посланных в Ревду и Билимбай не возвратился. Надежда еще не покидала его, но сомнение шевелилось в душе: вдруг оба лазутчика пойманы. Не жаль было себя, жаль этих людей, трудолюбивых и несчастных.

В воскресенье утром привели пятерых пленных. Трое были из Билимбая, двое свои, шайтанские.

Как обычно, Нарбутовских и Чеканов вели расследование.

— Билимбаевских отпустить надо,— решил Нарбутовских,— такие же подневольные, как и мы, а эти двое — стражники и собаки не из последних. Этих на Шишмарево урочище свести...

Стражников повели на Шишмарево урочище, а билимбаевским мастеровым объявили, что они свободны. Но мужики не уходили.

— Так вы уж нас у себя оставьте. Куда мы теперь?

— Что ж, оставайтесь, коли охота,— разрешил Нарбутовских.

По случаю воскресного дня было гулянье. Площадь перед конторой пестрела сарафанами и платками. Молодые кержачки достали из сундуков самые лучшие, самые праздничные платья.

— Как цветы на лугу,— весело подмигнул Иван Никешев.— Вот где невесту выбирать.

— Обождать придется с женитьбой-то,— серьезно заметил Нарбутовских. Он лучше прочих понимал опасность положения и знал, что многим несдобровать.

Атаман Золотой скрывался на горе в пятнадцати верстах от Верхне-Шайтанского завода. Отсюда, с вершины, открывался вид на окрестные горы. Они дыбились одна за другой, полные величия. Совсем вблизи мрачно чернела Волчиха, самая высокая из них.



Погода стояла сухая. Камни накалялись от солнечного зноя. Пахло земляникой. Розовые цветы шиповника протягивали нежные лепестки.

Отряд атамана Золотого непрерывно пополнялся. Однажды пришел Илюшка Чеканов с отцовским топором за поясом.

— Кто такой? — спросил Мясников.

— Илья Чеканов, — гордо ответил парнишка.

— А за какой надобностью пришел сюда?

— Примите в отряд. Тятку под караулом в город увезли.

Федот Бажуков не выдержал.

— Да сколько тебе лет-то?

— Восемнадцать.

— Врешь, пятнадцати нет.

Парнишка, однако, не терялся.

— Хоть и пятнадцать, а драться умею.

Андрей засмеялся и обнял Илюшку за плечи.

— Я такой же был, как ты. Принимаю тебя, Илюха, в отряд. Только, чур, не плакать о мамке.

— Не буду, — буркнул в ответ Илюшка.

На следующий день явился еще один, этот был постарше и с пистолетом, который он сумел стащить в господском доме. Андрею понравилось, что новенький пришел с оружием.

— Нам такие надобны. Умеешь стрелять?

Бажуков шепнул:

— Не надо бы его принимать. Господские пятки лизал. Неверный человек, одним словом. Ему и прозвище — Ботало.

Атаман заколебался, но Ботало, насыпав порох на полку, взвел курок и, почти не целясь, выстрелил в галку, сидевшую на соседней ели. Та кувыркнулась на землю.

— Браво! Добрый стрелок! Беру в команду.

Через день заводские женки приносили отряду провизию.

— Долго ли будем здесь стоять, Андрей? — спрашивал Мясников.

— До тех пор, пока не поднимем соседние заводы. А опасность надвигалась неумолимо.

Накануне рокового дня исчез Ботало. Бажуков донес об этом Андрею.

— Упреждал тебя. Не поверил. Теперь жди беды.



Такой не только нас — отца родного продаст, не чихнув.

— Будем настороже.

Однажды люди его отдыхали после обеда. Примостившись в тени молодой сосны, спали Никифор Лисьих и Василий Карпов, вместе с Федотом Бажуковым присоединившийся к отряду. Кочнев стоял на карауле. Мясников бодрствовал. Всегда серьезный и неразговорчивый, он сегодня был особенно угрюм.

— Добрались до шайтанских, доберутся скоро и до нас. Что будем дальше делать, атаман?

— А что, по-твоему?

— По-моему, уходить надо подальше от завода. Розыскные команды отовсюду высланы. Обложат, как медведя в берлоге.

— Уйти отсюда не хитро, только здесь у нас поддержка и помощь, другого такого завода не найдешь.

Мясников хмурился:

— Как бой примем?

— Каждый день все новые приходят.

— Что толку — приходят не с ружьями, а с топорами да рогатинами. Супротив воинской команды не выстоять.

Солнце ласково пригревало, и после сытного обеда, принесенного из Талицы, одолевала дрема.

Андрей проснулся от резкого свиста и крика.

— Вставай, атаман! Беда! — кричал Мясников.

Андрей мигом вскочил, схватил лежавшую рядом саблю.

— Что случилось?

— Розыскная команда наступает.

Закатное солнце алело сквозь ветви сосняка. Из-за кустов по склону горы тут и там поднимались вооруженные. Никифор спешно заряжал ружье. Андрей мгновенно овладел собой. Скомандовал:

— Отходить к Мокрому Логу!

— Со всех сторон обступили, — сказал Мясников. — Надо пробиваться... Берегись, атаман!

Грянул выстрел, и Андрей увидел, как его верный есаул, не протонав, упал на землю, сраженный насмерть.

Оглушительно хлопнуло еще несколько выстрелов.



Острая боль в руке заставила Андрея выронить саблю. Тотчас же из кустов выбежало человек десять, и началась схватка. Раненому Андрею связали руки за спиной.

Мимо провели обезоруженных Кочнева, Василия Карпова и Федота Бажукова.

Начальник розыскной команды велел всех пленных вести на дорогу.

— А этого положите на подводу, повезем в город, — коротко распорядился он, указав на мертвого Мясникова.

Из всего отряда атамана Золотого спасся только Илюшка Чеканов.

Андрей, бледный от потери крови, под конвоем спустился вниз, в ущелье, уже окутанное вечерней мглой. В закатном мареве алое солнце садилось за горы, и небо на западе напоминало зарево пожара.

Атамана привезли в заводскую контору, заковали в ручные и ножные кандалы и вместе с убитым Мясниковым повезли в город. Четырнадцать солдат под командой унтер-офицера конвоировали подводу.

Пленных привезли в канцелярию Главного управления сибирских, оренбургских и казанских заводов, оттуда в контору судных и земских дел. Конторе было указано:

«Раненого атамана велеть осмотреть и пользоваться лекарю под крепким караулом, и о состоянии его всегда канцелярии рапортовать, а убитого выставить здесь, на месте публичного наказания, и, привязав к столбу, держать до завтрашнего дня, прибавив лист со следующей надписью: «Сей злодей, разбойник, изверг рода человеческого хотя и ушел от достойного по законам наказания, но получил себе достойную злодея смерть и выставлен теперь через палачей на место казни для народного позорища». А потом зарыть уже в лесу, в земле, через палачей же».



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*Рыжанко не разбойник был.  
Зачем разбойник? Он рабочих  
защищал.*

*Из уральского фольклора*

Атамана содержали в госпитале под строгим караулом. Каждое утро лекарь прикладывал к ране примочку и, сделав перевязку, шел докладывать начальству о состоянии здоровья заключенного.

Залечить рану ему не дали. Молчаливый солдат повел его в контору судебных и земских дел. Впервые Андрей увидел тех, в чьих руках сейчас находилась его судьба. Члены присутствия в мундирах, шитых золотом, с любопытством глядели на грозного атамана, посмевшего поднять руку на самого заводладельца.

Видимо, ожидали увидеть матерого разбойника-богатыря, а перед ними стоял золотоволосый, синеглазый молодой человек с прямым и открытым взглядом.

Последовали обычные вопросы: кто такой и откуда, сколько лет, бывал ли у святого причастия...

Андрей не запирался. Сказал, что живет по чужому паспорту.

Рассказал о том, как нападал на барки по Каме и Чусовой.

— Раненько же ты пошел по большой дороге. Вот она куда тебя привела... Кто твои соумышленники? — зло спросил один из членов присутствия.

Андрей спокойно посмотрел на него.

— Соумышленники мои либо побиты, либо разбежались куда глаза глядят. А тех, кого со мной взяли, вы знаете.

— Врешь, вор! Выдавать не хочешь? Ты еще нам скажешь, с кем господина Ширяева убивал.

Андрей молчал.

— Небось заговоришь, как на дыбу вздернут. Позовите-ка Мефодю.

Пришел палач, высокий жилистый мужик с блеклыми, неживыми глазами.

— Пойдем, — сказал он, тронув Андрея за плечо.



Члены присутствия также поднялись с мест. Они спустились по темным каменным ступеням в подвал. Тусклый свет слабо проникал сквозь маленькие слюдяные оконца. Могильным холодом веяло от стен, забрызганных кровью.

Андрей увидел привязанные к перекладине под потолком веревки с кольцами, кнут, щипцы для вырывания ноздрей и содрогнулся.

Палач содрал с него рубаху и сунул его руки в кольца. Когда он подтянул веревки, Андрей застонал: обе руки были мгновенно вывихнуты. Холодный пот выступил на лбу.

— Скажешь?

Андрей молчал.

— Сними, Мефодя.

Палач снял Андрея с дыбы и привычными движениями вправил суставы. Андрей едва удерживался на ногах. Раненая и еще не зажившая рука горела, как в огне.

Сколько ни бились судьи, они не вырвали у него ни одного слова.

Снова отвели в госпиталь. У него начался жар. Пришел лекарь и руками развел:

— Ты меня, друг, не подводи. Начальство велело тебя пользоваться, чтобы казнь в полном здравии принял.

— Уйди, палач,— сказал Андрей.

В горячечных видениях проходили перед ним события его недолгой жизни, люди, встречи с которыми запечатлелись в его сознании. Снова видел он атаманшу Матрену — гордую и сильную. Но уже бледнел этот образ, и его сменяла другая женщина — кроткая, самоотверженная. Что с ней, с его Дуняшей? Помнилось ее лицо в минуты расставания, полные слез глаза, ее объятия.

Темно и тихо в палате. Чьи это он шаги слышит? Кто-то подходит, легкий, незримый, заговаривает с ним. Да неужели это Блоха, а может, дед Мирон? Безликий, он шепчет, точно трава шелестит, в самое ухо:

— Прими казнь за правое дело. Пусть имя народного заступника и мстителя станет твоим именем. Пусть в последний час будут тебе усладой любовь и память мирская. Песни о тебе будут петь. Отцы и ма-



тери станут рассказывать детям о твоём подвиге. И вырастут дети и поднимутся грозой на супостатов-заводчиков. Придет время—и по всей земле русской победит правда, а злодеев-господ и корню не останется.

Слушает атаман Золотой эти слова, как самое заветное, о чем думал тогда, когда дал в душе клятву поднимать оружие только за обездоленных.

Звон кандалов вернул его к действительности. Страшная палата, где его лечили, чтобы затем жестоко казнить, была темна, как могила. За окном шевелились мокрые сучья, и деревья, по-осеннему голые, сиротливо ожидали зимы. Голова пылала, томила жажда, но дверь была плотно закрыта, а за ней стоял караульный солдат.

Через месяц Андрея вздернули на дыбу второй раз. За столом сидел коллежский асессор Башмаков. Он встал из-за стола и, когда Андрея бросили на плаху, пнул его тяжелым ботфортом в бок.

— Будешь говорить?

Андрей молча отвернулся.

Били кнутом жестоко. Спина вспухла и почернела. Андрей без памяти лежал на плахе. Ему дали понюхать спирту.

— Крепок разбойник,—сказал Башмаков.— Недаром в атаманах ходил. Сколько же ему лет?

— Двадцать четыре...

— Двадцать четыре — и такой злодей!

Ничего не добившись, Башмаков распорядился увести Андрея в острог и запереть в отдельную камеру.

В камере было холодно. Сверху, почти у самого потолка, в узкое зарешеченное окно едва пробивался солнечный луч. Он напоминал о воле, обо всем, с чем неминуемо скоро нужно было прощаться.

Год тянулось следствие. Людей сажали в острог, допрашивали, отпускали и снова брали под стражу. Угрозами, пыткой старались вырвать признание. Некоторые не смогли вынести мучений и рассказывали все без утайки.

Наконец следствие было закончено и установлены главные виновники: Плотников Андрей, Нарбутовских Ефим, Чеканов Максим, Лисьих Никифор, Кочнев Филипп, Никешев Иван, Карпов Василий, Бажуков Федот, Алексей и Пахом Балдины, Протопопов Иван.



Каждому было назначено сто двадцать пять ударов кнутом, а Никешеву за сопротивление при аресте — пятьдесят ударов дополнительно.

Наказание решено было производить в нескольких местах: на месте убийства Ширяева, на Верхней и Проезжей улицах — возле домов Никешева и Чеканова. Тем, кто после наказания кнутом останется в живых, приказано было вырвать ноздри, поставить позорные клейма на лбу и щеках и сослать в Нерчинск на каторжные работы навечно.

По приказу Горной канцелярии в Шайтанку пригнали рабочих с соседних заводов, чтобы, видя казнь товарищей, они казнились страхом и впредь неповиновения господам не оказывали, а тем паче, чтобы на жизнь и имущество их не покушались.

Плотной живой стеной стояли мастеровые, их жены и малолетки из Верх-Исетского, Невьянского, Сысертского, Березовского и других заводов. Стояли угрюмые, безмолвные.

Накануне в Шайтанку прибыла рота солдат. На всех местах казни были врыты столбы. Ровно в девять часов утра пропела флейта, ударили барабаны. На улицу из заводской конторы стали выводить осужденных.

Они шли голые до пояса. Каждому отдельно читали приговор, и тотчас же с двух сторон взлетали кнуты. Солдаты стояли в две шеренги вдоль улицы, чтобы не допустить возмущения и беспорядков.

В толпе рыдали родные и близкие приговоренных, плакали и незнакомые, пришедшие из дальних заводов.

Столетний Архип, стоявший без шляпы в переднем ряду, крестил наказуемых раскольничьим крестом и читал отходную молитву.

— Страдальцы вы наши, за что такую муку мученическую принимаете? — голосили бабы.

Григорий Рюков, у которого была арестована жена, как сестра Нарбутовских, смотря на казнь, вполголоса ругал палачей. Сосед дернул его за рукав:

— Потише, парень, как бы у столба и тебе не очутиться.

— Им еще припомнятся эти столбы, — ответил Рюков, сжимая кулаки.



Сто тридцать четыре человека подверглись наказанию. Многих забили кнутом до смерти. Тридцать один человек ушел на вечную каторгу в сибирские рудники. Не щадили и женщин. Кнутом наказаны были жена Максима Чеканова, Аксинья Балдина, Анна Нарбутовских и беременная Марина Протопопова.

За оставление заводских работ семьдесят шесть мастеровых были высечены плетьюми.

Сиротливо стояли заколоченные избы в Шайтанке, в Талице, в деревне Сажиной. Хозяева их или лежали на заводском кладбище, или добывали руду в далеком Нерчинске.

Заводской колокол возле конторы будил утреннюю смену, по-прежнему дымили фабричные трубоставы, и, вдыхая угольную пыль, везли крестьяне уголь из куреней для огневой работы. Снова гудела вода в водосливных колесах, бухали молоты.

Все как будто установилось по-старому. Только память об июне 1771 года нельзя было уничтожить.

Прошел год, и как-то глухой осенью в слуховое окошко избы Нарбутовских, где жил сейчас Григорий Рюков с женой, постучался странник — попросился на ночлег.

— Заходи, — разрешил Григорий.

Старик неторопливо разделся и разулся.

— Видать, долгий путь прошел? — спросил Григорий.

— Долгий, да еще дальше надлежит пройти. Здесь ведь жил Ефим Нарбутовских, великомученик?

— Здесь, дедушка. Казнили его... царские чиновники да заводские начальники.

— Так-так... Да недолго им осталось кровь крестьянскую пить: объявился в Яицких степях народный царь, милосердный к простому люду.

— Давно пора, — от всей души сказал Григорий. — Пусть к нам идет, все за него встанем.



## Связанные крылья





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Ай, заводы, заводы демидовые!*

*Песня*

Шумит тайга. Тихо-тихо тянутся над ней сизые тучи. Ветер качает ветви, стряхивая с них тяжелые шапки снега. Ни звездочки на небе. В мутной мгле только сугробы. По обе стороны извилистой лесной дороги стоят мачтовые сосны. Даже днем сумрачно здесь, у подножия десятисаженных стволов.

Длинной кажется дорога, и конь как будто бежит сегодня не так проворно, хотя от него уже клубами валит пар. Визжат полозья, фыркает Гнедко и ускоряет бег, чуя близость жилья. Вот уже расступились сосны, в широкую просеку стало видно голую вершину Трубной горы. Потянуло знакомым заводским запахом дыма и горелого железа. Пыхнуло над домной пламя, и взметнулись золотым роем искры.

Вот и родное гнездо. Сквозь щели в ставнях полосы света. В ограде залаяла собака. Отец вышел отворять ворота.

— Кто? — выдохнул Пимен.

— Сын...

— Слава богу!

Пимен снял шапку и перекрестился. Перепрыгивая через ступеньки, взбежал на крыльцо. Отворил дверь и увидел измученное и счастливое лицо жены. Сбросил тулуп, подошел к ней.

— Сын, — прошептала она.

К ее груди припало маленькое красное тельце. При взгляде на него у Пимена защекотало в горле. Сын! Работник!

— Спасибо, Аннушка!

На берегу реки Нейвы, недалеко от ее истока, ранней весной 1762 года остановилось человек десять невьянских заводских служителей и мастеровых во



главе с приказчиком. Весенним шумом встретила их тайга, свистом и щебетом птиц, запахом хвои. Река еще играла в берегах, завивая воронки и пенясь. За кромкой леса одна за другой горбились косматые горы с голыми шиханами на вершинах.

— Уветливое место,— сказал приказчик, сутулый бородатый старик, прищуриваясь от солнца.— Здесь, пожалуй, самое подходящее завод ставить. Хвалю: добро разведали.

— Только река водой скудновата,— вставил заводской служитель Сенька Яргин, прошлым летом ходивший на поиски места для нового завода.— Плоти-ну большую не поставишь.

— Нам большой и не надобно. Двух молотовых фабрик довольно будет. Все-таки ближе к Чусовой и от Невьянска недалеко.

Тут хромой плотник, глянув из-под ладони острым глазом туда, где сквозь прорезь листвы сияли воды озера Таватуй, промолвил:

— А ежели поднять воду в Нейве вровень с Тава-туем, знатный завод можно будет поставить.

— Так ведь и плотина потребуется большая,— возразил Яргин,— хлопотно будет и усиленно.

Приказчик, сведущий в заводском деле человек, приехавший из Тулы еще с Акинфием Демидовым, задумался.

— Дело Бобылев говорит,— сказал он наконец.— Ежели построить такую плотину, на века завод встанет. А заводу тому быть здесь.

Густо шумели над головами кроны лесных великанов. Плотник Карп Бобылев поглядывал на могучие их стволы и думал: «Эх и доброе дерево! Избы-то какие можно срубить!»

Через месяц нагнали сюда дровосеков из окрестных деревень. С гулом падали сосны, кедры и железное дерево — лиственница. Вскоре склоны гор Сухой и Трубной обнажились, очищая место для будущего завода. Раньше всех поднялась высокая плотина. Строили избы для семейных, казарму для холостых. Поставили две каменные фабрики для выковки железа. Запылали горны, застучали молоты, новая жизнь пришла в тайгу. Два года строился завод, и называли его Верх-Нейвинским, а в просторечии — Новым.

Распоряжавшийся строительством приказчик Не-



вьянского завода составил план сооружения заводской конторы. Никита Акинфиевич Демидов объезжал в ту пору свои владения. Приехал он и на новый завод. В свежесрубленной избе приказчика выставили для него обильный обед с графином романа. Довольный, с покрасневшим от вина лицом, сидел Демидов за столом, накрытым праздничной тканой скатертью. Приказчик докладывал о строительстве.

— Извольте поглядеть план конторы. Вот он.— На листе изображено было будущее здание во всех видах.— Сделаем, как вам благожелается.

— Хочу, чтобы архитектура была вот такая,— усмехнувшись, объявил Демидов и показал на круглый графин.

Приказчик ответил: «Как угодно вашей милости»,— и подумал, что барская затея могла быть еще чудней. Пришлось все переделать заново: выстроили ротонду — круглое здание на манер пузатого графина.

Карп Бобылев приехал строить Верх-Нейвинский завод с сыном Пименом. Дали ему под начало артель плотников, несмотря на то, что был он хром и потому не мог быстро поспевать везде, где того требовало дело. Зато плотничную работу знал досконально и сыну передал свое умение.

Пришлось Бобылевым и плотину ставить и меховую фабрику, где выделялись молотовые и меховые станы, деревянные части к плющильным и железо-резным станам и прочие деревянные приспособления для различных заводских производств.

Бобылевы поселились в большой, из кондового строевого леса избе, возле Княжого моста, которую сами и рубили. Пимен к тому времени обзавелся семьей. Старший сын его Прокопий рос красивым веселым парнем. Был он силен и ловок и ростом высок. Так же, как отец и дед, он работал в меховой плотником. Кроме большака, у Пимена родился еще сын Евдоким, потом дочь Марьюшка.

Совсем молодым взяли Прокопия в солдаты. Не взяли бы, кабы не удаль молодецкая.

В николин день — престольный праздник — между нагорной и заречной сторонами заводились кулачные бои. С нагорной стороны шли заводские служители,



а с заречной — мастеровщина. В роковой для Прокопия день бой сразу стал жестоким. Как полагается, начали его ребяташки, их сменила молодежь, а там и мужики не вытерпели. Заречных стали теснить за Нейву. Особенно отличился у нагорных молодой брат приказчика, приехавший из Верхнего Тагила. С одного удара валил мастеровых.

— Знай наших! — орали нагорные.

— Гирька у него в руке зажата, — крикнул один парень, с трудом поднимаясь на ноги. — Не по совести бьет!

Прокопий стоял у своей избы и не ввязывался в рукопашную, но, когда услышал, что бой ведется нечестно, не выдержал.

Вот я ему покажу, как гирькой драться!

Скинул полушубок, чтобы легче было бить, и кинулся в самую гущу свалки. Служители даже не стали загораживать своего вожака, уверенные, что верх будет за ним. Два здоровущих парня сшиблись крепко. Брат приказчика с маху хлестнул Прокопия по голове, и тот почувствовал в руке у него твердый предмет, в глазах потемнело, но на ногах устоял, потому что на голове был теплый башкирский малахай.

— Теперь держись, паскуда!

И со всей силой ударил противника в грудь. Тот охнул и упал навзничь. Из рта показалась кровь.

— Бей их, ребята! — крикнул Прокопий, входя в азарт.

Заречные опрокинули нагорных и погнали их обратно. Брата приказчика, полуживого, утащили в господский дом и послали за лекарем. Еле отводились.

— Ну, — сказал сыну Пимен, — наделал ты греха.

— А ежели он не по правде бился, — отвечал Прокопий.

— Как бы нам с тобой твою правду вицами по спине не прописали.

Однако пока что ничего им не сделали.

Вскоре женили Прокопия. Невеста его — Ульяна, скромная, работающая девушка, пришла на завод из-под Тагила. Родных у нее никого не было. Прожили молодые всего два месяца, и тут пришел их счастьем конец.

Прокопию было объявлено, что его сдают в рекруты в зачет. Так поступали с теми, кто неугоден был



заводскому начальству. Долго отбивался Прокопий, пока не избили его до бесчувствия. Связанного, бросили в телегу. По бокам сели два солдата с обнаженными тесаками.

Обезумев от горя, провожали рекрута мать и жена. Маленький Кимша, когда телега стала заворачивать на мост, швырнул в солдат камнем. Пимена в то время не оказалось дома: он ездил в Невьянск. Узнав, что большака взяли в рекруты, он сразу понял, чьих рук это дело.

Поехал в Екатеринбург и расспросил, где казарма. Однако в казарму его не допустили. Увидал он сына только через решетку в окне и заплакал.

— Не кручинься, тятенька! — крикнул ему Прокопий. — Не пропаду. Берегите Ульяну!

А новая беда уже стояла на пороге. Пока ездил Пимен, к Бобылевым явился заводской пристав и прочитал «публику», в коей объявлялось, что Ульяна Бобылева должна быть возвращена господину Демидову в прежнее ее местожительство, в Черноисточинский завод, дабы понести там положенное по закону наказание за укрывательство в Верх-Нейвинском заводе.

— Люди добрые! Да что же со мной будет? — зарыдала Ульяна. — Пожалейте, ведь в тягости я.

— Собирай пожитки и айда со мной в контору, — приказал пристав.

— Матушка! Родимая! Не отдавай ты меня!

— Голубушка ты моя! Что я могу сделать?

— Долго я ждать буду? — закричал пристав.

Ульяну увели в контору, и с той поры не стало о ней никакого слуху.

Снег еще лежал в лесах сугробами, белел в оврагах и по склонам, но говорливые ручьи уже непрерывно текли в пруд и в Нейву со всех сторон. Пруд побурел, вдоль берегов засинели широкие полыньи. Ожидался большой паводок. Дни стояли серые, влажные, с утра молочный туман окутывал глухо ворчавшие у подножия плотины фабрики и приткнувшиеся огородами к реке избы мастеровых. Точно взбежав по скату Сухой горы, выше всех и красивее всех поднялись здания заводской конторы и господского дома,



где квартировал приказчик — управитель завода. За конторой чернели амбары, провиантские магазейны, конюшни, за ними — негустая роща белоногих берез, где весь день галдели галочки стаи.

Вдоль плотины тянулись одна за другой подводы: в черемуховых коробах везли уголь из таватуйских куреней, руду с Высокогорского и Староборского рудников. Возчики ругались, на чем свет колотя лошадей, — подвоз припасов по размытым дорогам тяжело доставался и скотине, и людям.

Круглые сутки не смолкают фабрики. Узкие окна под самой крышей. В помещении было бы вовсе темно, если бы не огневая работа: из зева горнов вырывается буйное пламя, светятся раскаленные полосы железа, ослепительно белой струей льется чугун и пунцовыми слитками застывает в изложницах. С шести часов утра начинается заводское действо. Шумит вода в водосливных колесах, огненное зарево вспыхивает над доменными печами. Угольная чернота уже успела покрыть заводские строения, и теперь под апрельским солнцем они высятся хмуро и грозно, грохотом боевых молотов, стуком плющильных машин напоминая о тягостях огневой работы.

Кимша Бобылев, худенький, остролицый паренек, тайком от взрослых забрался в глубокую вымоину возле Княжого моста и налаживал водосливное колесо. Из камней и глины он соорудил плотинку, сделал в ней прорез, поставил желобок — точь-в-точь как на заводской плотине, — и теперь мутная, бойкая вешняя вода льется на плиты деревянного колеса, а оно вертится, вертится...

У Кимши озябли руки, ноги вымокли в студеной снеговой воде, но он ничего не замечает и весь поглощен своим делом. Вода то тут, то там промывает плотину.

— Кимша! Что ты тут ладишь? — слышится сверху.

Это Прошка Чулошников — ровесник и приятель Кимши. Изба Чулошниковых тут же, за Княжим мостом, напротив избы Бобылевых. Прошка прыгает вниз и прямо-таки замирает от удивления и восторга, видя, как ловко работает колесо.



— Это ты сделал? Как ты сумел?

— П-плотину промывает,— едва шевелит посиневшими губами Кимша.

— Покажи где... Я сейчас!

Прошка храбро лезет в воду, но тут Кимша слышит знакомый голос и, выглянув из промоины, видит: по мосту идут двое. Впереди, животом вперед, важно шествует плотинный мастер Семен Яргин. В руках у него правило — палка для обмера, борода торчком, глаза маленькие, впалые. Заводские говорят о нем: зверюга. Позади, прихрамывая, идет Кимшин дед Карп Бобылев.

— Кресло в конторе починить надо,— сердито бубнит плотинный.— А мне новое изготовишь... с подлокотниками.

Он замечает беловолосую Кимшину голову.

— Вы тут пошто торчите, угланы?

— Вот я вас! Ступайте домой! — кричит дедушка.

Кимша нехотя снимает колесо и вместе с Прошкой идет восвояси.

— К колесу-то валок надо приладить,— говорит он, будто думая вслух,— а на валок спицы наткнуть...

Невесело детство заводского парнишки: едва на ноги встанет, а на него уже смотрят как на работника. Он и за дровами, и за сеном съезди, и во дворе прибри. Станет постарше — работы прибавится. Если отец рудобой или рудовоз, значит, и сын по той же дорожке пойдет. Чуть свет поднимается семья: пора ехать или идти на работу. Завернет батька шестилетнего работника в тулуп и везет с собой на рудник. У самого от жалости сердце щемит, а послушаться боится: начальство велит малолеткам собирать камешки руды.

Кимша Бобылев, Прошка Чулошников и Нестерко Пузанов были однолетками, да и жили неподалеку друг от друга. Оттого и дружили, а если и дрались, так на другой же день мирились. Чаще всего ссорились Кимша с Прошкой. Нестерко отличался рассудительным и скромным нравом. Прошка обычно задирал первый. Идет, скажем, по улице знакомый паренек, а Прошка начинает дразнить, не из злости, а просто так, для веселья:



Федя-дедя съел медведя,  
Продав душу за лягушу...

А Федя-то на фабрике уже второй год работает, в один миг схватит Прошку и оттаскает за вихры.

Кимшу дедушка Карп стал приучать к столярному делу, водил с собой на меховую фабрику и в столярную мастерскую, давал разные мелкие поделки, учил обращаться с инструментом.

— Вот это фуганок, это стамеска, это долото... У каждого свое назначение, так же и у дерева. Одно идет на топорище, другое — на дугу. Привыкай к мастерству... По сторонам не гляди. Опять неровно строишь! Это что у тебя? Как заяц обглодал... Всякое дело до конца доводить надо и чтобы в аккурат...

Кимше все хочется делать самому. Он доволен, что умеет без ошибки различать по древесине, какое дерево — сосна или кедр, липа или береза. Знает, как протравливать и полировать.

Когда дед стал мастерить кресло по заказу плотинного, Кимша попросил:

— Дай, я подлокотники сделаю.

— Ну, где тебе, ежова голова, только дерево испортишь.

— Дозволь, дедушка! Вот увидишь — сделаю как надо.

Уговорил-таки деда и принялся за работу: выверил размеры, подобрал дерево, встал за токарный станок.

— Ты гляди там! Полегче, пальцы не повреди, — беспокоился дед, а у самого глаза теплеют: рад за внука. Выйдет толковый работник, и ведь не даром говорится: кому талант, тому и счастье. Сперва подмастерьем станет, потом мастером, а там, гляди, уставщиком либо даже плотинным...

— Вот, дедушка, гляди!

Посмотрел дед и принял работу. Хвалить не стал, чтобы не зазнался парнишка, а про себя отметил: изрядно, впору заправскому работнику.

Плотинный Яргин тоже остался доволен выполнением заказа.

Дед и внук шли из меховой фабрики гордые. Солнышко светило уже по-летнему. Отзвенели в лесах птичьи голоса. Буйно зеленели травы.

— Время косы точить, — сказал дед.



Страдовать ехали с петрова дня всем заводом. Заводские работы останавливали на полтора месяца.

Покосы Бобылевых, Пузановых и Чулошниковых были неподалеку один от другого, почти на берегу Таватуя.

— Хорошо бы выкупаться,— скажет кто-нибудь из ребят, изнывая от жары.

— Хорошо бы, да как убежишь?

То и дело слышится:

— Кимша! Греби проворней, траву не оставляй!

— Проща! Где ты, пострел? Тащи сюда вилы!

— Нестерко! Садись на коня: копнить будем!

В Невьянске и Верх-Исетске были заводские школы. Обучали в них «чертежному письму, арифметике, рисованию и другим познаниям».

В невянскую школу попали три друга.

Случилось это так: сошлись в праздничный день Пимен Бобылев, Андрей Чулошников, Борис Пузанов и разговорились о домашних делах. Зашла речь о детях.

— Беда мне с моим сорванцом,— говорил Чулошников,— секу его едва не каждый день, а толку нет.

— У меня,— сказал Пузанов,— пока не вольничает, да боюсь: до настоящего дела не дойдет.

— Учить их надо,— заключил Пимен.

— Верное слово,— согласились соседи.— Как только это сделать? Учат-то ведь служительских детей, а мы — мастеровые.

— Попытка не пытка,— ответил Пимен.

Так решилась участь трех приятелей.

После успеньева дня повезли родители своих сыновей в Невьянск, или Старый завод, как его называли в отличие от нового — Верх-Нейвинского.

Кимшу и Прощку поставили на квартиру к Лазарю Чулошникову. Нестерка взял к себе старый знакомый Бориса Пузанова кузнец Егор Поляков.

Удивил ребят Невьянск. В первую же ночь яркий свет озарил завод. Кимша и Проща без ума выскочили из дому.

— Пожар!

Светилось в расположении фабрик, сразу у самого горла плотины. Когда ребята подбежали ближе, они



увидели, что необыкновенное пламя извергалось из трубостава домны. Оно было громадным и ярким и освещало весь завод.

— Вот оказия! — сказал Прошка. — Ну и печь!

Вдоволь насмотревшись, мальчики вернулись на квартиру. Вторым дивом оказалась плотинная башня, поставленная наклонно. Была она до середины четырехгранная, с середины восьмигранная, на три яруса и с заострившимся кверху шпилем. На башне били куранты.

— Прошка, ведь это часы отбивают. Поглядим, как они устроены, — предложил Кимша приятелям и уже начал было взбираться по витой чугунной лестнице, но караульный, ходивший наверху, заметил его и прогнал.

Школа — каменное одноэтажное строение с толстыми стенами, с узкими окнами, бывший заводской острог.

Идет Кимша с сумкой через плечо. В сумке тетради, перья, чернильница медная и ломоть хлеба, круто посыпанный солью, — на завтрак.

Школьный класс помещался в просторной комнате. На стенах висели таблицы с литерами, складами и цифрами. Посередине класса стояли стол учителя и классная доска, выкрашенная в черный цвет. В углу, в большом шкафу, находились книги, глобус, чертежные принадлежности.

Учитель, Максим Трофимович, жил тут же, при школе, вместе со стариком сторожем Кузьмой Шмелевым, отставным солдатом. Ровно в девять утра Кузьма звонким колокольцем подавал сигнал к началу занятий. Ученики быстро рассаживались по скамьям. Те, что постарше, садились на задние скамьи, младшие занимали передние.

Кимша сел на свое место рядом с Андрейкой Сивковым. Сегодня должны быть три урока: письмо, счет и черчение. Особенно Кимша любил науки математические.

— Встать! — раздается команда.

В дверях появляется учитель Максим Трофимович. Это пожилой человек с грубым солдатским лицом, с седой щетиной на подбородке. И одет учитель бед-



но: шея окутана старым шелковым платком, сюртук из дешевого сукна с заплатами на локтях. Зимой он носит неизменную фризовую шинель. Он худ, высок и до того сутул, что напоминает вопросительный знак.

Максим Трофимович оглядывает класс суровым взглядом.

— На молитву! Дежурный!

Дежурный выходит вперед и с запинкой начинает бормотать утреннюю молитву.

Максим Трофимович недоволен:

— Худо, худо! Надо читать так, чтобы от зубов отскакивало, а для сего надлежит и знать назубок. Стало быть, ты плохо знаешь. А отчего плохо — оттого, что нерадив, сиречь лодырь... Встань-ка на часок в угол... А вы садитесь! — обращается он к ученикам.

Кузьма входит с пучком розог и кладет их на стол перед учителем. Урок начинается.

— Первая парта, встать! — командует старший. — Марш к таблицам!

Ученики идут к стене, где развешаны таблицы с литерами.

— Вторая парта, решать задачи!

— Третья парта, писать с прописи!

Кимша сидит на третьей парте. Он вынимает тетрадь и начинает списывать. Швыркая носом, пишет рядом Андрейка. Он так увлечен своим делом, что даже шевелит губами. Задано писать изречение: «В вещах рассматривать нужно причины, а в делах — людей».

«Что это может значить?» — думает Кимша, но спросить учителя не решается.

— Буки аз — ба, веи аз — ва, — тянут нараспев малолетки.

Гул стоит в классе. Время от времени Максим Трофимович прохаживается меж столами, проверяя написанное. Скрипят перья, написал — присыпай песком.

Максим Трофимович преподает все: и словесность, и математику, и географию, и чертежное искусство, и рисование. Дело свое он любит и знает.

Когда-то служил он на Колывано-Воскресенских заводах в Сибири.

Об этой полосе своей жизни он охотно рассказывал ученикам. Особенно часто вспоминал о «механикусе» Ползунове, которого знал лично.



— Иван Иванович был человеком светлого ума и талант имел к изобретениям механическим редкостный. Он построил огнедействующую паровую машину, и такого открытия, чаю, во всем мире нет. Сие было дивное сооружение, к славе отечества нашего предназначенное.

— А сейчас та машина действует? — спросил Кимша и испугался: ладно ли сказал, не осердится ли учитель.

Максим Трофимович помолчал, вынул табакерку, заложил в обе ноздри по доброй понюшке.

— Не действует та преславная машина. Не оценен великий труд механикуса Ползунова. Из сего можно заключить, что новых и полезных дел начинателям не всегда бывает удача... Так-то, мальцы!

Звонок возвещает конец занятий.

— Становись на молитву!

Кимша жил на хлебах у Лазаря Чулошникова, заводского мастера и старого знакомого Бобылевых. Лазарь хорошо знал сундучное дело, и его на заводе посторонней работой не занимали. В задней избе, где помещалась его мастерская, и квартировал Кимша. По вечерам при свете сальной свечи Лазарь Гаврилович обивал жестью очередной сундук, потом наводил колер. Кимша либо готовил уроки, либо читал, либо занимался черчением. Одна книга его особенно заинтересовала. Это было сочинение Михайлы Васильевича Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел». Выпросил ее Кимша у самого Максима Трофимовича. Тот книгу дал со строгим наказом обращаться с ней как можно аккуратнее.

— Сие сочинение великому человеку принадлежит, коего имя в отечестве нашем бессмертно.

Кимша читал Ломоносова благоговейно, однако не без огорчения, так как не все понимал в книге. Больше всего понравилось ему устройство подъемных машин. Он даже попытался нарисовать такую же машину, чем привел в восторг хозяйскую дочь, десятилетнюю Настеньку.

— Ой, как баско!

Кимша даже смутился от такой похвалы.

Лазарь Гаврилович глянул на рисунок и сказал равнодушно:



— Изрядно. Только пустое это дело. Не нашим ртом мышей ловить. Механиком все равно не будешь, Кимша. Учись вот лучше у меня — знатным сундучником станешь. Это дело верное.

— А мне машины строить охота, — отвечал Кимша.

Уже кончался третий год обучения, когда произошел случай, заставивший ребят призадуматься. Андрейка Сивков внезапно перестал ходить в школу. Кимша, полагая, что сосед заболел, пошел его навестить. Сивковы жили недалеко от плотины. Отец Андрейки служил хлебозапасчиком, имел большую семью. Андрейка был самым старшим. Когда Кимша постучал в слуховое окошко, ему не ответили. Кимша постучал другой раз. Заводская женка, шедшая с коромыслом, сказала:

— Не стучи! Выселили их на рудник.

— Как же так выселили?

— Да так, приказчик распорядился. Из хлебобобов в рудничные рабочие разжаловал. Теперь мыкнут горюшка, сердешные.

Кимша был глубоко опечален участью товарища. Вот какая судьба! Вспомнил он, как вязали брата Прокопия по приказу управителя, и еще горше ему стало. Так, значит, и учение для Андрейки кончилось, а как старался-то!

В школе он рассказал об этом ученикам, и все очень жалели Сивковых.

Ребята выросли, вытянулись, забыли детские игры. Разговаривали между собой о заводском устройстве, о будущей работе.

На последнем уроке Максим Трофимович дал своим питомцам напутствие:

— Михайло Васильевич Ломоносов был человек высокого ума и обширнейших знаний. Добился же всего токмо одним прилежанием да любовью к наукам. А ведь был он такой же, как вы, крестьянский сын. Вот и я тоже простой кантонист, а теперь — учитель, значит, не последний человек. И вы, юноши, трудясь на своих господ, памятуйте о пользе государственной. Помните, что и в низком звании может быть человек богат дарованиями, умом велик и добродетелями украшен...



Прощаясь со своими хозяевами, Евдоким поблагодарил их за кров и заботу.

— Кланяйся своим-то,— сказал Лазарь Гаврилович,— когда-то ведь соседями были.

Хозяйка, Ульяна Андреевна, положила Кимше в сумку стопку наливных шанег.

— Поешь дорогой.

Простился Кимша и с Настенькой.

— Прощай, Настенька!

Девочка застыдилась и закрыла лицо рукавом.

По окончании школы Евдокима направили в меховую фабрику, и стал он мастером на все руки: плотником, резчиком, столяром, изучал токарное и слесарное дело. Но заветная мечта изобретать машины не сбывалась.

Приятели его детства — Прохор и Нестер — сделались заправскими мастеровыми. С двенадцати лет работали они в дощатой фабрике, выросли, прокоптились на огневой работе. Трудно было в бойком чернявом парне с щекастым лицом и веселыми карими глазами узнать прежнего «дикошарого» Прошку — озорника и забияку. Нестер вырос стройным белокурый молодцом с уверенными, спокойными движениями. Этот, в отличие от Прошки, был малоразговорчивым. Зато на дело горазд. Никто лучше его не справлялся с тяжелым разгонным молотом.

Евдоким с ними встречался теперь реже. Разная работа — разные мысли, разные хлопоты. Прохор и Нестер прошли более суровую школу, чем Евдоким: они начали с «намазки», что значило — толочь и сыпать уголь на горячие листы... Самая черная работа. В дощатой стоял непрерывный грохот. Рабочие здесь часто теряли слух, оттого и прозвали их на заводе «глухие дощатники». Катали в дощатой железные листы, отсюда и название — дощатая, а иные называли — проклятая.

Но все же молодость брала свое. Жизнь шла своим чередом, и, глотнув после полусуточной смены свежего утреннего воздуха, молодой работник словно оживал. Из-за гор выглядывало малиновое солнце, розовели перья облаков, а вода в пруду еще одета была дымкой тумана. Хотелось верить, что когда-нибудь жизнь будет такой же ясной, как это утро.



В успеньев день, когда заканчивались все луговые и полевые работы, мастеровые праздничали. В этом году праздник был особенно веселым, потому что день выдался погожий, теплый. Молодежь сошлась на лужайке, на берегу Нейвы. Прохор принес с собой балалайку. Девушки в цветастых сарафанах завели хороводную:

Как у нас было во прошлом во году,  
Уродилась сильна ягода в бору.  
Уродилась сильна ягода в бору.  
Заблудилась красна девица в лесу...

Евдоким шел вдоль берега, думая про себя, что вот сейчас он встретит друзей и всем троим будет радостно. Хорошие парни Прохор и Нестер! Подойдя к хороводу, он увидел румяные девичьи лица. Девушки одни вели хоровод, парни кучкой стояли на берегу, поглядывая на них. Евдоким поздоровался.

— А что, девоньки, не примете нас в круг? — спросил Прохор. — Мы вам песню сыграем.

— Примем, девушки?! — раздался чей-то смелый голос.

Парни взялись за руки, и круг увеличился чуть не вдвое. Евдоким взглянул на соседку: это была Настенька. А может, не она, только уж очень похожа на нее! Видимо, и Настенька узнала его, ее рука в руке Евдокима дрогнула, и в черных глазах блеснуло изумление.

— Настенька?

— Я, Евдоким.

— Как же ты сюда попала?

— В гости к дяде приехала.

В это время девушки запели новую хороводную. Евдоким не мог оторвать взгляда от своей соседки: черноглазая, с прямыми черными бровями, она показалась ему настоящей красавицей.

Когда гулянье закончилось, он, Прохор и Настенька пошли вместе.

Нестер сказал, что ему надо зайти к знакомому мастеру договориться о починке молота.

— Как поживает Лазарь Гаврилович?

— Батюшка живет помаленьку. Наградные получил к празднику.

— А ты как?



Настенька подняла на Евдокима свои яркие глаза и ничего не ответила, только усмехнулась.

Спускался золотой осенний вечер. От пруда веяло прохладой. Вот и дом Чулошниковых. Надо расставаться, а так бы хотелось еще постоять, поговорить с невьянской гостьей. Кажись, сутки бы стоял, глядел бы на нее и не нагляделся.

На другой день, встретив Прохора, Евдоким спросил:

- Настенька-то у вас еще?
- Уехала сегодня поутру. А что тебе?
- Да так, ничего.
- Сказывай!

Прохор подмигнул лукавым глазом.

Меховая фабрика хотя и стояла на отлете, позади прочих фабрик, так как не пользовалась водяной силой, но без нее ни один завод не мог обойтись. Здесь изготовляли все потребное для заводского действия.

Меховая оттого и название свое получила, что делались в ней мехи кожаные и деревянные, клинчатые и цилиндрические, а также деревянные части к машинам.

Бревенчатое высокое строение было светлое и просторное. Рабочий шум стоял здесь весь день: ширкали рубанки, шуршали кудрявые стружки, и от их нежной кремовой пены тянуло запахом свежего дерева.

При меховой фабрике находились слесарная и столярная мастерские, и здесь Евдоким был своим человеком. И все-таки настоящего удовлетворения он не испытывал. Хотелось чего-то большего, чем выделка ручек для инструментов, винтов к пилам, втулок к мехам.

Мастер меховой фабрики Денис Крякунов, хлопотливый и добродушный старик, говорил:

— Ты мне, Евдокимушко, вместо сына родного! Никакая работа у тебя из рук не валится. Выручаешь.

— По большому делу тоскую, Никандрыч,— отвечал Евдоким.

После работы, сняв запон, отправился он к Княжому мосту. Вон и родительская изба с высоким коньком, с двором, наглухо крытым, как и у прочих изб.



Первый снежок лег мягким пушистым ковром. Ребятишки выбежали с санками. Навстречу попалась Филимоновна, мать Нестера, широкая рослая старуха с низким, хрипловатым голосом.

— Кимша! — говорит она. — Скажи матери, пускай за медвежьим зубом приходит, добыла я.

Филимоновна лечит весь околоток. Евдоким знает, что медвежий зуб помогает при боли в пояснице, а медвежья желчь — при лихорадке. Он благодарит Филимоновну и переходит улицу. У ворот дома оставлен санный след, и на дороге — угольная чернота, значит, батюшка приехал из куреней.

Вдыхая знакомые запахи сена и навоза, Евдоким поднимается на крыльцо. Из глубины двора доносится фыркание и похрустывание — Гнедко жует овес.

В избе — чистота. Печь побелена, лавки вымыты, на полу лежат половики. Дедушка Карп сидит на голбчике и плетет лапти. Он уже с год как не работает в меховой фабрике и, чтобы не быть в семье лишним ртом, все что-нибудь да мастерит.

— Тебе бы, дедушка, на печи лежать, на дворянской вакансии, а ты все покою не знаешь, — говорит Евдоким, скидывая зипун.

— Небось в могиле успею належаться, — отвечает дед.

Пимен Карпович вылез из-за стола и перекрестился на темный лик Спаса. Сын подошел к отцу, поклонился в пояс:

— Прости, батюшка. Благослови, батюшка.

— Бог простит, бог благословит.

— Тороплюсь в контору. Слух есть, что на другую работу меня ставят.

Карп отозвался:

— Работа не забота, были бы руки, а вот как начальник худой попадет, тогда и небо с овчинку покажется.

— Кто их разберет, начальников-то. Вон у нас смотритель новый — Зиновий Лоцманов с Верх-Исетского — хоть и не шибко лютый, а до того господскую службу правит, что, кажись, больше она ему любя, нежели своя жизнь.

— Душа такая, стало быть, собачья.

Пимен Карпович надел на свои могучие плечи по-



лушубок, насквозь прокопченный в курнях смолевой гарью, и вышел.

Анна Трофимовна ласково сказала сыну:

— Поешь горячих щец, Евдокимушко.

Вынула из печи дымящийся горшок и налила полную деревянную чашку. К столу подошла Марьюшка, сметливая, востроглазая девчонка, — любимица всей семьи.

— Садись за стол, сестренка!

— Нет, я уже поела. А ты принес игрушку?

— Ой, прости, Марьюшка, забыл в меховой. Завтра принесу.

Нехотя доел Евдоким щи и пошел в заднюю избу. Тут у него стояли верстак, токарный станок, стол с инструментами на нем. На стене висело ружье с ля-дункой.

Воспоминания о Невьянске разбередили у Евдоки-ма незаживающую рану: то, о чем он мечтал, учась в школе, так и оставалось неосуществленным. Он раскрыл свою ученическую тетрадь и прочел запись из книги Ломоносова:

«Великое есть дело — достигать во глубину земную разумом, куда рукам и оку досягнуть возбраняет натура; странствовать размышлениями в преисподней, проникать рассуждением сквозь тесные расселины и вечною ночью помраченные вещи и деяния выводить на солнечную ясность».

«А я чего достиг?» — спрашивал себя Евдоким. Он чувствовал в душе своей богатырскую силу, ум его искал решения больших задач, руки тосковали по большой работе. Но жизнь текла по-прежнему тускло. Неужели всегда так и будет?

Снял со стены ружье, вычистил его и пошел в лес. Долго бродил по сосновому бору. Запорошенные снежным пухом, недвижны стояли деревья. От снега в лесу празднично светлело. Торжественная тишина стояла кругом, и это свежее и величавое спокойствие невольно передалось Евдокиму: вернулся домой бод-рый, умиротворенный.

— Батюшка уехал? — спросил он у матери.

— Уехал. Назначили куренным старостой.

День зимнего Николы Верх-Нейвинск праздновал шумно. С утра жарко топились печи в избах, и хозяйки



готовили самое лучшее из того, что удалось запасти с осени, а которые ездили за провизией в Екатеринбург. В этот день в Верх-Нейвинск съезжались гости со всей округи. По улицам расхаживала с песнями молодежь.

Утром Евдоким зашел к Прохору поздравить с праздником и, кстати, попросить дрови для охоты. Отворил дверь — да так и остановился у порога: на голбчике сидела Настенька в алом косоклинном сарафане, в белом платочке, с горящими от мороза щеками. Хозяйка с дочерьми накрывала на стол, а за столом сидели Лазарь Гаврилович и Ульяна Андреевна. Словом, вся невьянская родня.

Евдоким низко поклонился.

— Здорово живете!

— Здравствуй, механик! — весело ответил Лазарь Гаврилович. — С праздником тебя! Садись за стол.

У Евдокима кровь прихлынула к лицу. Он мял в руках шапку. Настенька украдкой поглядывала на него. В это время в избу зашли Прохор и Нестер, и Евдокиму сделалось легче. Приятели сели за один с ним стол, и разговор пошел про заводские работы (про что же больше?).

— Отчего-то у нас в кричной хвостовой молот за- всегда отклонение дает?

— Все дело в пятнике, — ответил Евдоким. — Ежели пятник ладно изготовлен, и молот исправно бьет.

— Вы бы хоть в праздник-то про свои фабрики не говорили, — вмешалась хозяйка. — Кушайте-ка лучше во здравие.

Евдоким так и забыл спросить насчет дрови. Прохор пригласил его на вечерку.

Едва дождался вечера Евдоким. Надел рубаху с вышитым воротом, новый кафтан, купленный ему отцом еще в прошлом году, надеванный только дважды. А волосы, стриженные под горшок, смазал маслом.

У Чулошниковых собрались соседские девушки. Парней оказалось всего трое: Прохор, Евдоким и Нестер. Девушки вначале стеснялись, да и парни тоже не знали, о чем с ними говорить. Один только Прохор, похаживая по горнице, балагурил то с подружками, то с приятелями:

— Какие-то вы сегодня молчаливые, девоньки, да скучные. Не ели, поди? Могу кедровыми орехами угос-



тить, а то спели бы лучше песенку — и вам бы веселей стало, и мы бы послушали.

— Какую же те спеть, братан? — спросила Настенька.

— Спой свою любимую.

Настенька оглянулась на подруг.

— Споем «Голубушку»?

— Что ж, запевай.

И Настенька запела:

Ох, да заприметье-ка да вы, ребята,  
Мою-то ли сизу голубушку...

Евдокиму казалось, что никогда еще не слышал он такого чистого, такого душевного голоса. Девушки подхватили напев, и песня полилась широкой светлой волной. Были в ней и нежность, и печаль, и страстное ожидание счастья. Разрумянилась Настенька и еще больше похорошела. Евдоким встретился с ней взглядом, и вдруг ему подумалось, что для него поет девушка, и горячая радость охватила его. Узнать бы, то ли она чувствует, что и он. Узнать бы!

Копотиха, либо вечерка, не затянулась. Завтра утром надо было идти на работу, потому гости начали собираться восвояси, хоть и хотелось попеть и повеселиться.

Хотелось Евдокиму перекинуться с девушкой хоть словечком наедине, но так и не удалось. До ворот шли они вдвоем с Нестером.

— Вот и погуляли, — вздохнул Евдоким.

— Ась? — откликнулся Нестер, он весь вечер был молчалив и задумчив.

— Тьфу ты! Опять я про дробь забыл спросить.

Они пожали друг другу руки и расстались.

На другой день еще до работы Евдоким забежал к Чулошниковым. Лазарь Гаврилович запрягал коня. Настенька стояла тут же в коротенькой шубке, в пуховом полушалке. Увидав Евдокима, она смутилась. Тот молча поклонился ей и прошел в избу. Пусто было в избе.

— Прохор еще не ушел?

— Нет еще, — ответил Прохор, слезая с полатей.

— Послушай-ка, забыл я вчера спросить, нет ли у тебя накатанной дробы с фунт хотя бы?

— Накатанной нет, а простой могу дать.



Прохор полез в голбчик и через минуту протянул Евдокиму мешочек с дробью. Евдоким торопился, чтобы застать Настеньку, он твердо решил поговорить с ней с глазу на глаз. Он вышел из избы, а Настенька по-прежнему стояла возле крыльца, опершись на перила. В полумраке ее черные глаза казались большими и печальными.

— Настенька,— сказал Евдоким дрогнувшим голосом,— я хочу тебе слово сказать... Выйдем за ворота!

Настенька посмотрела на него удивленно, однако, не говоря ни слова, вышла вместе с ним.

— Настенька! — повторил Евдоким и взял ее за руку.

Девушка отвернула лицо, но руки не отняла. Вдруг слышался скрип шагов. Настенька упорхнула в калитку. В синеве зимнего утра выступила чья-то рослая фигура. Евдоким узнал Нестера. Тот тоже шел к Чулошниковым.

«С чего это он сюда?» — подумал Евдоким.

— Здорово, Нестер!

— Здравствуй! Прохор дома?

— Одевается.

— А я к нему... тоже насчет дрови,— усмехнулся Нестер и отворил калитку.

Через месяц Пимен Карпович и Анна Трофимовна приехали в Невьянск. Остановились у Чулошниковых. Лазарь Гаврилович встретил гостей приветливо.

— Послали из конторы купить долгих гвоздей. Колесо меховое надо чинить. Вот на перепутье к тебе и заглянул.

Лазарь Гаврилович узнал Анну Трофимовну, вылезавшую из кошевой, и сразу смекнул, за какими гвоздями приехали гости.

— Пожалуйста, пожалуйста!

Ульяна Андреевна засуетилась возле печи. Вскоре на столе появились щи, мясо вареное, лапшевник.

— Не обессудьте, гостеньки дорогие!

— Напрасно заботитесь. Мы перед дорогой поели... А где Настенька?

— За кроснами сидит...

Настенька отворила дверь и, увидев Бобылевых, зарделась.



— Мамынька, я пойду половики трясти,— проговорила она, хотя половики были совсем недавно постланы.

— Ну, иди,— согласилась мать.

— Совсем она у вас невестой стала,— заметила Анна Трофимовна.

— Молода еще, умок-от вовсе девичий.

— Что ж, поживет и ума наживет.

Пимен любил во всяком деле ясность, потому сказал напрямик:

— А у меня думка — породниться с тобой, Лазарь Гаврилович... Евдокима-то моего ты знаешь...

— Знаю, знаю. Из десятка не выкинешь. Рука у него на работу легкая... Только с этим делом погодить надо...

Так и уехали верхнейвинские сваты ни с чем. Пимен Карпович ворчал дорогой:

— Только время зря потеряли. Вдругорядь пускай сам едет, коли жениться хочет... Срам один.

А в это время Настенька допытывалась у матери, зачем приезжали Бобылевы.

— Тебя сватать.

— Ой!..

Всю ночь проплакала она, узнав, что отец так-таки и не дал согласия на ее замужество. Лазарь Гаврилович ничего не имел против Бобылевых, но все же хотелось выдать дочь за того, кто побогаче либо на хорошем счету у начальства. Он уж присматривал одного из конторских служащих, сына заводского расходчика, однако Настенька заявила:

— Лучше в скит отдайте.

— Не придуривай! — крикнул отец. — Тебе же добра желаю.

Ульяна Андреевна вступилась за дочь:

— С немилым жить — век-то долог покажется. Если сердце не согрето, так и богатство ни к чему. Сам-то ведь помнишь, не так было у нас.

Лазарь Гаврилович махнул рукой:

— На себя пеняйте.

Так и решилась Настенькина судьба.

Стала Настасья Лазаревна молодой хозяйкой. Све-кровь в ней души не чаяла, но особенно полюбил ее за заботу о себе старый дедушка Карп. Евдоким ног под собой не чуял от счастья. Казалось, этой светлой



жизни не будет конца. За какую бы работу он теперь ни брался, ему хотелось делать все как можно лучше, чище, нарядней. Вдвое сил прибавилось.

А время шло. Большие события происходили в мире.

К голосу России прислушивалась Европа, удивляясь доблести русских воинов.

Далеко за рубежами родной земли, в знойной Италии, сражалась русская армия под началом непобедимого Суворова. В ее рядах воевал и солдат Прокопий Бобылев...

Пимен Карпович получил от конторы важное назначение — плыть с железным караваном до самой Твери. Уж на что был крепок сердцем Пимен Бобылев, а тут внезапно заробел. Поклонился в ноги родителю, попросил благословения.

— Может, не вернусь: путь не ближний, в дороге всякое бывает.

— А ты не божи,— строго заметил Карп.— Смерть может застать не только в дороге, а и на постели.

Уехал Пимен Карпович не на месяц, не на два, на целые два года. Случилось так, что в Твери железо долго продать не удавалось. Наконец с разрешения конторы Пимен продал его под расписку одному купцу. Пришел срок уплаты, Пимен явился к купцу за расчетом. Купец встретил его хмуро:

— О какой плате может быть речь?

— Как же так, Ерофей Петрович? Ведь твоей рукой писано...

— Моей ли? Документ-то ведь недействителен... Не засвидетельствован... Где печать-то? — Купец нагло ухмылялся.— Так-то, друг любезный!

У Пимена руки и ноги задрожали от такого ответа.

— Побойся бога, Ерофей Петрович! Есть ли у тебя совесть?

— Ты еще меня совестить вздумал! Проваливай подобру-поздорову. Вот позову молодцов — накладывают по шее...

С тем и побрел Пимен Карпович с купеческого двора. Бумага в самом деле оказалась недействительной. В конторе его же и завинили.

— Стало быть, вы с купцом заединщики в этом деле.



Не глядя на зимнюю стужу, сняли с него добрый овчинный тулуп, надели ножные кандалы и велели отрабатывать долг, а сумма оказалась немалая — четыреста шестьдесят рублей. Сколько ни писал Пимен Карпович слезниц с просьбой, чтобы хоть в родных местах позволили ему отработать долг, ничего не вышло.

Когда весть об этом докатилась до Бобылевых, вся семья закручинилась. Особенно опечалился дедушка Карп.

— Сроду бы не подумал, что такая напасть случиться может.

Он не обвинял сына.

— Кто живет без обмана, тот и другим верит, а люди-то, вишь ты, не одинаковы.

Анна Трофимовна тихо плакала, стараясь не показывать своего горя семейным. Меж тем новая беда уже стояла на пороге: скончался дедушка Карп. Незадолго до смерти он говорил сам с собой:

— Из горной березы любая поделка долго живет, а из болотной сделай корыто — через год дыроватое будет. Так и люди. Я-то, видно, как покойный родитель, сразу паду... с комля... Пожил, слава богу...

Уснул старый плотник и не проснулся больше.

Легко вошла в семью Бобылевых Настасья. Никакой работы не чуралась: и по огороду, и за скотиной, и по дому — мыть да скоблить — чистоту наводить. Скупая на похвалы, Анна Трофимовна другой раз скажет:

— Ступай, отдохни, Марьюшка доделает.

Марьюшка смотрела на Настасью с завистью и уважением, как на старшую сестру. В сияющих глазах своей снохи она видела негаснувший огонек счастья. Ту же перемену замечала она и в брате: Евдоким едва только переступал порог, как бы ни устал после работы, сразу становился весел.

Друзья теперь навещали его редко. У них у самих хлопот было немало. Вслед за Евдокимом и Прохор отгулял свадьбу. Жена, не в пример ему, оказалась степенная, молчаливая женщина. Прохор же остался, каким был до женитьбы. Как всегда, любил он подшутить и над собой и над другими.



— Легкий ты человек, Проща,— говорил ему Евдоким.— Оттого и с тобой легко.

— Нам тужить — на белом свете не жить.

На лице его, покрытом угольной пылью, ослепительно сверкали в улыбке крепкие белые зубы.

Даже тяжелая работа в дощатой не могла сломить веселый Прошкин характер.

Редко, разве по большим праздникам, приводил он к Бобылевым Нестера. Тот обычно сидел молча и поглядывал на Настасью. Она не раз ловила на себе его взгляд и всем своим женским существом понимала, что этот человек любит ее большой любовью, ведь и сама она горячо любила Евдокима. Ни слова не говорила она об этом мужу.

Нестер же после каждого посещения дома Бобылевых становился еще более молчалив. С новой силой поднималось в нем чувство любви к жене своего друга, и не раз говорил он про себя: «Ради Евдокима на плети готов, а ради Настасьи пошел бы на самую лютую муку, хотя бы и на смерть!»

Старая Филимоновна видела, что с сыном творится что-то неладное. Она, по-своему, думала, что это от одинокой жизни. Женится — мысли о семье пойдут, а добрая жена счастье в дом принесет, и Филимоновна расхваливала заводских невест.

— Не всем женатыми быть, матушка,— сдержанно отвечал Нестер.

Филимоновна была женщина решительная и настойчивая.

— Стара ведь уж я стала. Внуков охота покачать в зыбке. Все твои дружки да ровня переженились. Нешто это порядок — холостому быть. Али ты обсевок в поле?

Нестер мрачно глянул на мать и таким железным голосом, какого она еще у него не слыхивала, молвил:

— Чтоб больше меж нами об этом разговору не было.

«Ну и дитятко уродила,— вздохнула Филимоновна.— Муж-покойник слова поперек не говаривал, все по пути, а этот в кого...»

За работой время бежало незаметно. Весело стучали топоры, раздавались бойкие удары молотка. Евдоким вытачивал на токарном станке деревянный винт.



Мастеровые заняты были ремонтом вододействующей машины.

Крякунов ходил по меховой, похваливал:

— Ладно, работнички! Хорошо, милые! Постарайтесь — дело спешное.

— Не бойся, Никандрыч, не подведем.

Мастеровых своих Крякунов не обижал, не то что плотинный Яргин. У того без матерка ни один разговор не обходился, а деревянное правило так и ходило в руке.

Настало время шабашить. Вышли работники из фабрики, уселись на бревна, вынули по краюхе хлеба да по луковке, туески с квасом пооткрывали. Не успели поужинать, как кто-то крикнул:

— Никак начальство идет!

Все оглянулись на другой берег. От гвоздильной фабрики по мосткам через речку шли плотинный Яргин и еще какой-то незнакомый господского обличья человек. Все разом бросили еду и взялись за работу:

Плотинный зашел в фабрику и объявил:

— Это наш новый управитель — господин Левитский.

Мастеровые снимали шляпы, низко кланяясь и думая про себя: каков-то будет новый начальник?

Левитский был мужчина с жирным бритым лицом, с брюшком, выпиравшим из-под бархатного камзола.

— Вот это наша меховая фабрика, ваше степенство, — говорил Яргин.

— Так-так! Любопытно посмотреть ваши изделия.

Но ничего любопытного в меховой фабрике не нашлось. Тогда Яргин, чтобы чем-нибудь похвастать, указал на Евдокима:

— А вот этот у нас, ваша милость, грамоте учен и столярный мастер отменный. Он и по дереву и по металлу резчик, а также модели может изготавливать по планам и мыслям.

Приказчик сразу оживился:

— Ложе ружейное можешь сделать?

— Могу и ружье.

— Хорошо, очень хорошо! Я сегодня же пришлю.

В тот же день принесли Евдокиму починить фузейку и велели сделать ложе с прикладом. С этого дня началась для меховой фабрики настоящая страда. Новый приказчик завалил заказами. Крякунов с мехов-



щиком Агаповым получили урок: сделать тридцать рамок для картин в господском доме. Евдокиму под начал перевели двух слесарей. В меховой открылся настоящий ружейный передел. Вододействующая машина не ремонтировалась.

Плотинный, узнав об этом, пришел в ярость:

— Чтобы работа была кончена в срок!

— Так как же, ваша милость, ведь и так без дела не стоим! Только успевай поворачиваться. Времени не хватает.

— Мне до этого дела нет. Не изготовите машину в срок — шкуру спущу.

Приуныли мастеровые. Как только ушел Яргин, стали ворчать:

— Хоть бы задельную плату положили. Ты ему, Никандрыч, напomini, приказчику-то. С чего это мы обязаны двойную работу робить?

— Да ведь сам видит. Человек, сказывают, образованный.

— Он, образованный-то, еще хуже. Старый-то приказчик сам из молотовых мастеров вышел, а этот, сразу видать, — белоручка.

Вскоре Левитский явился в меховую и сразу же к Евдокиму:

— Был я недавно в Невьянском заводе и похвалился там, что у нас мастера лучше невянских. Поверенный тамошний попросил сделать ему пару пистолетов.

Хоть и нелегко было выполнить новый заказ, Евдоким постарался. Когда приказчик пришел за пистолетами, он долго их вертел в руках.

— Искусная работа! И какой яркий глянец! Это ты отполировал?

— Я, ваша милость.

— Молодец! Я даже в Петербурге таких изделий не видел.

Когда приказчик ушел, мастеровые накинудись на Евдокима:

— Что ж ты молчал о плате? Из спасибо шубы не сошьешь. Приказчик приятелей своих ублаготворяет, а мы должны из сил выбиваться...

Особенно шумели слесари, которых перевели в меховую.

Крякунов пробовал было заикнуться насчет за-



дельной платы, но Левитский сказал: «Работайте», — и велел сделать большую раму для собственного портрета да шкаф со стеклами для екатеринбургского исправника. Заказы сыпались один за другим.

В другое время Евдоким, может быть, покорно исполнял бы эти непредвиденные уроки: работа сама по себе его завлекала, а тут еще приходилось испытывать умение в новом деле, но на этот раз он понимал, что Левитский пользуется трудами мастеровых меховой фабрики только в своих целях. Хоть и подначальное дело, а все же непорядок: господское добро зря переводится, машины заводские без ремонта стоят.

— Из-за вас, щепоеды, попали мы в ружейный передел, — ворчали слесари. — Жаловаться надо в главную контору.

— А не отопретесь от своих слов? — спросил Евдоким.

— Что ты! Что ты! Все разом руки приложим!

Евдоким тут же сел писать жалобу в Верх-Исетск главному управляющему, где в подробностях изложил историю ружейного передела.

В главной конторе всполошились: новое производство наносило прямой ущерб интересам заводладельца. Расследовать ружейное дело приехал недавно назначенный второй главному управляющий приказчик Григорий Зотов.

Как только у господского дома остановились запряженные парой вороных легкие дрожки, уже по всем фабрикам стало известно, что прикатило большое начальство.

Зотов вместе с Левитским тотчас же отправился в меховую. Мастеровые с покорными лицами и с трепетом в душе ждали, что-то будет: недобрая слава ходила о Григории Зотове.

Евдоким стоял у своего верстака спокойный и твердый: ни одного слова неправды не написал он в своей жалобе.

Зотов сразу же обратил внимание на железный прибор, сиявший синеватым глянцем.

— Отличная полировка, — похвалил главный приказчик. — Чья работа?

— Моя, — ответил Евдоким.

— Этот и есть Бобылев, — вставил Левитский. Он выглядел несколько растерянным.



Зотов смерил Евдокима с головы до ног колючим взглядом.

— Ты ябеду писал?

— Это не ябеда, а жалоба, ваша милость.

— Смотри! — погрозил Зотов. — Разберемся.

В тот же день мастеровых потянули к ответу. Как и предполагал Евдоким, товарищи его струхнули. Первыми отказались от своих показаний оба слесаря, только Крякунов не испугался:

— Я старый человек, я от своих слов не отступлюсь.

Евдокиму устроили очную ставку с Левитским. На очной ставке он еще припомнил несколько случаев незаконной выделки пистолетов и ружей. Пришлось Левитскому писать объяснение на десяти листах. Как он ни изворачивался, а ружейный передел все же закрыл.

Зотов уехал. Он увез с собой подарки: ружье стоимостью в тридцать рублей и камышовую трость с серебряным набалдашником.

История эта сделала Евдокима известным по всем Верх-Исетским горным заводам. А в меховой едва не дошло до драки.

— Шкуры вы оба и последние трусы! — сказал Евдоким слесарям. — Громче всех глотки драли, а как до ответа дошло, так и в кусты.

— Неладно, ох, неладно сделали, — упрекал Крякунов. — Надо было всем заодно стоять, теперь вот рылато и воротите... Совестно!

Домашние, узнав о происшествии, встревожились за Евдокима.

— Стерпеть бы тебе, — говорила мать. — Как бы приказчик не припомнил обиды...

— Лучше уж пострадать, чем неправду терпеть, — отвечал Евдоким, хотя и знал, что Левитский может с ним сделать все, что угодно.

— Только бы мы с тобой дружно жили, — шептала Настасья, обнимая мужа, — остальное — все нипочем, все беды переживем... Знаешь присловье: два уголька жарче горят. Это про нас.

Строилась новая дощатая фабрика. Евдокиму приходилось бывать в ней чуть не ежедневно. После истории с ружейным переделом за ним упрочилась слава



настоящего умельца-механика. Скрепя сердце Левитский поручал ему ремонт и изготовление заводских машин. Несколько лет, проведенных на заводской работе, много дали Евдокиму: теперь он уже не сочинял неосуществимых планов, опирался на свой опыт и знание заводского действия.

Новая дощатая была большим зданием, сложенным из бутового камня. В ней поставили плющильную, раскатную и резальную машины. Провели водоспуски. Нагревательная печь разинула широкую пасть. Поднялись на черенях тяжелые гладильные и разгонные молоты. Все было готово к действию. В новую фабрику перевели лучших мастеров и подмастерьев, в том числе и Прохора с Нестером.

Евдоким особенно интересовался устройством плющильной машины. Листовое железо на этой машине плющилось при помощи двух полированных валков, помещенных в чугунном станке. Нижний вал, приводившийся в движение наливным колесом, снабжен был шестерней, заставлявшей вращаться верхний вал в противоположную сторону. Железный лист проталкивался в отверстие меж валами и тем самым «приводился в усовершенствование и настоящую меру».

Как-то уставщик новой фабрики Терентий Зубков сказал Евдокиму:

— Научиться бы нам катать листы в два раза длиннее — гораздо добро было бы.

— Что ж, разве хитрое это дело?

— Хитрость-то в машине. Вот бы так приспособить, чтобы долгие листы катать, большое бы спасибо сказали. Меньше швов — прочнее кровля... Важная в листовом железе потребность.

Задумался Евдоким: а что, ежели попытаться изготовить такую машину?

— Взялся бы я, Терентий Кузьмич, коли начальство дозволит.

— Берись, берись, — обрадовался Зубков. — Я упрошу и плотинного и приказчика.

Левитский заколебался: дело было связано с риском, затратами, а потом решил: пускай изложит свой «прожект» и план начертит. Пошлем в Верх-Исетск. Что главная контора скажет, то и будет.

Стал Евдоким изучать работу машины, ее составные части: муфту, подшипники, валки. Вначале думал,



что все зависит от нагрева. Упросил сделать опыт — подольше держать листы в печи. Получилась одна неприятность: несколько листов оказались пережженными.

Домой Евдоким вернулся расстроенный.

— Что с тобой? Заболел разве? — спрашивала Настасья.

— Заболел... дощатой машиной.

— Как это так?

— Над изобретением стараюсь. Приспособить хочу так, чтобы можно было долгие листы катать.

На другой день он упросил Зубкова разрешить ему еще один опыт. Предполагая, что все зависит от нажимного механизма, он решил заставить лист пробегать через все более утончающееся отверстие между валами. Однако и на этот раз ничего не вышло: лист застрял.

— Ну тебя, — сказал Терентий Кузьмич. — С твоими выдумками еще плетей отведаешь.

— Надо валки еще сделать, — подумал Евдоким вслух. — Только придется тогда новую машину строить.

Это решение укрепилось в нем, когда он стал следить за работой колеса. Напор воды в Верх-Нейвинском пруду был настолько велик, что если открывали запор во все окно, сразу отлетал палец от вала.

«Надо заставить и колесо вдвое сильнее работать», — решил Евдоким. В тот же день он начал чертить план новой машины и колеса со всеми расчетами. Через неделю он отнес план в контору. Там немедленно переслали его в Верх-Исетск. В главной конторе заинтересовались проектом. Самому же Евдокиму и пришлось строить свою машину. За это время он похудел и побледнел.

— Старайся, старайся, — шутил Прохор. — Отблагодарит тебя Левитский лозанами.

— Я не для него стараюсь — для дела, — отвечал Евдоким.

Все-таки он испытывал некоторое беспокойство: а что если не выйдет и на этот раз? Нет, должно выйти, расчеты правильны.

В день пуска новой машины он места себе не находил. На прием пришел Левитский с Яргиным. Мастера окружили машину. Все уже было готово. Зубков перекрестился и скомандовал пускать воду. Подмастерье



клещами подхватил из печи и сунул раскаленный кусок железа меж валков. Маховое колесо сделало оборот такой силы, что фабрика содрогнулась. Затаив дыхание, все следили за действием машины.

— Слава богу! — перекрестился Зубков.

Лист выскочил длиной вдвое больше против прежнего. Евдоким переживал счастливейшие в своей жизни минуты. Товарищи поздравляли его. Левитский, забыв об истории с ружейным переделом, похвалил:

— Хорошая работа. Теперь надо ей полный ход дать.

Приехал главноуправляющий Заверняев, тоже похвалил машину и сказал:

— Выработку долгих листов беспрерывно усильте.

Доложили в Петербург. С первым же весенним караваном длинномерное кровельное железо отправлено было в столицу. Спрос на него превзошел всякие ожидания, а в Верх-Нейвинске по случаю Евдокимова изобретения учинилось «шумство».

Лето 1802 года было переменным: то стояли ведренные дни, то поливали дожди. При такой погоде надо вовремя и скосить, и сгрести, и в копны сметать, и стога поставить. Не сделаешь в нужное время — сено стноишь, а зима — длинна.

В назначенный срок фабрики Верх-Нейвинского завода должны были остановиться, но этого не случилось. Памятуя приказ главноуправляющего усилить выработку листового железа, Левитский решил изменить существовавший на заводе порядок. Уставщикам было приказано и после петрова дня давать уроки, как обычно, добиваясь «отменного усердия в их исполнении».

Сначала мастеровые не роптали. Стояло ненастье, и на покосах нечего было делать. Но когда наступили погожие дни, на фабриках «зачали поговаривать». Пока работали, разговорами заниматься было некогда, а как приходило время шабащить, тут уж не удержишь язык за зубами: кто вполголоса, а кто громко скажет, что думает. Думка же у всех была одна: как бы поскорее на луга за Нейву, за Таватуй, на зеленые лесные поляны.

— По всем заводам один порядок, только у нас поперек пошли...



— Кто знает, сколько дней работать заставят, той порой и травы перестоят...

— Самое бы время сейчас на покосе быть, у меня и горбуши наточены...

— Кому охота жариться у горнов в такое время? Его бы, толстомясого, поставить на наше место,— говорили кто посмелее насчет приказчика,— сбавил бы жиру-то!

Уставщики ничего не могли поделать, чтобы прекратить недовольство. Работать начали все хуже и хуже. Без угроз да без битья никого нельзя было заставить отменно выполнять уроки.

Больше всего шуму было в дощатых фабриках. Дощатников винили мастеровые других фабрик.

— Из-за вашего листового железа и нам приходится страдать.

Все готовились ехать на покосы, а тут сиди и жди у моря погоды, когда соизволит приказчик отменить свое решение. Отменять же решение начальство не собиралось. Левитский хотел угодить главной конторе.

В это время в новой дощатой фабрике неожиданно вышла из строя раскатная машина.

Зубков вызвал из меховой Евдокима. Тот пришел сумрачный.

В дощатой Евдокима встретили злые взгляды мастеров и подмастерьев.

— Механик пришел, чтоб ему провалиться с его механикой!

— Сломать бы ему шею вместе с раскатной машиной!

Даже Прохор и Нестер отвернулись, когда он вошел, будто не заметили старого приятеля. Евдоким рассердился. Что он сделал плохого? И мог ли он предвидеть, что его изобретение послужит во вред?

Тогда-то и сорвались у него с языка слова, которые всем пришлись по душе:

— Машину я исправлю, а работать на ней или не работать — ваша воля.

Слова эти упали, как искра в бочку с порохом.

— Верно, Евдоким! — крикнул Прохор. — Останавливай, ребята, молот!

Мастер было заартачился, но его не послушали. Мастеровые побросали клещи и ломки и шумной толпой повалили к выходу.



Уставщик Зубков с трясущейся белой бородой то упрашивал, то грозил. Двое его племянников, братья Кропотухины, работавшие на разгонном молоте, тоже бросили работу.

— Ты, дядя, доложи приказчику, что терпеть нам больше нельзя,— говорили они Зубкову.— Ему за нашу работу награда будет, а у нас коровы да лошади без сена останутся.

Зубков едва не плакал:

— Сняли вы с меня голову, разбойники!

Узнав, что первая дощатая перестала работать по переделу листового железа, и другая дощатая остановила работу, мастеровые стали расходиться по домам, умывая руки и лицо водой из сливных каналов и посмеиваясь. Весть об этом облетела и остальные фабрики. Они пока еще работали. Между тем в конторе начался переполох. Левитский был человек нерешительный. Как все люди такого склада, он предпочитал выжидать, чем все кончится, колебался и медлил.

— Надо выловить зачинщиков,— советовал Яргин.

Однако сделать это было нелегко. Даже уставщик Зубков не захотел назвать главарей. Но когда Левитский узнал, что в дощатую заходил Бобылев, он обрадовался:

— Это он и подговаривал бросить работу! Надо его примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Взять его под караул!

На следующий день, в воскресенье, Прохор Чулошников и Тимофей Кропотухин шли по плотине, толкуя о том, поддержат ли дощатников мастеровые остальных фабрик.

В это время навстречу им попался Евдоким. Рядом с ним шел заводской служитель Степан Климов, по прозвищу Ворона, а сзади — утиравшая слезы Настасья.

Прохор сразу сообразил, в чем дело.

— За вчерашнее тебя взяли, Евдоким?

Тот молча кивнул головой.

Прохор загородил дорогу:

— Этого мы так не оставим.

— Убирайся, Чулошников! — крикнул служитель.

— Молчи, Ворона, пока крылья не отшибли... Не выдадим Евдокима!



Подошли еще трое из дощатой фабрики. Поднялся шум:

— За что взяли человека? Пускай всех нас берут, коли так!

Тимофей Кропотухин сурово сказал конвоиру:

— Отпусти Бобылева!

Конечно, если бы тут был один Прохор, так Ворона отпихнул бы его, тем бы и дело кончилось, но перед ним стоял первый по заводу силач, легко поворачивавший на наковальне шестипудовую пару.

Пришлось отпустить.

В понедельник, кроме дощатников, на работу не вышли мастеровые кричной фабрики. Узнав об этом, доменщики стали поговаривать, что и им бы не худо бросить работу.

Когда Левитский услышал об этом, он совсем пал духом.

— Только бы в главной конторе не узнали! После истории с ружейным переделом могут так взыскать, что и должности лишишься.

Спрашивал Яргина, как поступить. Тот стукнул об пол правилом и выдавил только одно слово:

— Пороть!

Расходчик Кондратьев дипломатично возразил:

— Как же, Семен Петрович, столько людей наказывать будем? А что, как весь завод поднимется? Ведь даже подумать страшно... Озлился народ.

— Ну что же, по-твоему, делать? — нетерпеливо прервал его Левитский.

Он ходил по конторе и нервно грыз ногти.

— А я так полагаю, что на этот раз уступить надо... Потом взыщем со всех, а сейчас лучше уступить...

Приказчик задумался. Он взглянул в окно в сторону фабрик и остановился, скованный страхом: к конторе шла толпа мастеровых.

— Что им надо? Выйди-ка, Кондратьев, спроси! Никак с ломками идут?..

Кондратьев затрясся от испуга. А что, если придется держать ответ за многие плутни: за обсчеты при выдаче платы, за штрафы, за взыскание долгов. Он вышел из конторы навстречу мастеровым, думая только об одном, сразу ли его начнут бить или не сразу.

В первых рядах шли самые пожилые, почтенные



люди, проработавшие по двадцать, двадцать пять лет на заводе. У многих из них лица носили следы «огневой» работы — красные пятна, которые уже не сходили со скул. У всех на теле были многочисленные шрамы от ушибов и ожогов.

Увидав стариков, Кондратьев приободрился:

— Что надобно, старички? Зачем пожаловали?

— За господской милостью. Уволь от работы в неположенное время. Страдовать пора. Гляди, какая погода...

— Ладно. Доложу управителю. А вы дальше не ходите.

— Ну, что ж, подождем и здесь.

Левитский немедленно дал согласие.

У всех была радость, а у Бобылевых двойная. Когда Евдоким и Настасья возвращались с плотины, они заметили возле ворот своего дома высокого, бедно одетого старика.

— Ой, Евдоким, не батюшка ли стоит?

— Ну, что ты, может ли быть это?..

Но, подойдя ближе, они увидели, что перед ними действительно Пимен Карпович. Он ссутулился, похудел, в бороде густо засеребрилась седина.

— Не узнаете, детки?

Обнял сына и невестку и заплакал. Из избы с причитанием вышла Анна Трофимовна.

Пимен перекрестился и перешагнул порог родного крова.

О себе, о своих злоключениях рассказывать не стал.

— Хорошо, хоть жив остался да домой воротился. За все только одного бога благодарю.

Пообедал наскоро и сейчас же отправился во двор.

— Куда ты, Карпович? — забеспокоилась жена. — Отдохни с дороги.

— Время ли отдыхать? На покос надо ехать, сбрую чинить, телегу поправлять.

Старый Гнедко узнал хозяина и тихонько заржал. Пимен Карпович потрепал коня по шее:

— Не нагуляли мы с тобой жиру... Вот оно какое дело!

Выкатил из завозни телегу, снял колеса и стал смазывать оси.

Через два дня семейство Бобылевых вместе с другими заводскими семьями выехало страдовать.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Было бы счастье, а дни впереди.  
Пословица*

Евдоким проснулся от холода во всем теле и от ноющей боли в спине. Открыл глаза и испугался: незнакомое помещение, похожее на чулан, с узеньким окошком, затянутым бычьим пузырем. Словом, «чижовка»!

Пережитое накануне тотчас встало перед ним.

А было так. После крещенья неохотно вышли на работу мастеровые. Гулевы дни соблюдались свято, и всегда их не хватало. Так было и на этот раз. Полусонные собрались работники на меховую фабрику, а работы, как назло, задали невпроворот.

— Вы уж того, ребятушки, постарайтесь! — упрашивал Крякунов.

На ту пору черт принес плотинного. Глаза красные, лицо опухшее. Видать, неплохо праздник справил. Оглядел меховую и сразу к мастеру:

— Так-то смотришь ты за работными людьми! Кто они у тебя — люди или чурбаны? Стоят, как полумертвые... Почему доменные мехи не готовы?..

— Срочный урок выполняли... топорщица ладили, — отвечал Никандрыч, и щека у него заподергивалась.

— А ты что глядел? — закричал плотинный. — Шевелишься, ровно стельная корова, и другим еще потакаешь...

— Работаю, как умею, ваша милость.

— Умеешь ты! Сразу видать. Давно пора на конюшню такого работника...

Кончилось тем, что плотинный хватил старика по спине правилом и ушел, пригрозив наказать остальных розгами.

Все это происходило на глазах у работников меховой фабрики. Никто не заступился за мастера, только Евдоким сказал с недоброй усмешкой:

— Стал бы он меня по спине колотить, я бы не сробел его обухом бить... У меня на такого злодея всегда нож за пазухой.

Мастеровые посмеялись шутке, но когда Евдоким выходил из меховой, к нему подошел служитель Леонтьев и подхватил под локоть:



— Велено быть тебе в конторе, Бобылев.

Сперва Евдоким даже и не догадался, по какому случаю требуют, может, какой новый урок, машину отремонтировать или другое что по заводской части.

В конторе его поджидал приказчик Левитский.

— Сколько вор ни ворует, а кнута не минует.

— Я не вор. Не был им и не буду,— бросил в сердцах Евдоким. Приказчик пропустил мимо ушей резкий ответ.

— Тебе лучше знать, почему дощатые фабрики в прошлом году в сенокос бросили работу. Или не помнишь? А теперь плотинного грозишься убить!

Вот, оказывается, в чем дело! Ни слова не ответил Евдоким: понял, что с ним сводят счеты за старое. Повели его в «чижовку» при конторе и надели на ноги железа-кандалы.

Первый раз в жизни испытал Евдоким тягостное состояние узника: сиди в одиночестве и дожидайся решения своей участи. А кто знает, какое наказание придумает злопамятный приказчик.

Каморник Варфоломей Тупиков — по уличному прозвищу Широка Шаньга — заглянул в «чижовку».

— Сидишь, механик? Ужо я тебе на ужин принесу.

— Ты бы лучше семейным моим передал: пускай Настасья зайдет попроведать.

— Что ж, и это можно.

И снова Евдоким остался наедине с невеселыми мыслями. Больше всего угнетало сознание несправедливости. За что взяли? Хотя бы за совершенное действие, а то за пустые слова. Правда, если бы плотинный ударил его, пожалуй, он ему отвесил бы крепкую сдачу, но рук поганой кровью марать бы, понятно, не стал. Из-за кого губить себя? Впереди еще так много дела! Вспомнил Евдоким историю с «долгими листами», и еще тяжелее стало на душе. Вот чем отблагодарили! Работал век за холщовый мех. Только свой брат — мастера — разнесли славу о нем как об искусном механике. Дошло до главного управителя в Верх-Исетске. Главноуправляющий Заверняев запросил, верно ли, что простой столярный мастер произвел усовершенствование, коего на других заводах никак не могли добиться. Об этом узнал Евдоким от конторских служителей. Узнал и о том, что Левитский в отчете выдал изобретение за свое.



Евдоким лег на пол, с головой закрылся азымом, надеясь хоть сном забыться, но сон не шел.

В полдень Варфоломей принес обед — тарелку щей да горошницу в деревянной чашке, шепнул:

— Настасья скоро придет.

Верно: вскоре пришла жена. В полутьме Евдоким увидел ее встревоженное лицо, заплаканные глаза.

— За что тебя посадили, Евдокимушко?

— За пустяк. Старое припомнили.

— Как же быть-то, родной?

— Подождем. Вырешат, может. Не век же буду здесь клопов кормить.

Жена заплакала.

— Ну, ты это того... Зря. Вечно у вас, у баб, глаза на болоте... О чем плачешь? Покуда голову с плеч не сняли, жив буду, а жив буду — работать буду.

Так он утешал жену, а у самого кошки скребли на душе: что-то удумает собака-приказчик?

Левитский же удумал вот что: сообщив в главное управление, что Бобылев содержится при конторе в железах «за угрожатьство плотинному Яргину нанести удар ножом», а для того, чтобы и впредь «не было заводу помешательства от такого вредного человека», он просил сдать его в рекруты в зачет.

Ответ пришел быстро и совершенно неожиданный. Левитский читал и морщился. На ордере рукой Заверняева было написано:

«Несбыточное и невозможное дело отдавать в рекруты такого редкого, искусство механическое во всех частях сведущего и для завода неоценимого человека».

— Что ж, посмотрим, посмотрим, — бормотал управитель.

Он и не думал сдаваться. Бобылев был в его руках, и способов расправиться с ним имелось сколько угодно. Главное — выиграть время.

А пока суд да дело, Евдоким томился в «чижовке» в предчувствии самого горшего.

Как-то Варфоломей Широка Шаньга поставил перед Евдокимом тарелку с квашеной капустой и ломоть ржаного хлеба:

— Ешь, механик. Знать-то, последний раз тебя потчую.

— А что такое?



— Бают, отсылать тебя велено в Верхний Тагил в поддоменную работу.

— Не врешь?

— Пошто врать. Приказчик сам бумагу писал. Говорит: я ему, варнаку, все одно жизнь укорочу.

— Это он меня варнаком честил?

— Тебя, тебя, матушка Евдоким Пименович.

Приуныл Евдоким. Верхне-Тагильский завод недалеко, и порядки тамошние хорошо известны верхнейвинским мастеровым. Доменная работа — самая тяжкая из всех заводских работ. Недаром, кроме положенных по штату работников, находились там еще и ученики «на упалые места», заменявшие падавших от изнеможения и угара доменщиков. Но главное состояло в том, что тамошний доменный надзиратель — собака не из последних — приходится Левитскому свояком, значит, укоротить жизнь неугодному мастеровому мог с полной гарантией.

Вовсе закручинился Евдоким, ходит по каморе, думает, как бы вырваться на волю. «Чижевка» не закрывается на замок, закрывается только контора. Караульных двое, у одного из них ключ. Хорошо, если бы оба заснули, а то спят попеременно. Не убежишь. Но что, если завтра же отправят в Верхний Тагил?

При этой мысли сердце сжалось у Евдокима. Надо бежать, бежать непременно и дожждаться где-то, хотя бы в Невьянске, весны, а весной, слышно, барин должен приехать на заводы. Тогда он подаст ему жалобу на самоуправство Левитского, расскажет, какие порядки завел он на Верх-Нейвинском заводе, как нарушает господскую волю.

Да, надо бежать, пока не поздно, иначе замучат, и тогда конец всему.

Решил Евдоким дожждаться ночи, выждать удобного момента. Только бы увидеться с женой!

Настасья пришла под вечер, принесла кусок лукового пирога и браги в туеске.

Евдоким шепнул ей на ухо:

— Ночью сегодня бегу, Настенька.

Настасья вздрогнула:

— Что ты? Поймают — смерть.

— Так и так погибать. В поддоменную работу отправляют в Верхний Тагил.

— Ой, горюшко! Куда же ты денешься?



— Хочу у твоего отца побыть, сколько можно. Подожду весны, а там барин приедет... Буду ему жаловаться...

— Ох, страшно мне за тебя!..

— Молчи и слушай! Возьми у меня из ящика в столе зубило и молоток и положи их возле каменной кладовой, у того угла, что ближе к конторе. Для приметки вицу воткни. Поняла?

— Поняла,— прошептала Настасья, подняв на мужа полные тоски и страха глаза и всем телом прижавшись к нему.

Евдоким крепко обнял ее.

— Жив буду — свидимся, Настенька. Выбирать мне не из чего. Так и родителям передай. Скажи: просил благословить на незнаемый путь.

— Все сделаю, Евдокимушко.

— Ну, прощай.

— Прощай, любимый, прощай!

Они поцеловались долго и горько.

Захлопнулась дверь, и снова остался Евдоким один в своем заключении.

Становилось темней и темней, будто черной паутиной заплетало углы.

День был воскресный, никого из начальства в конторе не осталось. Каморник и рассылка, сидя за большим конторским столом, распивали полуштоф. Сальная свеча горела перед ними. За перегородкой слышались шаги заключенного, сопровождаемые звоном кандалов.

— Ты, Варфоломей Иванович, зла на дне не оставляй. Пей до конца.

— Довольно, Петруха!

— Боишься?

— Боюсь. У меня и родитель, матушка моя, страсть пужливый был.

— Не бойся, спи, и я буду спать. Куда он побежит, стреноженный-то?

— Не ровен час и убежит! Нет уж, я не усну.

Ох, как медленно тянулось время. Евдоким с нетерпением ждал полночи. Он твердо решил бежать именно в полночь, когда караульные задремлют и когда ни души не будет на улицах. За стеной бушевала метель, и это было на руку: заметет все следы.

Каморник громко зевал за перегородкой. Петруха



уже храпел на всю контору. Вот наконец Варфоломей поднялся, ворча и кашляя, надел тулуп и побрел отбивать часы.

Приподняв цепь, чтобы не бренчала, Евдоким, как тень, вышел за ним. В распахнувшуюся дверь ворвалась струя морозного ветра со снежной пылью.

— Тьфу ты, прости господи!.. Ну и погода! — сердился Варфоломей, направляясь к столбу, где висел колокол.

Евдоким тем временем кинулся к кладовой. Никакой приметы на углу он не увидел: все занесло снегом. Стал шарить то в одном месте, то в другом. Снег слепил глаза, ветер пронизывал насквозь. Колокол мерно отбивал двенадцать ударов.

Где же все-таки инструмент? Ведь в кандалах не побежишь... Несмотря на то, что Евдоким был в одном стареньком азяме, его как будто варом обожгло. Вдруг не удастся побег? Что тогда станется с ним, с его семейством?

Не помня себя от страха, не чувствуя мороза, он рылся в сугробе одеревеневшими от стужи руками, стараясь отыскать предмет, от которого сейчас зависела вся его жизнь.

Наконец рука его возле самой стены нащупала прут. Задыхаясь от волнения, Евдоким стал разгребать снег и вскоре нащупал завернутые в тряпицу молоток и зубило. Торопливо принялся он сбивать с ног кандалы, несколько раз больно стукнул по руке и по ноге. Кажется, никогда еще не действовал с такой лихорадочной быстротой. Ему чудились сквозь свист метели голоса караульных. Скорей, скорей!.. Евдоким расковал ноги, сунул кандалы поглубже в сугроб, перекрестился и, не оглядываясь, побежал по направлению к большой дороге, что вела на Невьянск. Ноги то и дело проваливались в снег. Хотя он и старался держаться колеи, но дорогу замело. Метель колола лицо тысячами иголок. В белесой мгле смутно маячили заводские строения, господский дом, магазейны. Впереди темнела зубчатая кайма леса.

Скорей, скорей! Только бы добраться до Невьянска, там он найдет приют у тестя, там станет ожидать приезда господина Яковлева, и тогда держись Левитский!.. Обо всех плутнях будет рассказано.

Перед рассветом метель утихла, и небо ярко вы-



звездило. Дорога шла бором, то поднимаясь на увалы, то опускаясь в низины. Сквозь заснеженные вершины сосен видно было, как горбились горы, поросшие дремучим лесом. Горные цепи тянулись бесконечной каменной грядой, исчезая, словно тая, вдали.

Евдоким уже довольно далеко отошел от завода. Он устал, но мысль о том, что его могли хватиться и снарядить погоню, заставляла невольно ускорять шаг. Только бы добраться до Невьянска.

Над головой серебряным трехзвездьем лучились Кичиги, и Большой Ковш опрокинулся над черной каймой бора. Синей искрой играли снега. Было тихо и морозно.

«Как-то там мои домашние? Настенька, наверно, тоже не спит эту ночь», — подумал беглец; тревожное и тоскливое чувство овладело им. Неизвестно, что ждет впереди: может, плети, а может, и хуже.

Так дошел он до поворотки у Староборского рудника. Впереди стало видать отвалы, рудничные амбары, деревянное строение, где стояла водоотливная машина. Чуть не по самые крыши замело снегом избушки рудничных работников. В одном дворе хрипло залаяла собака, ей отозвалась другая, и скоро весь поселок наполнился разноголосым лаем.

— О, чтоб вас! — прошептал Евдоким, боясь, как бы не вышел кто из рудничного начальства и не спросил, чей да откуда. Бегом миновал поселок.

Теперь уже оставалось недалеко до Невьянска. Скорей, скорей!.. Он прибавил шаг. Лес начал редеть, потом открылся пустырь на несколько верст в окружности. Вдали показался острый шпиль наклонной башни и зарево над невянской домной.

Восточный край неба розово засветлел. Все ясней и ясней выступали очертания фабрик и заводских домов и среди них — каменное здание конторы. Столбы черного дыма поднимались над крышами фабрик, как толстые жгуты. Вот прозвенели куранты. Нежная мелодия менуэта растаяла в морозном воздухе. На улице появились спешившие на смену мастеровые. Молча шли они на работу, угрюмо опустив головы.

Тяжело вздохнул Евдоким. Вот уже четвертая неделя, как оторвался он от заводского действия, и кто знает, скоро ли возьмется за любимое дело.

Пятистенок тестя стоял возле самого рынка, выде-



ляясь вышиной и добротностью отделки, даже конек на крыше и тот был фигурный. Справно жили Чулошниковы. Умел Лазарь Гаврилович ладить с заводским начальством, к тому же и мастерством славился.

Тихо постучал Евдоким в окно. Женский голос отозвался:

— Хозяина нет дома.

— Пусти, матушка! Это я, Евдоким.

Пустила Ульяна Андреевна нечаянного гостя и спросить боится. Поняла, что недоброе что-то случилось. Поставила на стол жбан с суслом, толокно, пирог вчерашний.

— Ешь, родимый. Сват и сватья здоровы ли?

— Все, слава богу, здоровы. А я, матушка, с завода бежал.

— Да что ты, родимый? Да как же ты теперь?..

— Хочу самому господину Яковлеву жаловаться. Пусть нас с приказчиком рассудит. От притеснений злодейских жизни не стало.

— Ох-ти мнеченьки! Горемычный ты мой! Да как же ты на такую страсть решился? Ведь на гибель пошел...

Помрачнел Евдоким, нахмурился.

— Погибать я не собираюсь. Мне в жизни еще много смастерить надо...

В сенцах слышались шаги. Вошел сам хозяин Лазарь Гаврилович. Был он по-прежнему моложав и строен. Даже борода еще не серебрилась сединой; ясные, черные, как у дочери, глаза сияли умом и энергией. Увидал зятя, удивился:

— По какому случаю пожаловал?

Евдоким выложил все начистоту и напоследок сказал:

— Хочу тебя, батюшка, просить: приюти на время.

Лазарь сел к столу и некоторое время молча смотрел на свои большие сильные руки.

— Жить тебе у нас неспособно: и меня и себя загубишь. Укройся в другом месте.

— Куда же мне укрыться? Разве проситься к медведю в берлогу на постой?

— Зачем в берлогу? Найдем жительство. Свезу ночью к знакомому человеку... Ульяна! Постели-ка ему, пусть отдохнет с дороги.

Забрался Евдоким на полати, в тепло, укрылся ту-



лупом, и тотчас же дрема одолела его. На каком боку уснул, на том и проснулся. Спустился с полатей, когда уже свечерело, выпил холодного ядреного квасу, умылся ледяной водой, и всю усталость как рукой сняло.

Пошел к тестю в заднюю избу. Лазарь оковывал сундук. Пахло деревом и клеем. На полу и на полках стояли изделия славного мастера. Были тут и тяжелые кедровые сундуки, и малые палисандровые шкатулки, все со скобами, с плоскими и овальными крышками, с хитрыми внутренними замками. Повернешь ключ — поют. Сундуки сверкали нарядной отделкой. Каких только узоров не вывел на крышках мастер: где пустил мороз, где лазурь, где под малахит закрасил. На одном дорожном ящике намалевал тройку на всем скаку.

Залюбовался Евдоким на работу тестя и обиду на него забыл.

— Никому супротив тебя так не изготовить, батюшка. Верно, что первый ты мастер по заводам.

Лазарь довольно усмехнулся.

— Я и макарьевских сундучников превзошел. У них по шесть сундуков в сундуке, а у меня восемь. Погляди-ка.

И он показал свое чудо.

— На масленой неделе изладил для господина поверенного поднос. Поверенный говорит: «Надолго ли хватит твоей малировки?» Велел я тогда развести огонь на подносе. Целый костер навалили. Вынули поднос — чернехонек. «Вот и пропала работа»! — говорит поверенный. А я думаю: «Ты не пропади». Стер сажу — заиграл поднос цветами по-прежнему. Так-то!..

— Хорошо это, батюшка! Однако дивное твое умение с тобой и кончится.

— Был бы у меня сын, передал бы ему свой секрет...

— Неуж чужим не передашь? Чтобы людям на пользу, чтобы поминали тебя добрым словом?

— На мой век хватит, а до чужих мне нет дела, — сурово отрезал Лазарь Гаврилович. — Пойдем-ка лучше закусим на дорожку.

Пошли в переднюю избу. Стол уже был накрыт. Тесть вынул из поставца графин с травяной настойкой. Сам он, человек трезвый, выпивал только по



большим праздникам. Но зятю по особенному случаю налил серебряную чарку. Выпил Евдоким, заел щучиной, к остальному угощению и не притронулся: неспокойно было на душе. Лазарь Гаврилович пошел запрягать лошадь. Ульяна Андреевна сунула зятю в мешок съестного.

— Поешь потом... Да не сердись на нас, не обидься... У самой слезы по щекам текут.

— Прощай, матушка,— сказал Евдоким и стал надевать азам. Тесть дал ему тулуп и еще провианту положил в сани.

Затемно выехали они из Невьянска. Как отъехали верст десять, своротил Лазарь в лес.

— Вот тут тебе и пристанище!

Глядит Евдоким и понять не может, где жилье. Лазарь Гаврилович указал на поднимающуюся из сугроба печную трубу.

— Здесь живет старик Илья. У него остановишься, а я приеду через неделю.

Приютил беглеца старик, только не велел из избы выходить.

— Место у меня опасное: недалеко от большой дороги.

И верно. На другой же день близко зазвенели колокольцы. Выскочил Илья из избы. Поглядел и видит: едет злой человек — шуралинский надзиратель. Скорее в избу. Приподнял на кровати доску и говорит Евдокиму:

— Полезай, парень, в голбчик. У меня тут не один укрывался.

Полез Евдоким, под доской оказался тайник. Хоть темно там и душно, а все же можно беду переждать.

Горько думалось: «До чего дожил. Вроде зайца трясусь».

То и дело спрашивал его Илья, заглядывая в голбчик, напоследок посоветовал:

— А не лучше ли тебе, милый сын, уйти к старцу Анисифору? Есть тут у нас один такой, неугодный властям беглец. Здесь опасно: у демидовских собачек нюх острый, и живу я у них под самым рылом.

— Что ж, води к старцу Анисифору.

Надел Евдоким котомку на плечи и зашагал вслед за Ильей. Вышли затемно и по нижнетагильской дороге взяли направление на Черновский завод. Не дохо-



дя до него, свернули у Талой речки и пошли дальше горами. В лощине, в самом глухом раменье, у горного ключика, притулилась избушка старца Анисифора. Кабы не дым, поднимавшийся прямо из сугроба, можно было пройти и не заметить, что тут жилище.

— Ну и глухомань,— вздохнул Евдоким, утирая со лба пот.— Зайдешь сюда и не выйдешь.

Постучали в дверь, «помолитвовались».

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас.

— Аминь,— слышалось за дверью. Заскрипел тяжелый засов.

Дверь отворилась. На пороге показался сухонький, горбатенький старичок с жиденькой седой бородкой. Это и был старец Анисифор.

— Пожалуйста, гости дорогие! Милости прошу к моему шалашу! Каким ветром занесло вас в мою берлогу?

— Гость незванный пришел до твоей милости челом бить: приюти сирого, голодного и гонимого.

— Вот и хорошо, что ко мне пришел. Лесная моя пустынь не всякого пустит: кого укроет, а кому путь закроет. Не один у меня в келейке спасался. Хе-хе!.. Заживем с тобой, как гусь с водой. И мне с человеком станет веселее. Разболокайся, дружок, отдыхай с дороги. Я тем временем ушку сварю... Коли гонимый, так мы с тобой одной семьи дети.

Евдоким снял бродни, повесил онучи над очагом, лег на волчью шкуру, разостланную на лавке. Босые ноги обдавало теплом. Огонь на очаге потрескивал, красные и желтые змейки весело извивались над смолевым сушняком, освещая охотничью и рыболовную снасть, развешанную по стенам.

Анисифор с Ильей чистили рыбу и вели меж собой беседу о гонительных временах, о притеснениях, чинимых работным людям.

...Снилось Евдокиму, будто ходит он со своей Настенькой по душистой и теплой лесной полянке, собирает алую ягоду — землянику...

Проснулся он рано. В окошко едва-едва просачивался свет. Поднялся, пошарил онучи. В это время дверь отворилась и вошел старец с охапкой дров.

— Проснулся, гостенек дорогой? Почивал бы с



дороги. Теперь ты вроде как вольный человек, хотя и птичья эта воля, да уж такая наша доля...

— Добро я выпался. И силы сразу прибыло. Так бы и пошел на фабрику...

Он вздохнул, вспомнив, что обречен на самую страшную пытку — быть не у дела.

Дни тянулись капля по капле.

Старец Анисифор не сидел ни часа без работы: то уходил ставить капканы на зверя, то на ближнее озеро рыбу ловить, то невод плел.

Евдоким с ним душой отдыхал.

Заметит старец, что гость закручинился, — сейчас же разговором развеселит.

Однажды разговор вышел вовсе по душам. Слышит Евдоким — поет старец что-то не божественное.

— А говорили — ты святой...

— Так, вишь ты, люди таким меня изладили, Евдокимушко. Я ведь самодельный святой-то.

— Как самодельный?

— Да так, Евдокимушко... Я, знаешь, такой же мастеровой, как и прочие... Мы — демидовские... с Нижнего Тагилу, с Выи... Там и родитель мой жизнь скончал, и мне едва тоже не довелось. Оттого, знать-то, и Выя, что голосом выли... Ой, как досталась «огневая» работа! А я, сам видишь, малосилок... Ну, все же свое робил, от товарищей не отставал. — Старец помолчал. — Оттого я, должно, и святой, что душа у меня светлая. Не пал духом и перетерпел все, как великомученик.

— Так как же ты попал-то сюда? — спросил Евдоким.

— А ты слушай! Все как на духу расскажу. Из-за нее, из-за Палашки... Руду она била, а я в подносчиках робил. Ну, такая девка была... Вот уж сорок лет минуло с той поры, а как вспомню — все сердце болит... — Старец полез в голбец и вынул оттуда полуштоф. Налил полную чашку, перекрестился и выпил. — На этой самой Палашке я и женился. И жили мы с ней так... так... Да недолго мне красно солнышко светило. Прихожу как-то после работы, а Палашу... Палаше в господском доме велено было полы мыть, и испоганили ее там господа приезжие из города. Сомлел я от горя, кровь в голову кинулась, побежал к господ-



скому дому с топором. «Где,— кричу,— мои погубители?» Ну, большая драка получилась. Взяли меня, раба божия, под караул, на хлеб да воду посадили в заводскую тюрьму. После того дали двадцать палок и отпустили. Только Палашки я больше не видал, сказывали, в скиты ушла.

Старец налил себе чашку «святой воды».

— С той поры работа мне на ум не пошла. Высекли меня раз, высекли вдругорядь и пригрозили плетью да каторгой. Тогда я в бега и пустился... С того времени и святым стал... Так-то, Евдокимушко, милый сын! На веку как на долгом волоку: поживешь в добре, поживешь и в хude.

Зима в этом году держалась упорно. Сретенские морозы сменились буранами. Уже март стоял на дворе, а вьюги по-прежнему свистели и выли, переметали дороги, засыпали сугробами избы.

Утопал в снегах и Верх-Нейвинск. Протаптывая утреннюю тропку, шли с коромыслами заводские женки. У проруби, наполняя ведра студеной, с ледяшками, водой, толковали про домашние и заводские дела.

— Ну, Филимоновна, натерпелась я ночесь страху.

— Не говори, Варвара, и я едва не отстала от ума.

— С чего хоть это случилось? Уж не поджег ли кто?

— Кто сделал, тот руки не оставил. Уж коли на такое пошел, стало быть, смекал...

— Да и снег большой выпал. Следов не видать.

— Сказывают, Яргин грозитя весь молодяжник перетаскать в «чижовку». Подозрение имеет на молодых...

— С него станется... Как есть, аспид.

Соседки одна за другой поднимались по узенькой стежке на пригорок. Первым на пути стоял дом Бобылевых. Из ворот вышла Настасья. За последнее время похудела она. Увидала соседок — скоренько пошла им навстречу.

— Тетушка Варвара! Опять к нам приходили из конторы, спрашивали про Евдокима, про тятеньку. Вся душа изболелась...

— Пимен-то Карпович с рудника не воротился?



— Нет, тетушка. Как тятеньку определили на рудник с осени, так только по праздникам и ездит домой.

— Надо бы ему переслать весточку,— вмешалась Филимоновна,— чтобы доле не приезжал... Семья-то ваша штрафованная. Начальство с таких взыскивает в первый черед.

— Ох, беда наша!.. У меня и так сердце не на месте, только и думаю: где-то Евдоким?.. Что, как попал он?

— Не тужи, милушка! Не пропадет твой Евдоким...

В заводской конторе приказчик и плотинный обсуждали происшествие. Ровно в полночь загорелась куча угля для доменного действия. Огонь понесло на господский дом. Стали загораться службы. Сбежался народ, потушили. Теперь в конторе думали и гадали о причинах «пожарного приключения».

— Неужели чей-то злой умысел? — вопрошал Левитский, вытирая платком лицо. Больше всего он боялся, что дойдет до главного управления.

— Может, конечно, и так быть,— объяснил плотинный,— однако свежевыломанный уголь и сам загореться может...

— Как так?

— А так: шаял, шаял, да и вспыхнул.

— Плохо верится. Допросить кого следует не мешает. Приказываю!

Стали вызывать по списку, начали с тех, за кем значились провинки, но толку никакого не получилось. Люди тупо смотрели под ноги, отвечали немногословно: на месте в тот час не был, кто поджег, не ведаю. Вот и весь сказ.

Но ровно через десять дней в ночь под воскресенье произошел новый пожар.

Несмотря на зимнее время, жарко было в дощатой фабрике. Из широкого пылающего зева нагревательной печи то и дело тащили раскаленные болванки. Двое мастеровых подхватывали пылающие куски железа клещами и толкали их в отверстие между валами плющильной машины. Мастер поднимал шест, и вода с тяжелым гудением падала на колесо. Колесо поворачивалось — фабрика разом вздрагивала, валы шевелились, глотали и плющили болванку.

Тут же рядом на гладильных молотах работали Прохор и Нестер. Бойко поворачивали они пачки же-



лезных листов, подставляя их под оглушительные удары шестидесятипудового чугунного кулака.

Шла пробивка третьей за смену пары, когда слышались звуки набата. Часто и тревожно бил колокол: бам-м, бам-м, бам-м!

Работники переглянулись.

— Опять пожар!

— Опять!

— Искать будут...

— Пускай ищут...

Подошел уставщик.

— Придется остановить работу. Из конторы прислали рассылку — приказчик велел идти тушить. Сказывают, угольный сарай пластает, огонь несет на меховую. Как бы не занялась фабрика... Ай-дате!

Мастеровые не спеша надевали полушубки и выходили на улицу. Сильно буранило. В стороне от основных фабрик над угольным сараем поднимались длинные желтые языки пламени и клубы багрового дыма.

— Славно горит,— заметил Нестер.— Светло, как днем. Жалко, что контора каменная...

— Ветерок дунет, и контора пыхнет,— сказал Прохор.

Едва отстояли меховую фабрику. От угольного сарая осталось лишь пепелище. Завод на время остановился. Скрыть это обстоятельство от главной конторы оказалось невозможным, и пришлось давать полный отчет о случившемся.

Левитский твердо знал, что на этот раз не произошло никакого «самозагорания»: уголь лежал давнишний. Кто же виновник? Прежде всего взял он под арест смотрителя угольного двора.

— Почему не поставил караул?

Смотритель молчал. Много лет служил он верой и правдой, не думал, не гадал, что так худо кончится его долгая служба.

— Выпороть! — распорядился приказчик.

Старика затащили в пожарный сарай, где обычно производили экзекуции.

Стали таскать в контору подозрительных. Побывали полицейские служители и в доме Бобылевых. Но Пимен Карпович, получив от благожелателей преду-



прежденье, никуда с рудника не отлучался. Полицейские служители ушли ни с чем.

Тем временем в главной конторе произошли перемены. Григорий Зотов, ставший полновластным владыкой Верх-Исетских горных заводов, не посмотрел на то, что верхнейвинский приказчик задаривал всех власть имущих, сместил его с должности, а на то место назначил своего брата Савву.

Левитский думал, что сместили его из-за пожарных «приключений», на самом же деле новый главноуправляющий ставил везде своих людей, на ум и опыт которых мог положиться. Больше всего доставалось от него ставленникам Заверняева, недавно ушедшего из главной конторы.

Вторую неделю жил Евдоким у старца. Тосковал по настоящему делу... Ох, до чего тосковал! Кажется, пошел бы теперь на самую черную работу, лишь бы не сидеть без дела.

Старец Анисифор, приглядываясь к своему постояльцу, жалел его:

— Не вешай голову, Евдокимушко! Погляди-ка у меня дробовку, не пригодится ли сходить на охоту... Сам бы пошел, да не могу: стар глазами, слаб ногами... Чуешь?

Евдоким с жадностью схватился за ружье, разобрал и поправил замок, сделал новый приклад, пошел охотиться.

Мартовские ночи стояли над Уралом. Все наполнилось ожиданием весны: и талый ключ журчал звонче, и звезды ярче играли, и воздух становился как будто мягче, снег серел и проваливался. Шла весна!

Евдоким ходил на охоту, но мысли о доме, о жене, о работе не оставляли его, неудержимо тянуло к людям, к большой жизни с ее радостями и тревогами.

— Не жилец я больше в лесу,— объявил он старцу.— От безделья день за год кажется. По планам бы я теперь знаешь какую модель изготовил.

— Везде рай, был бы хлеба край. Ты поменьше думай,— утешал старец.— Не работа сушит—забота.

— Не могу, истомился весь. Что будет, то и будь, а пойду.

— Без казенной бумаги далеко не уйдешь. Что за



дорожка по заячьим стежкам. Потерпи, родимый...

Пришел старик Илья, принес новость: барин на заводы не приедет, а Евдокима разыскивают и по заводам читают полицейские «публики» о нем. «Росту среднего, присутул, лицом чист, волосы темно-русые, глаза серые, над правой бровью шрам, борода небольшая, на левой руке мизинец не гнется...»

— Вишь ты, и шрам не забыли, и мизинец... Наплевать! Пускай ищут. У меня еще голова и ноги целы. Как там в Верх-Нейвинске семейство мое живет?

— Семья твоя жива и здорова. Отца таскали в контору, да отпустили, а ты берегись...

— Все одно добьюсь правды. Дойду до господина Яковлева и жалобу ему самолично подам... Ждать больше не вмоготу.

Стали советоваться, как быть, и согласились на том, что Анисифор сходит в Шарташ к верным людям и добудет казенную бумагу на путь до Москвы. Трудно это, да деться некуда. Старец похлопал гостя по плечу.

— Ты, Евдокимушко, на меня положись. Я обиженному всегда помощник. У меня на каждом заводе странноприимцы и благодетели. Не выручат — так выучат. Через неделю ворочусь.

Котомку за спину, посошок в руки — и зашагал не стариновской, легкой походкой. Остался Евдоким ждать его, считать часы да волчий вой слушать по ночам. Ох и долга показалась неделя! Думал: уж не попался ли Анисифор полицейским служителям в цепкие лапы. Вернулся старец с билетом от главной конторы. Едва, говорит, достал и то через третьи руки. Сам в городе не показывался. Взял Евдоким бумаги, видит: все честь по чести, только печать малость неразборчива, ободок выведен ясно, а что в нем — не разберешь. Сроком же билет выдан на три месяца. Поблагодарил Евдоким старца и стал собираться в путь.

Старец на прощание напутствовал:

— Скатертью дорожка, иди по ней сторожко. Билета здесь не показывай, по Чусовой на караванах не ходи. Пойдешь прямехонько — через Черновский завод на Галашки, оттуда — на Утку Демидову, потом — на Курью, на Гробовскую крепость, на Атиг, на Серги,



на Сорокинское плотбище. Тут тебе и весла в руки.

С этим наставлением и отправился Евдоким в дальнюю дорогу.

Ноги то и дело проваливались в снег. Долго брел он по лесу, пока не выбрался на дорогу. Она горбилась коркой конского помета и угольной сыпи: неподалеку, верно, ломали в куренях уголь. Впереди на большом увале встали исполинские кедры, встречая путника торжественным шумом, и овладело Евдокимом чувство глубокой уверенности в себе, в своем будущем: как будто эти лесные богатыри отдавали ему часть своей великой силы, что идет от самой матери земли.

За четыре дня добрался Евдоким до Уткинской слободы, узнал здесь, что на реке Уфе нынешней весной собирают большой караван сплавать с заводов Демидова, и решил отправиться на уфимские пристани.

На пятый день пришел в Атиг, попросился в крайнюю избу, развязал мешок с сухарями, вынул чашку, воды в нее налил и приступил к своему сиротскому обеду. В избе оказался еще один приезжий. Видит Евдоким по обличью и по одеже — свой брат, мастерко.

— Я,— говорит приезжий,— молотовой мастер из Нижних Серег. Приехал сюда с докукой. Умельца ищу.

— Какого умельца? Ежели по слесарному и столярному делу, я могу, в дощатом действе сведущ, также и модели делаю по планам.

Мастер обрадовался:

— Так нельзя ли тебе увидеться в Сергах с плотинным Морозовым? Коли ты и в дощатом действе сведущ, так у нас того производства ищут и никак обрести не могут. Из Тулы на завод привезена машина, да к действию не годится, а досмотреть ее некому.

Как услышал Евдоким про машину, так и загорелся от нетерпения: какого такого она диковинного устройства, что пустить ее в действие не могут. Давно соскучился по механической практике, а тут вон какой случай подошел. Не выдержал.

— Согласен. Поедем в Серги.

Мастер обрадовался, медлить не стал, запряг лошадей и — в дорогу.



Приехали они еще засветло. Плотинный жил против конторы, на самом берегу Серги. Дом с высоким коньком, наличники расписные в три колера, с петухами — сразу видать, что не простой мастеровой строил. Одно крыльцо больше десяти ступенек, да еще под крышей, и балясины точеные. Вошли в избу — чистота, как на Христов день, половики будто сейчас из-под кросен вынуты, горка стеклянная с цветной посудой, на стене — немецкие картинки в рамках, на столе — скатерть браная, пестрая, с пушистой бахромой. Хозяйка вышла к гостям румяная, гладкая, в косоклинном сарафане. Из-под наколки сережки блестят.

«Светленько живут,—подумал Евдоким.—Видно, здесь каждая копеечка петухом поет».

Молотовой мастер шапку снял, поклонился низенько:

— Привез я, Прасковья Герасимовна, механика, в дощатом действе сведущего. Прошу любить и жаловать.

Хозяйка заулыбалась приветно:

— Пожалуйста за стол. Терентий Петрович вот-вот должен прийти. Садитесь, гостеньки желанные! Садитесь, родимые!

Сходила в кладовую, принесла две большие кружки браги на меду. Пока гости пили, пожаловал и хозяин. Он сразу пришелся Евдокиму по душе добродушным лицом и обходительностью, хотя в глазах и светилась лукавинка. Был он такой же дородный да румяный, как его жена. Узнав, что Евдоким знает дощатое действо досконально, что долгие листы — его рук дело, Терентий Петрович стал еще любезнее.

— Располагайся у меня, как в своем жительство. Завтра сведу тебя к нашему приказчику. Досмотришь машину и поможешь нам ее в действие пустить. Есть у меня в Верхних Сергах знакомый мастер, да никак наладить не может. Прислали умельца с заводов Баташева, так тот оказался способен только водку глушить без меры... Вот кабы ты еще нам сделал модель плющильной машины, как в Верх-Нейвинске. Тогда бы господин Губин тебя во как отблагодарил!..

Евдоким не хвалился, а обещал сделать, что в его силах.

Утром отправились в контору. Приказчик Герасим



Шевелев, важный бородач, большеносый, косоглазый, не понравился Евдокиму. Подумалось: кос очами — крив речами.

— Может, ты подослан выведать устройство нашего заводского действа?

— Я не навяливаюсь. Казать или не казать — на то ваша воля. Не надобен — уйду.

Приказчик подумал-подумал и согласился.

— Ладно, пойдем в дощатую. Пустишь машину в ход — наградить не поскуплюсь.

Вот и дощатая фабрика. Непривычному человеку и не понять, что там творится, а Евдоким будто в своей избе очутился. Видит: стоит машина, вся копотью покрылась и ржаветь уже начала. Поглядел Евдоким на хитроумное создание тульских мастеров, пожалел, что в худые руки попало, только головой покачал. В чем повреждение, он и подумать не мог, но, как всегда в таких случаях, достаточно ему было разобрать механизм, чтобы тотчас узнать, в чем неполадка. Так поступил и на этот раз. Разложил все по частям и сразу догадался, в чем дело: в неисправности оказался подшипник. Работа оказалась небольшая. Через день закончил ремонт. Осталось только собрать и смазать маслом все части, подкрутить винты да скомандовать:

— Отпускай запор!

С шумом хлынула вода в наливное колесо. Евдоким еще раз проверил состояние механизма. Не хотелось ударить лицом в грязь. К счастью, машина заработала исправно.

— Добро! — похвалил приказчик. — Сделай нам еще установ по переделу листового железа, чтобы не хуже, чем на яковлевских заводах.

— Нужно расчеты произвести. Подумать надо.

— Думай, думай. Не тороплю.

Стал Евдоким производить расчеты, прикинул, сколько денег потребуется на расходы, и вышло: не меньше ста рублей.

Как назвал он эту цифру Шевелеву, у того глаз вовсе забежал под переносицу.

— С ума спятил! Где мне столько взять?

Начали подсчитывать — никак меньше не обходится. Пришлось скупому приказчику согласиться. Евдоким в доме у Терентия Петровича мастерскую устро-



ил. С утра до поздней ночи сидел за работой: чертил чертежи, изготавливал модели, пришлось и нагревательную печь устанавливать, такую же, как в Верх-Нейвинске.

Терентий Петрович ходил вокруг него на цыпочках, только и упрашивал поесть да попить. В письме к завододержателю господину Губину писал про Бобылева: «По моей великой к нему просьбе показал он мне, Морозову, все к делу листового железа. Я с крайнею охотою предоставил ему в доме своем все принадлежности для поделки моделей раскатных машин...»

Не думал Евдоким, какая для него получится беда из-за этой услуги. Раскрывая заводскую тайну, он хотел одного: пусть как можно больше изготавливают длинных листов. Даже и в мысль не приходило, что это секретное дело. Да если бы он и подумал так, осудил бы себя, как осудил тестя, не желавшего ни с кем делиться своим мастерством.

Багровый закат глядел в окно сквозь ледяные узоры. Евдоким заканчивал изготовление машины. Все было на месте: и муфта и подшипники, все, как в верхнейвинской дощатой фабрике.

— Принимай, хозяин! Гляди, все ли так,— крикнул он Терентию Петровичу.

Тот крепко обнял его.

— Верю. Из твоих рук худое не выйдет.

Утром Евдоким с Терентием Петровичем пошел к приказчику. Шевелев велел выдать деньги и завел разговор о том, не останется ли Евдоким на заводе для устройства механической практики:

— Мы с тобою на всю Россию прославимся. Тысячу рублей обещаю.

Сам глазом косит, непонятно, то ли правду молвит, то ли насмехается. Евдоким наотрез отказался остаться.

— У меня свойственник в Уфимском полку служит. Крайняя необходимость его повидать.

Тогда Морозов посоветовал:

— Побывать бы тебе в Москве да достигнуть нашего завододержателя господина Губина. Он тебя наградит, не оставит.

Попрощался Евдоким с гостеприимными хозяевами и поспешил на Сорокинское плотбище, где готовился весенний караван.



На плотбище звонко говорили пилы, стучали топоры, ширкали рубанки. Кудрявой стружкой был усыпан весь берег. Пахло дегтем и свежерубленным деревом. Евдоким залюбовался дружной, слаженной работой.

Пожилой человек с подслеповатыми глазами и бородкой клинышком спросил Евдокима:

— Любуешься?

— Как не любоваться на такое диво.

— Любуйся, любуйся, коли делать боле нечего.

— Я не бездельник,— обиделся Евдоким.— Мне с караваном плыть надо. Работу ищу.

— А кто ты таков? Что за человек?

— Не все ли тебе равно. Тот хорош, кто на дело гож...

— Верно сказано. Коли согласен в косную работу наняться, айда ко мне в десяток. Спросишь Ефима Пысина.

— А что эта за работа?

— Работа не мудрящая — на лодке будешь гребцом.

— Добро. Договоримся...

Весело и дружно работали плотники, спешно заканчивая последние приготовления к отправке каравана.

Перед каждой баркой устроили спуск к реке из бревен. Вот одна скользнула на бревна, обильно смазанные смолой, все быстрее и быстрее покатилась к реке. Вжж!.. Весело было смотреть, как поднялась она над волнами и праздничный флаг затрепыхал на мачте.

— Руби подпоры! — раздалась команда, и вторая барка стремительно понеслась по бревнам. Люди на берегу провожали ее радостными криками. Когда коломенка погрузилась в воду, вал, едва не в сажень вышиной, покатился к противоположному берегу. Вскоре весь караван спустили на воду, а через неделю глубоко сидевшие коломенки, груженные железом, поплыли вниз по течению.

Караван плыл туда, где полноводная матушка Кама и Волга текут меж лесистых берегов, к шумным волжским пристаням, к старинным российским городам — Казани, Нижнему.



Майская прохладная ночь, сияя редкими звездами, плывет над Уралом. Месяц сломанным колечком горит в вышине над прудом, над Трубной горой, над Медвежкой. И звезды, и месяц, и прибрежные скалы отражаются в пруду. Вода ревет в вешняках, играет серебряной чешуей в водосливных каналах. Фабрики работают на полный мах. Нет-нет и вспыхнет розоватое пламя над домной — идет плавка.

Не спится Настасье Бобылевой. Вышла она на крылечко, села на ступеньку и пригорюнилась. Где-то муж? Последнюю весточку подал, что идет искать правды и защиты в Москву, к завододержателю господину Яковлеву. Что, если сидит в остроге, избитый, израненный?

В сенках слышались шаги. Осторожно ступая босыми ногами, в одной рубашке вышла Марьюшка, под села к Настасье, прижалась к ней горячей щекой.

— Любишь ты его?

— Люблю, Марьюшка.

Девушка задумалась.

— Счастливая ты. Все одно к тебе Евдоким воротится, и опять будете вместе, а вот я...

И осеклась.

— Сказывай.

Марьюшка зарделась, закрыла лицо ладонями.

— Что ты, милая? Или у тебя есть кто? — с жадным женским любопытством спрашивала Настасья. — Ну, говори!

— Никому не скажешь?

— Вот те крест не скажу.

Марьюшка обняла сноху и шепнула:

— Алешка.

— Гамаюн? Да ты не с ума ли сошла, девушка? Ежели родители узнают... Ах ты, моя болезная! Ведь он первый по заводу сорви-голова...

Девушка упрямо сдвинула брови, и лицо ее вдруг стало необыкновенно похоже на Евдокимово.

— Напролом пойду, а своего добьюсь.

И слова были Евдокима. Настасья, с заблестевшими от слез глазами, крепко прижала к себе Марьюшку и от всего сердца пожелала:

— Дай бог тебе счастья, ласточка ты моя!

К шестнадцати годам Марьюшка совсем заневестилась. Это была смуглая, рослая, сильная девушка,



с румянцем во всю щеку, с материнскими карими глазами, с тонкими, будто нарисованными бровями, красивая дикой полевой красотой. Всегда она ходила с песнями да прибаутками. Строг был Пимен Карпович, но, глядя на веселое лицо дочери, сам светлел и усмехался в сивую бороду.

— Пущай погуляет, жизнь-то долга, успеет наплакаться.

И Марьюшка гуляла. В теплые летние ночи вставала она с постели, отворяла дверь и босиком, обжигаясь о крапиву, шла в огород к пряслу на меже с соседним огородом. Там уже дожидался ее Алешка, тот самый Алешка Гамаюн, о котором ходила слава по всему заводу как об отпетом человеке. Он стоял возле прясла, возле заветного куста калины, покрытой белым цветом. На голове золотились кудри, озорное лицо так и сияло удалью. Расстегнутый ворот грубой домотканой рубахи открывал богатырскую грудь.

— Марьюшка! Милая моя! Любушка!

Ночь дышала пряным запахом тмина. В бледном июньском небе серебрилась звездная россыпь. Ни один листочек не шевелился на калине. В тишине этой теплой ночи, казалось, слышалось биение их сердец.

— Как же дальше-то, Алеша? Ну, как не отдадут меня за тебя замуж?

— Зато я тебя никому не отдам. Ты мне жизни дороже. Не отдадут родители — убёгом справим свадьбу.

— Ой, что ты! Как можно?..

Не знал Пимен Карпович про такие беседы. Попотчевал бы он любимую дочь ременными вожжами. Семья была строгая. Дети из воли родительской не выходили. Жена и та на всякое дело спрашивалась.

В эту ночь Анне Трофимовне не спалось. Походила по избе. Тоскливо стало, да и душно. Подумала: светать скоро будет. Вышла в огород полить капусту и видит: стоит дочь возле тына, а напротив Алешка.

— Марья! — крикнула не своим голосом.

Марьюшка вспорхнула, как птаха. Подбежала к матери и стоит, не дышит. Алешка — скорее давай бог ноги.

— Пойдем! — сурово сказала мать, отвела дочь в завозню и отодрала за косы.

— Вот тебе! Вот тебе! До какого сраму ты нас довести хочешь? Говори спасибо, что отец еще не знает.



Он тебя, самовольную, до полусмерти бы избил.  
— Мамонька, не буду! — причитала Марьюшка.  
А на другую ночь опять стояла на прежнем месте.

Погожим летним днем пришел Евдоким в Казань. Пустыри, следы пожарища, черные обгорелые трубы. Что за притча? Остановился уральский плотник перед новым домом, любуется: дерево не уральское, похоже на дуб, бревна сложены в лапу, ворота шатровые, распахнуты — две тройки враз въедут. И ставен на окнах нет, стало быть, не берегутся.

— Чего рот разинул? — раздался за спиной насмешливый голос.

Оглянулся Евдоким: стоит перед ним его однолеток, запон кожаный, весь в пятнах, лицо бледное, нездоровое, сразу видать, не на легкой работе.

— Первый раз в вашем городе, вот и дивуюсь.

— Чему дивиться: не для нас такие хоромы строены.

— И то правда.

Идут, беседуют.

— Дальний?

— С сибирской стороны.

— Далеко ушел.

— Далеко. За правдой иду.

Засмеялся мастеровой. Показал на подвал, из которого тянуло едким запахом дубленых кож:

— Вон она, наша правда. Лучше не найдешь.

— А что это у вас, никак, полгорода выгорело?

— Было дело.

— Давно?

— Да лет боле тридцати. Когда, слышь, Пугач воевал Казань, тогда и город выгорел.

— Вон оно что...

Мастеровой спустился в подвал, а Евдоким направился дальше...

Старая Казань открылась перед ним с церквями и мечетями, с лавками и трактирами. На рынке Евдоким купил пшеничного хлеба да квасу, подсчитал, хватит ли на дальний путь. В Сергах получил он сто рублей ассигнациями, да Пысин в Лаишеве выдал договоренную плату — пятнадцать рублей.

Решил Евдоким отдохнуть на постоялом дворе.



Хозяин, мужик с сердитым заспанным лицом, прежде всего потребовал документ. Евдоким вынул из-за пазухи увольнительный билет, добытый старцем Анисифором. Хозяин повертел бумагу в руках и подмигнул:

— Печать-то своедельная?

Как будто холодной водой окатили, испугался Евдоким. В полицию идти за пропиской не решился. Так и не пришлось отдохнуть в Казани. Побрел с постоянного двора, а куда — и сам не знает. На площади у магистрата увидал густую толпу. Подошел поближе. Посередине площади возвышался помост. На помосте стояли трое: чиновник в треуголке с бумагой в руках, палач с кнутом и осужденный в ручных и ножных кандалах. Чиновник читал, но так буторовато, что долетали только отдельные слова.

— Кого это наказывают?

— Фабричного, суконщика, за побег.

Выходило одно к одному. Евдоким круто повернулся и стал пробираться через толпу подальше от страшного места. Собственная судьба предстала ему в образе этого осужденного.

Третью неделю пробирался Евдоким в глубь России. Все здесь казалось новым: вместо гор с шиханами на вершинах поднимались невысокие холмы, вместо непроходимых урманов с пихтачом да ельником — веселые лиственные рощи, поля с зацветавшей рожью, вместо заводов с дымом и шумом тут и там виднелись соломенные крыши деревенских изб, а из гущины сада выглядывал дом с колоннами, с мезонином — барская усадьба.

Не слышать стало знакомого позвякивания железа, не курили в небо фабричные трубы, не тянулись по дорогам угольные обозы. Крестьянская Россия, страна хлеборобов, на сотни верст простиралась перед Евдокимом.

Дошел до Нижнего Новгорода. Старый русский город удивил его шумом торговли, каменными особняками, утопавшими в зелени садов. На высокой горе над Волгой красовались зубчатые стены кремля, древние башни с бойницами.

За Окой строили балаганы для всероссийского торжища — Макарьевской ярмарки. Глянул кругом — аж дух захватило. Вот где раздолье-то! Далеко видать, как плывут по Волге коломенки и широкогрудые бе-



ляны. Флаги на них реют. Парусные суда идут под ветром. Блестит вода. По склону горы белым цветом цветут яблоневые сады. А в небесной синеве бегут облака. Все полно жизни, все в работе: и люди, и земля, и вода.

Спустился Евдоким и сразу попал на многолюдные торговые улицы, к волжским богатым пристаням. Сплошным потоком двигались по дороге обозы с товарами. Над торговыми рядами, над харчевнями, над пестрой толпой стоял неумолкаемый гомон. Кричали подводчики, торговцы зазывали покупателей, пели духовные стихи нищие. Вдоль реки, где шла разгрузка барок, штабелями лежали кули с солью, мешки с мукой, а поодаль — склады с железом.

Захваченный людским потоком, выбрался Евдоким на берег. Грузчики с напряженными потными лицами сбегали по сходням с мешками на спине. Доски, протянутые с берега на барку, качались. Подошел Евдоким к десятнику.

— Найми на разгрузку.

Тот оглядел его с ног до головы. Видит: мужик ладный и, надо полагать, проворный.

— Становись. Бери заспинник.

— Сколь положишь?

— По работе и плата будет. Может, не сдюжишь.

Крепок был Евдоким, а как положил на спину пятерик, только крикнул. Отвык от тяжелой работы за время утечки с завода. Товарищи по разгрузке помогли советом.

— Нагибайся пуще — легче нести будет.

— Под ноги гляди: доска узкая. Давеча один в Волгу свалился.

— Не робей, парень!

Евдоким пошел со своей ношей по качающейся доске. Внизу, сажений на пять в глубину, катилась, шевеля короткими волнами, река. Голова кружилась при взгляде вниз. Тут тебе одно неверное движение — и конец.

Так продолжалось до вечера: взбегай по сходням, подставляй спину и, боясь, как бы не свалиться, натужно спускайся на берег, где тянутся груды мешков, тюков, ящичков с товарами. А барки подплывали одна за другой.

Крепко умаялся Евдоким. Давно не работал так.



Среди простых людей, таких же, как те, каких знал на горных заводах, он чувствовал себя точно в родной семье.

Бурлаки всей артелью расположились на берегу. В котле варилась уха, и запах ее щекотал ноздри.

Ночь спускалась над Волгой, над притихшим городом. В темноте ласково шуршали волны, слизывая ракушки и щебень. Весь берег светился огоньками костров. Лунная дорожка бежала вдоль реки, переливаясь серебром.

Ночевал Евдоким с бурлаками на берегу Волги под лепет волн.

Проснулся утром, в плечах ломота, а хотелось еще поработать. Да и деньги нужны: ведь путь не ближний, кто его знает, сколько еще времени пройдет, пока все устроится.

— Ну, как? Пойдешь с артелью? Слух есть, с Камы ночью караван приплыл.

— Пойдем!

У пристани стояла барка, за ней — другая, третья. Как только глянул Евдоким на сложенные в пары длинные листы, так и дрогнуло сердце: вот они, родные! Сразу вспомнился Верх-Нейвинский завод и дощатая фабрика, где стоит его плющильная машина.

С барки спускались сплавщики. Один из них остановился возле Евдокима.

— Никак Бобылев?

Евдоким глянул и узнал одного из заводских служителей Верх-Нейвинского завода.

Они смотрели друг на друга, изумленные неожиданностью встречи.

Первым опомнился Евдоким. Понял опасность своего положения и щукой нырнул в толпу.

— Постой! Постой! — кричал служитель. — Братцы, держите беглого! Ловите его!

Но беглого и след простыл.

Евдоким подходил к Москве. От Нижнего до Коврова взял его за обережного поп. Любопытствовал, кто такой да откуда. Евдоким язык особенно не распускал.

— Такой же, как все, раб божий, обшит рогожей.

В дороге застала их гроза. Туча закрыла солнце. Пахнуло свежестью. Ветер пробежал по траве, согнул



верхушки придорожных ив. Грянул гром. Молния сверкнула. Поп крестится, и Евдоким крестится. Пронесло тучу — поп на Евдокима ястребом:

— Ты по-каковски крестишься, еретик?

— Не все ли тебе равно, отче?

— Да ведь ты иноверец! Кабы знал, что ты не нашей веры, не поехал бы с тобой...

— Ну и поезжай один!

Поп было на попятный, но уговорить осторожного так и не смог.

Зато от Коврова попались хорошие попутчики — старичок коновал да трое крестьян оброчных. Дорогой разговорились. Мужики хвалили коновала:

— Он у нас знахарь. В одном дворе лошадь уросливая никак из ворот не шла. Митрич подошел к ней, потрепал по холке, сказал только: «Не балуй», и лошадь смирехонько вышла из ворот. Вот он каков, наш дедушка.

Митрич усмехался. Был он костист, в плечах широк, а глаза как шилья. И впрямь — знахарь!

— Куда, добрый молодец, путь держишь?

— В Москву иду, к барину, заступы да правды искать, — отвечал Евдоким.

Прищурил старик свои ведовские глаза:

— Слушай-ка, молодец. Мне еще дед-покойник сказывал: правда наша мужицкая на дне окиян-моря в сундуке за семью печатями схоронена. Вот как море-окиян высохнет, тогда и правда объявится. А схоронили ее бояре, да дворяне, да приказные — крапивное семя.

— Выходит, вовек не дожидаться правды?

— Про это не спрашивай — не знаю.

Чем ближе подходили они к Москве, тем больше попадалось людей всякого звания и ремесла. Шли степенные плотники-костромичи, мастеровые с ярославских мануфактур, бойкие вязниковцы-офени, владимирские огородники. Но больше всего брело нищих. Иногда по усаженной березами дороге проносилась фельдъегерская тройка или медленно катилась помещичья колымага с форейтором впереди.

— Вот кому райская-то жизнь, — подмигивал Митрич. — Эти неправдой и одеты и обуты.

Москва раскинулась за Дорогомиловской заставой на десятки верст. Сроду не видал Евдоким такого мно-



голюдства. У древних церквей и часовен толпились нищие и калеки. Монахи с лицами разбойников гнусавыми голосами просили на построение храмов. Юркий лавочник зазывал покупателей:

— Господа честные, покупатели дорогие! К нам в лавку покорно просим. Есть у нас атласы, и канифасы, и всякие дамские припасы. Шелка и батисты — дешево и чисто. Никакого изъяну, продаем без обману. Сдачи не сдаем, мелких не берем...

— Сбитню кому? Сбитень горячий пьют подьячи! Сбитень-сбитенек пьет щеголек!

— Олады, пряженики!

— Яблоки моченые!

У Евдокима от этого крика в ушах зазвенело и голова закружилась. Скорей бы до места добраться. У кого ни спросит, никто не знает, где дом барина Яковлева. Один приказный посоветовал идти на Тверскую.

— Там самые богатые живут. Там тебе и скажут.

И впрямь, на Тверской отыскался яковлевский дом, каменный, с мезонином. Перед домом — плац для воинского учения. Насупротив — губернаторский дворец.

Постучал Евдоким в литые чугунные ворота, а про себя подумал: «Непременно изделие с наших заводов». Отворил молодой человек в ливрее с тумпасовыми пуговицами, голубоглазый, светловолосый, скуластый. Лицо бледное — не то барин, не то служитель.

— Откудова ты, прохожий?

— Из Верх-Нейвинска я... С горного завода... К барину у меня докука.

— Опоздал, земляк. Барин в Питер уехал. Там он теперь и живет.

— Вот беда-то!

У Евдокима аж ноги подкосились. Столько прошел и водой и сушей, да еще без малого столько же остается топать. Земляк, открывший ворота, пожалел его.

— Верно, устал с дороги? Отдохни у меня в каморке. Я ведь из ваших же краев. Зовут меня Поликарп Голдобин.

— А меня — Евдоким Бобылев.

— Ну вот, значит, и познакомились.

Привел Голдобин Евдокима во флигелек. Во флигельке висели по стенам картины: на одной цветы написаны, на другой голые мальчишки с крылышками.



— Сам малировал?

— Сам. Одни по господскому приказу, другие по собственному домыслу.

Евдоким с ног валился от усталости, как прилег на постель, так и проспал до утра. На другой день в баню сходил, попарился, сапоги починил, стал собираться в путь-дорогу в Питер.

— А билет у тебя есть? — спросил Голдобин.

Евдоким показал свое письменное свидетельство. Земляк почитал и головой покачал:

— Эх ты, простота! Билет твой давно просрочен. С ним ты как раз в острог угодишь. Попытаюсь тебе выправить бумагу, у меня тут есть один канцелярист знакомый. Не унывай — уладим как-нибудь. А до Питера всего лучше поезжай с попутным на долгих.

Поликарп слово сдержал: и бумагу выправил, и провизии дал на дорогу, и попутчика нашел до Питера.

Попутчик оказался себе на уме.

— Дело подождет, торопиться не будем.

Доехал до Тверской-Ямской, вспомнил, что тут кум живет.

— Завернем. От рынка недалеко, ситного да яиц на дорогу надо купить. Погостим до вечера.

— Экой ты какой! — ворчал Евдоким. Но ничего не мог поделать: не свой воз, не своя и воля. Заехали к куму. Кум тотчас побежал за водкой.

Выехать удалось лишь на следующий день, и то вечером.

Вот уже неделя миновала, как попал Евдоким в господский дом в Петербурге. Никак не мог добиться аудиенции у господина Яковлева. Подал в его домашнюю канцелярию жалобу на приказчика и тут же о своем плане построить огнедействующую машину написал. В людской над ним посмеялись.

— Понесла нелегкая за тысячу верст на барина глядеть, мы в одном доме живем, да и то редко его видим.

Оказалось, барин уехал охотиться в имение к приятелю. Вместо него остался немец — управитель канцелярии. Через неделю вызвал он Евдокима:

— Ты писал шалоб?



Немец вынул из кармана золоченую табакерку, понюхал, прочихался и сказал:

— Твой шалоб пошлем в главную контору Верх-Исетских горных заводов... А план машины где?

— При себе не имею, но, если потребно будет, могу составить чертежи машин для дощатого действия.

У немца глаза бледно-голубые, лицо кислое.

— Надо испытать тебя. Ти — плут.

Обиделся Евдоким:

— Ежели не верите, испытайте. Могу в натуре заводское действие описать.

Немец молчал, перечитывая написанное Евдокимом.

— Вы, может, сомневаетесь, ваша милость, а я обдумал все касательно устройства машины. Великая польза будет от нее. Я мыслю такое приспособление сделать, чтобы прокатывать листов вдвое-втрое боле против прежнего.

— Ты писалъ, что прокат дольги листа — твоя изобретень?

— Да, ваша милость, я построил эту машину.

Немец смерил Евдокима с головы до ног насмешливым взглядом.

— Не понимайт, не понимайт... Простой плотник и — изобретень... Не понимайт.

— Чего ж тут не понимать? — начал сердиться Евдоким. — Была бы голова на плечах — до всего дойти способно. А планов я с собой не прихватил по крайней причине: всяко пробирался до Питера: где водой, где на коне, где пеший. Велите начертить план, поглядите мое искусство.

— Ты можешь с натуры писать чертеж? Понимайт?

— Как не понять? Погляжу на машину, сразу увижу, что к чему в ней. Не шибко хитрое дело. Коли не уверяетесь, заставьте написать чертеж с моей машины.

Евдокиму хотелось, чтобы этот неприятный человек, весь какой-то бесцветный, с блеклыми, точно пустыми глазами, поверил, что перед ним не обманщик, не плут, а мастер, знающий дело.

Немец пожевал губами, поглядел в потолок и сделал неожиданное предложение Евдокиму:

— Пойдешь на английский завод Берда и снимешь планы машины. Только не попадайся. Я нишего не



зналь... Ступай! Твой шалоб я передам господину Яковлеву.

Поведал Евдоким в людской о задаче, какую задал немец. Один из дворовых направил его на Охту к старому мастеру, который у Берда долго работал. Нашел Евдоким мастера, и тот ему про все заводское действо рассказал. Подивился Евдоким:

— Так чем же знамениты эти заводы?

— Да тем, что аглицкие,— отвечал мастер.

— Стало быть, так. Ведь то, что есть у Берда, я могу сам собственными руками довести до практики: и винторезную, и плющильную, и гладильную машины, а паче всего — паровую...

Захотелось все же самому поглядеть. Упросил старика сводить его на завод. Тот согласился. Здесь Евдоким в натуре убедился, что заводское устройство налажено у Берда толково. Видел он и машины разных родов действия и подумал про себя: «Все это и у нас на горных заводах есть, а которые и изготовить можно не хуже».

Ходил Евдоким по Петербургу, дивился на каменные его строения, думал: кто создал эти прекрасные дворцы? И отвечал сам себе: нашими руками сложено. Вот такие же каменщики и плотники, как он, трудились над тем, чтобы воздвигнуть стены, перекинуть стропила, вывести колонны с золочеными завитками вверху.

Многое перевидал он в Питере, но то, что увидел на Галерной гавани, запомнилось по-особому.

Видел, как отходили от причала корабли. Стройный трехмачтовый корвет поднял паруса, просоленные ветрами всех морей. Туго надуваясь, точно светились они в лучах заходящего солнца. Корабль поворачивал под ветром корму. Матросы бойко взбегали по веревочным лестницам. Флаг с андреевским крестом трепетал на мачте. Шумело море, и волны взбегали на гранитный берег.

«Какая сила! — подумал Евдоким. — Что, если эту силу заставить работать не только на воде, но и на суше, на железных заводах... Если построить воздушную машину, чтобы ветром работала?»

Белые крылья парусов становились все меньше и меньше. Евдоким стоял в раздумье.

Вдоль мостовой, взявшись за руки, прошла ватага



моряков. Они разговаривали на непонятном языке. Увидав Евдокима, один из них кивнул в его сторону и сказал что-то, остальные засмеялись.

— Смейтесь, смейтесь,— бросил им вдогонку уральский мастеровой.— Посмеемся и мы когда-нибудь над вами.

На другой день немец вызвал его к себе. Спросил, что он видел на заводе Берда. Евдоким ответил, что был на заводе, но чертежей не делал, и добавил, что такие машины, и даже лучше, есть на уральских горных заводах.

— Глупый голова.

— Я не лазутчик. На что нам чужое, у нас своего хватит... А чего нет, то сработаем.

— Мольшать, канайль! — заверещал немец.— Ступай вон!

Однако билет в конторе выписали и отправили Евдокима в Верх-Нейвинск. Не хотелось возвращаться ни с чем. Но барин так загостился, что пришлось не солоно хлебавши отправляться восвояси. В конторе же узнал Евдоким, что в Верх-Нейвинск новый управитель назначен, и снова надежда окрылила его. Решил он поведать свои планы новому приказчику, не знал еще, что это за человек.

Много терпели верхнейвинские мастеровые от Левитского, но и тот показался им милостивым после того, как приехал Савва Зотов. Скоро узнали они лютый норов нового управителя.

Савва на фабрики ходил не иначе, как с толстой кишкой, набитой песком, и «штрафовал» собственноручно.

— Ни старому, ни малому покою не дает,— жаловались работные люди.— Увидит, ежели кто худо шевелится, примется хлестать, до полусмерти застегает.

Некоторые из страха и малодушия доходили до последней степени унижения. Кузнец Сарафанов даже петухом петъ выучился. Заходит Зотов в кузню:

— Эй, Сарафанов! Покажи петуха.

Сарафанов выскакивает на наковальню, хлопает руками по бедрам и кукарекает. Зотов ухмыляется, а рабочие над тем же Сарафановым смеются:

— погоди, оциплет тебя Савва на варево.



Особенно не жаловал новый управитель тех, в ком замечал вольный дух и строптивость. Таким от него житья не было. В первую очередь вызвал он в контору Пимена Бобылева.

— Сказывай, где сын?

— Не знаю, ваша милость. Я в его деле не причинен.

Зло глянул на него приказчик:

— Врешь! погоди, доберусь я до тебя. Весь род ваш выведу.

— А это уж как бог позволит, господин управитель.

Тот побагровел.

— Взять его!

Трое суток просидел Пимен Карпович в кандалах на хлебе да на воде в заводской «чижовке».

Осень пришла, холодная уральская осень. Пруд потемнел, низко поползли дождевые тяжелые тучи. С придорожных берез облетали желтые листья и, медленно кружась, ложились на сырую землю.

Настасья со свекровью и золовкой убирала в огороде овощи. Хотелось управиться засветло. Пимен Карпович приехал с рудника усталый. Распряг лошадь и крикнул:

— Эй, бабы! Давайте ужинать.

Едва успела Анна Трофимовна налить большую деревянную чашку горячей похлебки, как кто-то брякнул в слуховое окошко. Приоткрыл Пимен задвижку. Видит: стоит человек с котомкой за плечами.

— Мать, подай-ка милостыню!

— Тятенька! Иль ты меня не узнаешь? Я ведь Евдоким.

Настасья с криком выскочила из-за стола, у матери руки затряслись. Пимен Карпович перекрестился.

Худой, изнуренный, грязный, весь в лохмотьях, вошел сын в избу и пал в ноги отцу и матери.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Отколы грозы, оттолы и ведро.*

*Пословица*

— Как живете, дружки? — спрашивал Евдоким Нестера и Прохора, которые, узнав о его возвращении, зашли к Бобылевым прямо с работы.

— Живем, как заяц под бороной, — ответил Прохор с обычной своей ухмылкой, и нельзя было понять, шутит он или не шутит. — Слышал про сысертскую-то заваруху?

— Ничего не слышал.

— Мастеровые не слушаются нарядчиков, не выходят на работу в отмененные гулевые дни.

— Да что ты? Вот молодцы! И дружно стоят?

— Как один... Вся округа турчаниновская — четыре завода... Кажи, говорят, царскую бумагу, а ее-то и нет.

— У нас-то, наверно, по-прежнему?

Прохор только рукой махнул.

— Каков новый-то приказчик?

— Такого злодея еще не видывали.

Задумался Евдоким: ведь приказчика не обойти, не объехать, надо ответ держать за самовольную утечку.

— Что делать думаешь? — спросил Нестер.

— Задумал я одно большое дело. Не знаю, как только на него начальство посмотрит. Хочу устроить паровую машину, какие уже на прочих заводах строятся, только с приспособлением для действия дощатых фабрик. Это будет не в пример лучше водяного колеса.

Нестер ничего не сказал, а Прохор хлопнул друга по плечу:

— Люблю таких: встал на свою дорогу и идет по ней прямоком. Валяй, Евдоким, покажи всему свету, чего рабочий человек достигнуть может.

Евдоким на свой риск и страх взялся за сооружение паровой огнедействующей машины, с тем чтобы приспособить ее к дощатому производству.



В задней избе, где он жил с Настасьей, зашумела настоящая мастерская. Пошел в ход токарный станок, завизжала слесарная пила, заработали и циркуль, и молотки, и клещи, и коловоротные трубки. При свете сальной свечи, уставший после десятичасовой смены, принимался мастер за любимое дело.

Жена с тревогой замечала, как он день ото дня худеет.

— Совсем ты замучил себя...

— Мне бы только модель показать в действии. Сказывал приказчику — разрешил. Только, говорит, от работы в меховой освобождения тебе не будет.

Благодаря тому, что Евдоким показал себя знающим и опытным механиком, сошла ему с рук и длительная отлучка. Все же заставил его Савва Зотов дать обещание «не чинить никакого вреда заводам». Это обещание Евдоким дал в присутствии «лучших» людей: уставщиков, надзирателей, конторских служителей. Тут же, для пущей крепости, присутствовал и поп, купленный кержацкой общиной на Иргизе за тысячу целковых. Он стоял с крестом и евангелием, в черной рясе, лохматый и страшный.

— Никакого дурна я заводам не чинил и впредь не собираюсь чинить, — говорил Евдоким.

— Крест целуй, — буркнул Зотов.

Холодными губами приложился Евдоким к холодному распятию, и предчувствие грядущих тяжких испытаний шевельнулось в нем. К чему понадобилось это представление? Разве затем только, чтобы унижить его?

Приказчик взглянул на него со злобной усмешкой:

— Будет хоть одна провинка — не взыщи... Ступай!

К предприятию Евдокима он отнесся с полным равнодушием, препятствовать не стал, зато и поощрением не одобрил. Спасибо, мастеровые помогли. Слух об «огненной машине» быстро распространился по заводу. Стали заходить из разных фабрик, интересоваться моделью. Евдоким объяснил, где должен поместиться цилиндр, как будут действовать поршень и шатун, как маховое колесо приведет в действие деревянные штанги.

— Думаю я, что изобретение это намного облегчит наш труд.



— Доброе дело замыслил,— одобрили мастера-вые.— Не требуется ли чем помочь?

И помогали по своему разумению: кто шайбочку выточит, кто винтик нарежет, кто трубку спаяет, а кто и свой инструмент принесет.

Всю зиму изготовлял Евдоким модель «огненной машины». Когда стало тепло и стоял снег, он перенес мастерскую в ограду. Чем ближе подходило дело к концу, тем больше одолевало его беспокойство. Все, что требовалось по чертежу, было подогнано, как говорится, впритирку. Перед окончательным опробованием пригласил он Нестера, Прохора и старика Крякунова из меховой фабрики.

Модель вынесли в огород. Котел наполнили водой, разожгли в камере огонь, и мастер начал объяснять устройство механизмов и способ действия машины. Вода быстро нагрелась. Пришли в движение поршни, и маховое колесо закружилось, сначала медленно, затем все быстрее. Крякунов снял шапку и перекрестился:

— В добрый час, Евдоким Пименович!

Крепко обнял и поцеловал изобретателя. Нестер и Прохор жали ему руки, поздравляли с успехом.

— Ежели твою машину поставить на фабриках, тогда и водяных колес не надо... А как же! Пар— такая сила, что работа в десять раз быстрее пойдет.

— Тогда все перестраивать придется: и домны, и кричню, и дощатые фабрики...

— Обязательно придется.

— А пойдут на это дело господа-завододержатели? — спросил Нестер, и все задумались.

«Все равно не отступлю!» — решил Евдоким и в тот же день доложил Зотову, что модель к опробованию готова.

— Когда изволите осмотреть?

— В воскресенье,— отрывисто бросил Савва Федотыч, даже не удостоив изобретателя взглядом.

В воскресенье перед конторой снова собрались «лучшие» люди. Зотов дал знак, и опробование началось. Когда маховое колесо зашевелилось и принялось отсчитывать обороты, старики запереглядывались, дивясь невиданной работе «огненной машины». Все ждали, что скажет управитель, но он молчал. Расходчик



Кондратьев и плотинный Яргин стали осматривать механизмы. Кондратьев дал свое заключение.

— Это всего лишь фокус. Практической пользы нет и быть не может.

Яргин с ним согласился:

— От паровой машины и на сибирских заводах отказались за ненужностью...

В полном душевном смятении пришел Евдоким домой. Настасья едва взглянула на мужа, как сразу поняла, что произошло несчастье. Ни слова не сказав, Евдоким молча опустил на скамью и закрыл лицо руками.

Как-то в воскресный день пришли к Евдокиму друзья детства — Нестер Пузанов и Прохор Чулошников. Невеселый был разговор.

— Чем помочь тебе? — спрашивает Прохор.

— Ничем ты мне не поможешь. Душа болит.

— У кого не болит душа и тело от зотовского самоуправства, — вставил Нестер, — всем солоно приходится.

— Одного я в толк не возьму, — сказал Прохор, — как начальство пользы понять не хочет.

— Начальство рассуждает так, — ответил Нестер, — народу хватает, и розог достаточно. Никакие приспособления не нужны. Работные люди все сделают, что приказано будет.

— Все-таки я своего намерения не оставлю, — сквозь зубы ответил Евдоким. — Что делать, братки, посоветуйте? По рукам и ногам связали.

— Пиши в Петербург жалобу, — сказал Прохор.

И Евдоким решил написать господину Яковлеву. Он писал о том, как «сочинил план огнедышащей паровой машины, коей в Сибири на слыху нет». Жаловался на приказчика: «Савва Зотов делает мне прижимки необычайными работами, в которых я с малолетства не был... Достоинства таланта моего закрывает... Расстроил ум мой в разные стороны...» Писал и думал уже не об одном себе, а и об остальных работных людях, страждущих от несправедливой власти: «Напустил на нас бог рыкающего зверя... Нет нам, бедным людям, защиты от злодейства. Изнуренные непосильными тяготами, просим заступиться за нас милосердия ради и вывести из доли плачевной». В конце письма про-



сил Евдоким перевести его на Холуницкие вятские заводы. Новое происшествие неожиданно перевернуло его жизнь.

Случилось это накануне праздника Николы зимнего. В доме Бобылевых жарко топилась печь. Каждый был занят своим делом. Пимен Карпович сидел на чурбаке с шилом и дратвой, чинил сбрую. Евдоким при свете сальной свечи вычерчивал план подъемного сооружения к домне. Анна Трофимовна готовила ужин. Настасья замешивала болтушку корове. Марьюшка рубила в корыте капусту — хотелось завтрашний праздник встретить по обычаю пельменями и пирогами.

За окнами трещали никольские морозы, а здесь, в избе, сложенной из кондовых бревен, было тепло.

Пимен Карпович встал с чурбака, с хрустом потянулся, кинул сбрую на голбец. Покопался на Евдокимову работу.

— Вот нейдет человеку!

Анна Трофимовна вздохнула:

— Сегодня Пронюшку во сне видела, будто идет он по полянке в рубашке белой, новенькой, а сам такой веселый, и будто он годов этак десяти, не боле... К чему бы это?

— Поди, отмаялся наш Прокопий, — угрюмо отзывался Пимен Карпович: воспоминание о большаке всегда повергало его в печаль.

В этот момент раздался стук в ворота.

— Кого это несет в такую позднюю пору?

Евдокима точно кто в сердце кольнул. Надел тулуп и вышел к воротам.

— Кто там?

— Пусти, Евдоким Пименович, переночевать. Мы твои знакомцы из Нижних Серег.

Отворил ворота Евдоким. Глядит: плотинный Морозов и с ним заводской служитель Щипанов.

— Милости прошу.

— Едем в Невьянск покупать вачеги, да студено шибко, презнобились оба...

— Проходите в избу, обогрейтесь.

Зашли гости, разболوکлись, сели за стол, и потекла беседа.

— Есть ли в Сергах действо по моим планам? — спросил Евдоким.



— Есть,— отвечал Терентий Петрович,— только винты еще высекаем зубилом. По твоей модели никак дойти не можем. Валки точим на старой машине.

«Не к рукам добро»,— подумал Евдоким.

— А каково у вас в печах?

— Железо очень твердо и гореловато в обоих сводах, и горновой камень плох.

— Здесь у нас сыскан камень мягкий, а у вас, видно, такого нету... Много ли колосников друг за дружкой кладете?

— Вершков по пять, а то по шесть.

— Оттого у вас и печь портится. Кладите чаще — по четверти и ближе. А какие дрова у вас жгутся?

— По большей части ельник.

— Опять же худо. От таких дров одно помешательство. Топите сосной. Да еще надобно, чтобы вся печь была пола, тогда и гореть будет жарче.

Тут Евдоким показал гостям план своей огнедышащей машины. Морозов поглядел, подивился, но взять отказался:

— Это нам не нужно. Нам надобно дощатое действие узнать, самим поглядеть, как здесь у вас, в Верх-Нейвинске, катают долгие листы... Чтобы в натуре, значит...

«Так вот вы за какими вачегами приехали»,— догадался Евдоким и заявил напрямик:

— От меня вам в этом помощи не будет.

— Жалко. Мы на тебя-то и надеялись. Думали, не забыл старую хлеб-соль. Ну, да уж как-нибудь сами справимся. В николин день станут мастеровые пировать, между хмельным случаем и разузнаем, что надо. Вот кабы в самой дощатой фабрике досмотреть...

— Меня в это дело не путайте. Одно скажу: худое вы задумали и не надобно бы вам за этим ехать.

Ничего не ответил Морозов, но заметно стало, что не по нутру ему пришелся Евдокимов отказ. На том и разговор осекся.

Постелили гостям на полатах, и вскоре тихо стало в избе. Только тараканы шуршали в щелях да мышь скреблась под полом.

Утром раным-рано проснулись приезжие и пошли прямо на дощатую фабрику. Очень уж хотелось выведать секрет производства листового железа. Уставщик заметил незнакомых людей.



— Кто такие? Убирайтесь отсюда вон! Вам дела здесь нет.

Отправились нижнесергинцы ни с чем. Но затеи своей не оставили. Спрятались под мост, чтобы выждать случая снова попасть на фабрику.

На их беду в ту пору мимо проходил заводской пристав. Заметил, как двое незнакомых людей скрылись под мостом, и пошел за ними.

— Что за люди? Показывайте документы!

Пришлось показать свидетельства, выданные нижнесергинской конторой.

— Зачем приехали в Верх-Нейвинск, ежели путь вам указан в Невьянск? От кого прятались?

Сказать было нечего. Потащил их пристав в контору. По случаю праздника в конторе занятий не производилось. Один каморник сидел и скучал от безделья. Ему и сдал пристав нижнесергинцев, а сам отправился доложить управителю. Савва Федотыч в ту пору принимал гостей. Из Невьянска приехали два его шурина, торговцы Богомолеры. Сидели они в светлой горнице за пьяным столом. Все трое были уже навеселе.

Пристав поздоровался и — с места в карьер:

— Поймал двух татей...

Савва рукой махнул:

— Сперва выпей анисовки, а потом докладывай.

— С праздником!

Опрокинул пристав полную чарку и стал рассказывать о том, как выследил нижнесергинских заводских служителей, кои с неизвестной целью остановились в Верх-Нейвинске.

— Цель известна, — сказал Савва, — вывести секреты заводского действия.

Лицо его начало багроветь, ноздри раздулись.

— А ну, пойдем все, поглядим, что за птицы прилетели к нам из Нижних Серег...

И поднялся из-за стола, уже налитый яростью, за ним встали и гости. Наскоро надев шубы, поспешили к конторе. Каморник отворил полутемную «чижовку».

Морозов и Щипанов оробели, увидав хмельных.

— Ну-ка, гости дорогие, птахи залетные! Сказывайте, с чем пожаловали: с добром али с худом?..

Били без пощады, стервенея все больше и больше. Один из Богомолеров наконец опомнился:



— Кажись, не дышит... Как бы в ответе не быть?  
Савва распорядился:

— Заковать обоих в ножные, самые тяжкие, кандалы и посадить на цепь. Хлебом не кормить.

На другой день, когда Савва пришел в контору, каморник доложил:

— Ваше степенство! Морозов в жизни своей отбиться стал опасен... Какова будет твоя воля?

— Сдохнет — похороним. Тащи обоих сюда!

Приволокли Морозова, потом Щипанова.

— Сказывай, кто у тебя в Верх-Нейвинске заединщик? У кого останавливался?

Терентий Петрович молчал. Лицо его страшно опухло от побоев. Он едва держался на ногах. Начал Зотов его стегать до тех пор, пока тот снова не потерял сознание. Тогда, ничего не добившись, приказчик взялся за Щипанова. Этот, видя, каким мукам подвергся его товарищ, запираяться не стал: рассказал без утайки, как приказчик Шевелев послал их выведать секреты дощатого производства, как они остановились у Бобылева, хотя он к делу их не причастен. Савва Федотыч даже повеселел, услышав про Бобылева. Сейчас же было состряпано дело «о неподлежащем выносу переделе листового железа».

Избитых и израненных нижнесергинских согляда-таев отвезли за пределы Верх-Исетских горных заводов и отпустили с миром на все четыре стороны, а Евдокима заковали в «железа» и определили в меховую фабрику, где обязали работать безотлучно под присмотром плотников Игната Бочкарева и Дмитрия Медовщикова.

Пимен Карпович принес эту печальную новость уже вечером. Мать повалилась без чувств. Марьюшка стала отваживаться с нею. Анна Трофимовна, очнувшись, тихо сказала:

— Не увижу я больше моих сыночков.

Пимен Карпович нахмурился.

— Не говори, чего не след... Всем нам теперь надо ожидать худа. Руки опускать, что ли? Добро, кое получше, к Чулошниковым надо снести... Настасья, Марья! Собирайте, покуда не пришли из конторы...

Настасья вытерла слезы и начала рыться в сундуке, выбирать самое дорогое. Вынула заветную шка-тулку, положила в нее перстенок с яхонтом — память



первого счастливого года их жизни, серьги с подвесками, даренные Евдокимом в день свадьбы, бокальчик серебряный, из которого пили в свадебный вечер. Складывала и Марьюшка свое приданое, а потом обе пошли к Чулошниковым. Прохор встретил их с великой жалостью: знал уже о новой беде, постигшей Евдокима.

— Может, пронесет тучу мороком,— утешал он Настасью.— Ты не унывай, а в случае чего — у меня тебе всегда приют найдется.

— Я... ничего,— отвечала Настасья, глотая слезы.

На обратном пути она забежала на меховую фабрику, а Марьюшка — в кузню.

Увидала Настасья мужа в кандалах и все силы собрала, чтобы не разреветься тут же, при людях.

— Опять на муки идем, Евдоким Пименович.

— Потерпи, Настенька. Сыщется правда. Тебя только жаль. Ты-то ни за что страдаешь!

— Не будем о том говорить. Я с тобой сходилась не мед пить, а радость и горе делить...

Марьюшка возле кузни прощалась с Алешкой:

— Тятенька добро велел прятать — видно, нас заберут.

— Где ты будешь, там и я с тобой,— жарко шептал Алешка.— Нас с тобой одна смерть разлучит.

А в доме Бобылевых тем временем хозяйничали чужие люди. Явился пристав, с ним два полицейских служителя и стали описывать имущество.

Попали в опись и самопрялки, и токарный станок, и кросна, и половики, и тулуп овчинный. Даже засиженную мухами картинку в красках, изображавшую пастушка и пастушку на лугу среди овечек, содрали со стены грубые руки полицейского служителя. Целый воз рухляди нагрузили и отвезли в контору.

Семейство Бобылевых под караулом осталось в пустом доме. Два дня ждали решения своей судьбы. На третий день объявили приказ управителя: выселиться в Саргу.

Последний раз Пимен Карпович усадил своих семейных за широкий сосновый стол. Сколько было за ним передумано, переговорено, сколько горьких и радостных часов пережито! Теперь сидели Бобылевы перед голой столешницей, глядели на голые стены. Пусто было в доме, пусто на душе. Никто не проронил ни слова. Молчал Пимен Карпович, ссутулившись под



бременем неожиданно накатившейся беды. Тяжелей всех переживал он этот час расставания с родным гнездом.

Глянул на бледное лицо жены, на ее потухшие глаза, на сноху и дочь, молча утиравших слезы, и поднялся из-за стола, громадный и страшный в тоске и гнев, и сказал свое последнее слово в родительском доме:

— Жил я по правде, трудился честно. Никакой вины не ведал за собой ни перед богом, ни перед людьми. За что меня гонят из родного гнезда — не знаю. Пусть падет моя обида на гонителей моих. Пусть отмерится им тою же мерою за меня и за невинно угнетенное семейство мое...

Пимен Карпович еще хотел что-то сказать, но клубок подкатил к горлу. Перекрестился и вышел из избы, за ним последовали все его домашние. У ворот ждали дровни. Возле них толпился народ. Сердобольные заводские женки совали, кто что мог: ковригу хлеба, шанег, кусок пирога.

Поглядел еще раз Пимен Карпович на свое опустошенное жилье. Вот бы верей надо сменить, ставни починить — теперь ничего не надо. Как сквозь туман увидел: отворилась калитка у соседнего двора, из нее вышел старый Гамаюн и направился прямо к Пимену Карповичу, снял шапку и поклонился в пояс:

— Не помни зла, сосед... жалею тебя от всего сердца.

— Что ты, что ты, Никанорыч! Я на тебя зла не имею.

И соседи обнялись, забыв, что один из них никонин, а другой — кержак.

— Прощайте, добрые люди! Не поминайте лихом!

— Прощай, Пимен Карпович! Прощай, Анна Трофимовна! Родные вы наши! — голосили бабы, идя за дровнями.

Пимен Карпович неподвижно сидел без шапки. Вот уже родной дом скрылся за поворотом. Вскоре и последние заводские жила потонули в синих сумерках короткого зимнего дня.

Лошадь бежала рысью, визжал под полозьями снег. По обе стороны, как войско, поднимались ели, и верхушки их, точно острия кинжалов, четко выделялись на багряном закатном небе.



В фабричном помещении — темень. Тусклый свет еле пробивается сквозь закуржавелые оконца. Слышно было, как шумит вода в водосливном колесе. Рубанок ширкает вдоль верстака. Кудрявая стружка вьется и вьется без конца.

Работает Евдоким под присмотром своих же товарищей. Вместе с ними выполняет урок, и они же его караулят. Когда кончилась смена, Дмитрий ушел, пришел Игнат. Он остался на ночь и сообщил страшные вести:

— Сказывают, обыск у тебя был. Все подчистую описали и увезли. Домашних сослали в Саргу. А в избе твоей, сказывают, будет жить расходчик Кондратьев.

— Мало издевались надо мной, так еще и семью мою тиранят,— отвечал Евдоким.

— Да уж что говорить, кто первый тать и разбойник, так это и есть Савва Федотыч...

— Он не только тать — он зверя лютее.

— И то правда...

Так в беседе прошел час. Игнат стал зевать. Под конец положил в изголовье чекмень, накрылся тулупом и скоро заснул. Евдокиму не спалось. Обида и гнев не давали ему покоя. Что теперь с его родными? Как они устроятся на жительство в Сарге? Ясно, что Зотов доведет до гибели и его самого и его семейство. Чем ждать конца, не лучше ли еще раз попытать счастья — дойти до барина и рассказать ему обо всем, но прежде надо побывать в Невьянске, попросить денег у тестя, потом — в Саргу.

Дождался Евдоким позднего часа, когда на улицах ни души, достал из шкафа пилку полускорую, подпилил у ножных кандалов соединительный прут и переломил железо. Потом вынул из-под верстака топор, добыл из чашки у каморника кремь, плашку, трут и зубило и вышел из фабрики.

Так и есть: на улице пусто и тихо. Длинные тени лежат на снегу. Луна на ущербе. Перешел Евдоким через Княжой мост, поглядел на свой дом и вышел задами к бане Трофимова-Гамаюна. Здесь, в бане, рубил железа и бросил обломки кандалов в снег.

И снова, как год назад, бежал он зимним путем мимо Староборского рудника, спускался и поднимался с горы на гору. И так же синели снега, и над головой



светились Кичиги, и так же прислушивался чутким ухом, нет ли за плечами погони.

Привезли Пимена Карповича с семьей в Саргу и определили на постой к такому же штрафованному — Никите Гаврилову, по прозвищу Куропан. Избенка у Куропана некорыстная, ворот и тех не поставил бедняк. Баба померла давно, сам работал черноделом, где укажут.

— Кормить-то вас, милые, нечем. Самому не вдосталь.

— Мы с тебя харч не спрашиваем, — ответил Пимен Карпович. — Была бы крыша над головой. Приюти сырых и гонимых.

И рассказал Куропану все свое происшествие. Куропан, маленький, лицо в морщинах, слушает и головой кивает.

— Известно дело. Жизнь наша подневольная. Мертвому позавидуешь.

На другой день пошел Пимен Карпович объявляться в контору. Марьюшка стала проситься:

— Благослови меня, тятенька, на работу.

— Что ты, доченька! На какую работу?

— Да хоть бы на рудничную?

— А по силам будет?

— Справляюсь.

Благословил ее Пимен Карпович. Жалко было провожать любимую дочь на такой тяжелый труд, да ничего не оставалось делать. Анна Трофимовна лежала больная, и у Марьюшки слезы навернулись на глаза, когда прощалась с матерью.

Однажды ночью Настасья разбудила свекра:

— Матушка, знать-то, помирает. Таково устрёмно глядит, и ногти у нее посинели.

Пимен Карпович вскочил с лавки. Грудь умирающей с клокотаньем вздымалась, рука как будто что-то перебирала, глаза смотрели пустым, невидящим взглядом.

— Что с тобой, Трофимовна?

Тусклый взгляд жены остановился на нем. На какое-то мгновение прояснился он, и умирающая выговорила чуть слышно:

— Детоньки мои...



Одно только сильное чувство — чувство материнства — еще теплилось в ней.

— Вот горе-то!

Пимен Карпович взял холодеющую руку жены. Верная подружница покидала его навсегда. Все тише и тише дышала она. Наконец последний вздох вырвался из ее груди. Пимен Карпович закрыл ей глаза и, опустившись на колени перед покойницей, заплакал.

Настасья причитала над недвижным телом све-крови.

Пимен Карпович поднялся на ноги и строго сказал:

— Не реви! Приготовь, что надо, а я пойду гроб ладить.

Только он хотел выйти из избы, как в дверях в клубах морозного пара появился Евдоким.

— Тятенька! Настя! — крикнул он и вдруг увидел покойницу, а в головах у ней смертную свечу. Со стоном повалился к ней на грудь и поцеловал в ледяные губы.

Но тотчас же пришел в себя.

— Я к вам — проститься. Погоня за мной.

Рассказал, как добежал до Невьянска, как тесть одолжил ему семьдесят рублей. На эти деньги купил он на постоялом дворе мерина с дровнями. Благополучно доехал до Серег и здесь, уже подъезжая к заводу, встретил верхневинского заводского служителя Платонова.

— Ты зачем сюда? — спросил он.

— Послан на завод за выправкой о чугуне.

Платонов только усмехнулся в ответ:

— Опять в бега ударился?

Из-за этой встречи пришлось расстаться с родными. Обнял Евдоким жену, попросил благословения у родителя и, поцеловав холодную руку матери, выбежал на улицу, сел на дровни, ударил по лошади и погнал в Бисертъ.

От коня валил пар, когда Евдоким завидел крайние избы Бисертского завода. Где-то надо было спрятаться. Подворотил к первой избе, постучал в ворота. Вышел хозяин, угрюмый, с недобрый взглядом.

— Кто таков?

— Уткинской слободы крестьянин. Послан в ваш завод с выправкой о чугуне. Приюти, добрый человек, коня покормить надо, самому отдохнуть с дороги.



— Оставайся, коли не врешь.

Завел Евдоким лошадь во двор, засыпал в хребтук овса. Видит: хозяин азам на плечи накинул и — за ворота. Хозяйский парнишка забежал во двор.

— Куда тятка пошел?

— В контору.

У Евдокима сердце екнуло. Зачем понадобилось хозяину идти в контору? Недоброе предчувствие шевельнулось в душе. Не иначе как донести хочет, окаянный. Вышел задами в огород и стал ожидать, чем дело кончится. Из огорода виднелась дорога и белевшее вдали каменное здание конторы.

Недолго пришлось ждать. На дороге показались хозяин, а с ним — полицейский служитель. Опрометью кинулся Евдоким по тропинке в соседний огород. Где прятаться? Впереди чернела баня. Подбежал к ней. Ненадежное место для укрытия, да делать нечего: жив смерти боится; залез под полок. Копоть и грязь под полком, дух банный...

Не прошло и часу, как слышались шаги. Евдоким вытащил из кармана нож. Решил сопротивляться из последних сил. А в случае чего дорого продать свою жизнь.

Шаги приближались. Наконец дверь отворилась, и на пороге показалась баба с охапкой дров и лучиной. Положила дрова перед каменкой и стала высекать огонь. Береста затрещала, вспыхнула, короткое пламя осветило баню.

— Не видала ли ты поблизости полицейского служителя? — спросил Евдоким.

Баба охнула и окаменела от страха.

— Ты не бойся. Я тут от погони укрываюсь...

— Чур меня, нечистая сила...

— Тьфу ты! — рассердился Евдоким и вышел из бани. Осмотрелся: никого не видать. Тогда стал выбираться на дорогу. На его счастье, вдоль нее двигался угольный обоз.

— Куда припас везете? — спросил Евдоким у ближнего углевоза.

— В Киргишаны.

— Примите меня в свою команду.

— Поговори со старшим.

Старший, почтенный, длиннобородый старик, дал согласие, и Евдоким вместе с другими побрел за подво-



дой, весь в саже, черный, как арап. Мимо проехал Платонов и даже не взглянул на него.

Киргишанская крепость сохранила еще старые петровские валы и у ворот деревянную рубленую башню с шатровым верхом. Вместе с углевозами миновал Евдоким ворота и поблагодарил своих попутчиков. Добрые попались мужики, не спрашивали, чей да откуда. Старший на прощание посоветовал:

— Коли нужен ночлег, так спроси крестьянина Васева.

Обоз отправился дальше, скрипя полозьями, оставляя на дороге черный угольный след. Постоял Евдоким, поглядел на киргишанские горы, на убогое жительство вокруг, увидел двух мастеровых, спускавшихся в горы, спросил, где живет Васев.

— Это который Дружба?

— Не знаю, мне Васев нужен.

— Так он и есть. Его Никитой зовут, а мы кличем Дружкой. Присловье у него такое...

— Где он живет?

— Эй, Перша! — крикнул один из мастеровых парнишке, лихо скатившемуся на лотке с горки. — Проводи этого человека к отцу.

Перша вскочил с лотка, шмыгнул носом и сказал:

— Айда!

Васев-Дружка жил на отшибе. Пришлось пройти по берегу Киргишанки чуть не с версту. Зато изба стояла высокая, из векового лесу. Человек, открывший ворота, показался Евдокиму совсем не похожим на того, каким должен быть хозяин таких хором: маленького роста, с всклокоченной бородой, хромой, с тонким голосом. Не спросил, кто такой, откуда, по какому делу пришел, — пустил и все.

— Заходи, дружка, разболокайся! Агашка! Собери-ка на стол. Прохожий озяб, да, наверно, и проголодался... Давай живо. Одна нога здесь — другая там.

Он так и сыпал скороговоркой. Агашка, курносая краснощекая девка, достала из печи горшок со щами.

— Садись, дружка! Бери ложку и ешь... Вон тут соль в чашке.

— Мне бы, земляк, переночевать надо.

— Ну, что же, и переночуешь.



Евдоким ел, а в сердце шевелилось чувство горячей благодарности к человеку, которого он видел первый раз в жизни и который, не спрашивая его ни о чем, помогал ему, как брат и друг, без всякой корысти.

— Ты, земляк, не знаешь, кто я таков, а ведь я беглый.

Дружба рассмеялся:

— Да ты еще во двор не зашел, как я уж догадался. Ведь ко мне ежели натакают кого, так только бегляков. Не бойся, дружба, у меня как у Христа за пазухой: живу на юру, уснешь спокойно. Не бойся.

По строгим государственным законам полагалось быть в равном ответе и беглецу и укрывателю, а он же успокаивает: не бойся!

Евдоким рассказал печальную повесть своих злоключений: о лютом Савве Зотове, о нижнесергинских соглядателях, поставивших его чуть не под обух.

— Однако податься мне некуда, кроме как опять же в Нижние Серги. Пойду прямо к плотинному Морозову либо к приказчику Шевелеву. Может, заступятся: я для них много доброго сделал.

— Ой, дружба, можно ли верить таким людям?

— Кому же верить, как не людям?

— Нешто они люди,— послышался сверху голос. С полатей свесилась чья-то кудлатая голова.

Евдоким воспросительно глянул на хозяина. Тот усмехнулся:

— Твоего поля ягода. Второй день у меня спасается. Тоже перелетная птица.

С полатей спустился детина крепкого сложения, видимо недюжинной силы, с лицом веселым и грозным. Подсел к столу.

— Ну, будем знакомы. Я из Уфалея. Хороший завод — с Пугачевым шел.

Чудным и страшным показался Евдокиму новый знакомец: такой, видать, ни перед чем не остановится. Вся повадка разбойничья. Страшные повел он речи о Пугачеве и мужицких мятежах, о том, что надо потрянуть не только горными заводами, но и столицей.

— Всю Расею-матушку перелопатить надо, чтобы не сидели бары на нашей шее...

От таких разговоров у Евдокима голова кругом пошла.

— Ну, брат, и отчаянный ты!..



— Не родился таким, да добрые люди пособили. Может, и тебя до того же доведут.

— Я от своего не отступлюсь, пока не добьюсь правды.

— Правды? У кого ты ищешь правды? У господ? Глупая твоя голова... погоди, они разуют тебе глаза...

— Ну, ты того... полегче,— обиделся Евдоким.

— Ложитесь-ка вы лучше спать, приятели,— предложил хозяин, и собеседники полезли на полати.

На рассвете Евдоким распрощался с гостеприимным хозяином и с новым знакомцем.

— Спасибо за приют. Не знаю, чем отплачу.

— Ничего не надо,— ответил Дружба.— Как ты к людям, так и люди к тебе. Иначе и жить нельзя... Перша! Запрягай Карька, отвезешь человека в Нижние Серги.

А новый знакомец сказал:

— Будь здоров, не обидься за сердитое слово. Дороги наши ныне врозь, а может, и сойдутся когда-нибудь.

— Прощай!..

На душе у Евдокима стало радостно: есть еще на свете добрые люди! Об этом думал Евдоким, слушая скрип саней, увозивших его из Киргишан навстречу слепой судьбе.

Снег выпал за ночь глубокий. Морозное солнечное утро сияло над горами. В глубокой низине по берегам Серги разбежались домишки мастеровых. Надсадно лаяли собаки во дворах. Пусто было в селении. Евдоким заворотил на Нагорную улицу. Плотинный оказался дома. Встретил он старого знакомого не так, как в прошлый раз: верно, помнилось верхнейвинское угощение.

— Опять бежал?

— Опять, Терентий Петрович. За вас страдаю. Дома меня лишили, семью выслали. Сам скитаюсь. Спаси от злодеев.

— Опасное это дело.

— Выручи. Буду тебе и вашему заводу полезен.

— Залезай на полати! Я поговорю в конторе.

Терентий Петрович оделся и вышел. Тревожно стало на душе у Евдокима. Лежа на полатах, думал: видно, и из Нижних Серёг придется бежать. Надо все-таки дождаться Морозова, получить ответ. До самого



вечера лежал он на полатах. Уже хозяйка свечу зажгла, когда слышался стук в дверь.

Несколько человек вошли в избу. Слез Евдоким с полатей, и первый, кого он увидел, оказался верхневинский служитель Платонов, с наглой ухмылкой на румяном молодом лице.

— Велено тебя, Бобылев, доставить в главное управление к Григорию Федотычу Зотову... Слышал о таком?

Контора главного управления Верх-Исетских горных заводов — огромное белое здание на два крыльца, с колоннами у входа — возвышалась над закопченными корпусами фабрик, над широкой и длинной каменной плотиной, над простором озера-пруда, на многие версты тянувшегося гладким снежным полем. Со страхом обходили это красивое и гордое здание мастеровые, особенно когда приказчик Григорий Зотов в возке, запряженном парой вороных, подъезжал к крыльцу.

Из возка вылезал богатырь, в шубе, рослый и плечистый, — бывший кричный мастер из Шуралы, ныне главноуправляющий двенадцатью горными заводами господина Яковлева.

Правитель хотел что-то сказать, но Зотов не стал его слушать.

Вот он вошел в высокое помещение конторы, не глядя на склонившихся в поклоне конторских служителей, поднялся на второй этаж и прошел в кабинет. Никакого убранства не было в этой комнате: стол и кресло — вот и вся мебель. Кинув шубу на руки служителю, Зотов сел в кресло и открыл ящик стола: здесь хранилась переписка с Петербургом, с заводами, с губернатором, с горным правлением.

Много забот у главноуправляющего. Приходится и порядок поддерживать, и перед властями отчитываться. А работные людишки то и дело норовят жалобу послать большому начальству, очернить его, Григория Зотова, перед господином Яковлевым. Правда, пока ничего из этих предприятий не получается, кроме конфуза для жалобщиков.

Мастеровые Смирнов и Маюров самолично повезли жалобу в сенат, в Петербург, но доехали только до



Перми и сейчас сидят в темных подвалах здания главной конторы и не выйдут оттуда. Братья Квашнины теперь сидят в тюрьме и уж, конечно, отведают плетей. Заводской служитель Ярославцев третий год сидит в тюрьме за строптивость и еще просидит столько же.

Нет, не нашлось еще такой силы, чтобы пересилила силу Григория Зотова. «Барину — деньги, мне — власть», — любит говорить он при случае.

Вынув из стола несколько писем, Зотов бегло прочитал их.

Одно было от брата Саввы из Верх-Нейвинска. Он писал о Бобылеве, что тот открыл благоустройство заводских машин по переделу листового железа служителям Нижне-Сергинского господина Губина завода, коим предоставил ночлег в своем доме. По этому письму уже дано было распоряжение: найти Бобылева хоть под землей и доставить в главное управление.

Каждый день Григорий Федотыч спрашивал, не пойман ли бегляк. И на этот раз он, посмотрев письмо, позвонил. Правитель дел тотчас же явился в кабинет.

— Как там с Бобылевым?

— Пойман, ваша милость. Служитель Платонов сегодня в ночь привез его из Нижних Серёг. В ожидании вашего распоряжения...

— Что ж ты мне сразу не сказал?

— Я хотел было, ваша милость, но вы...

— Хотел, хотел! Веди его сюда!

Через несколько минут перед Зотовым в сопровождении двух служителей появился Евдоким. Он старался не показать своего волнения, хотя знал, что ничего хорошего ему ждать не приходится. Зотов молча и гневно разглядывал его.

— Почему выдал тайну заводского производства?

— Не считал и не считаю тайной то, что должно принести общую пользу.

— Почему бежал?

— Считал заключение свое несправедливым и наказание семьи моей незаслуженным.

— Ты еще и не того заслужил. Не думай, что твое искусство механика поможет уйти от ответа.

— Мне не за что быть в ответе.

— Подумаешь и вспомнишь, — зловеще заметил Зотов и тут же распорядился: — Посадить его при конторе, на цепь приковать к караульному при расход-



ничьей каморе. Ты мне за него головой отвечаешь,— пригрозил он правителю дел.

Тот почтительно поклонился:

— Уследим-с.

Сидит Евдоким Бобылев при конторе главного управления. Еще честь оказали, что не посадили в заводскую «чижовку», а в самой конторе, возле расходничьей каморы. Рядом отставной солдат Зорков, караульный. Евдоким прикован к нему: на левой ноге у него железный обруч, на правой — у Зоркова.

За столом бухгалтер Зубрицкий и молодой конторщик Петя Ключин. Петя недавно кончил заводскую школу. В первый же день он расспросил Евдокима, за что и как он попал под арест, и проникся к нему искренней жалостью. Каждый день таскал ему из дома еду.

— Спасибо, Петя,— говорил Евдоким.— Мне не до еды. Не успокоюсь, пока не выйдет решение моему делу. Обидно, что по-зряшному попал, а обиднее всего, что не удалось мне довести до практического действия паровую машину.

— Не бойся, дело твое решится благополучно,— утешал Петя.— Ты для заводов человек полезный, таких людей Григорий Федотыч во как ценит. Он ведь хоть грозен, а голова, и заводское дело лучше его никто не знает.

Евдокима зло брало, что доверился Морозову. Лучше бы спастись в дремучих тагильских лесах в кельеке у старца Анисифора.

— Долго ли мне сидеть у вас? — спрашивал он караульного.

Тимофей Зорков разговаривать был неохоч, особенно при людях.

— Спрашивай у Зотова, я-то при чем?

Пока день — не так тоскливо: щелкает на счетах Петя, бухгалтер подсчитывает прибыли горных заводов, расходчик сидит в своей каморке, выдает деньги. Все с людьми. Но вот уже ночь за окном. В шкафах возятся проворные мыши, грызут заводские реестры и отчеты. Остается только лечь спать. Взял Евдоким со шкафа две толстые шнуровые книги, положил под голову и задремал.

Снится, будто опять он в Верх-Нейвинске в меховой фабрике и будто задан ему урок выточить из де-



рева валок, а инструмента под руками нет. Плотинный Яргин тычет его в бок правилом.

— Вставай! — услышал он испуганный голос Зоркова.

Спросонок понять ничего не может. Стоят какие-то люди. Впереди высокого роста мужчина. Вздрогнул Евдоким, увидев Григория Зотова.

— Ты писал эту клязу?

Зотов вытащил из кармана бумагу, в которой Евдоким с ужасом узнал свою жалобу. Не успел опомниться, как сильный удар в лицо сбил его с ног. Падая, он ударился о край стола и потерял сознание. Когда очнулся, никого уже в помещении не было. Зорков лил ему на грудь холодную воду.

— Узнал, каков Григорий Федотыч?.. На-ко испей да лицо умой... Вон как он тебя раскровянил.

Умылся Евдоким, а заснуть не мог. Думал: как могла попасть его жалоба главноуправляющему? И что теперь с ним, беглым, будет?

Утром явился в контору Прохор Чулошников, будто бы за какой-то справкой, а сам шепчет:

— Был в Сарге, видел Пимена Карповича и Настасью. Худо живут. Отвез им провиату... А Марья на руднике робит. Про тебя ничего не знают...

Сам в руку ассигнацию сует. Затолкал ее Евдоким за опушку пима, никто не заметил. Вот и подарок к рождеству!

Вечером попросил Ключина:

— Купи, Петя, ради праздника. Был бы в своем жительство, сам бы тебя угостил.

— Ничего не надо, Евдоким Пименович. Деньги тебе еще пригодятся, а я и так принесу из дому. У меня матушка пирогов напекла.

На другой день — праздник. Остановились фабрики. Рабочий люд по домам сидит, разгибая спину от господской «огненной» работы. После обедни пришел Петя, поздравил с праздником. В узелке принес пирог с нельмой, расстегай, шаньги наливные да кусок вареной говядины. Выложил все яства на стол и говорит:

— Ожидай нечаянной радости, Евдоким Пименович!

— Какой радости? Нет, брат, нечего мне ожидать: глубоко нырнул — не выплыть.

— А я говорю: выплывешь. При докладе Григорий



Федотыч про тебя поминал. Надо, говорит, его на исправление отправить в Сылвенский завод.

Ушел Ключин, а Евдоким, повеселевший, пригласил Зоркова разделить праздничный обед.

Стемнело, когда Евдоким с провожатым подъезжал к Васильево-Шайтанскому заводу. Мороз прохватывал до костей, но на душе было легко... «Покуда руки и ноги не обломали,—думал он,—не пропаду». Он то и дело соскакивал с саней и бежал у запряга, чтобы согреться.

Высокие сосны стояли по обе стороны дороги в величественной зимней красоте. Вдали за еланью поднималась гигантским шатром лесистая гора.

— Экий мороз! — не выдержал Евдоким. — Скоро ли доедем?

— Скоро. Вот только Талицу проедем, там и завод недалеко... Видишь гору? На ней Рыжанка изловили. Не слыхал? Звали еще его атаман Золотой. По Каме, по Чусовой с ватажкой своей караваны останавливал, казенное да господское добро топил. Здесь, в Васильево-Шайтанске, он управителя убил, господина Ширяева.

— За что ж он его?

— Стало быть, управитель собака был не из последних.

Зорков помолчал.

— По этому делу много людей под караул взяли. А Рыжанка кнутом засекли.

— Жаль мужика. Доброе дело сделал.

Тем временем проехали Талицу, и вскоре между гор показались шайтанские избы, пруд и черные корпуса фабрик у плотины. Возле одной избы Зорков остановился и постучал. Хозяин отворил ворота.

— Милости прошу, заезжайте, родимые.

Путники, изрядно продрогшие, зашли в теплую просторную хоромину постоянного двора.

— Хоть бы чарочку выпить с морозу, — вздохнул старый солдат. Евдоким купил полуштоф и закуски на деньги, данные Чулошниковым. Сам он до того почти не пил хмельного, но тут налил и себе и Зоркову.

— За благополучную жизнь!



Выпил, словно огонь проглотил, а Тимофей только крикнул.

— Что, брат, непривычен, видать?

— Непривычен.

— Привыкай. В нашем звании одна утеха.

Тепло так и разлилось по жилам. В это время в углу, где кучей была сложена сбруя, кто-то зашевелился. С полу поднялся коренастый мужчина.

— Мир да совет честной компании!

— Садись, борода, гость будешь, а вино поставишь — хозяин будешь, — пошутил Зорков.

Евдоким вгляделся и узнал верхневинского каморника Варфоломея. Тот тоже узнал Евдокима и осклабился:

— Вот нежданно-негаданно встретились. Матушка ты моя, Евдоким Пименович! Ведь я за тобой который день гоняюсь. Право слово! Ты уж меня вдругорядь не подведи... Через твое проворство я и так пострадал немало. Савва Федотыч мне полбороды выдрал из-за тебя.

— Чем же я тебе услужить могу?

— А тем, Евдоким Пименович, что я должен взять тебя под караул и доставить в Верх-Нейвинск.

Евдоким засмеялся:

— Я от Саввы ушел, от Григория ушел и от тебя, Варфоломей, уйду.

А тот свое толмит:

— От меня не уйдешь. Я уж от тебя не отстану.

Зорков слушал-слушал, да как рывкнет:

— Руки коротки! Бобылев едет в Сылвенский завод по распоряжению главноуправляющего. Я его везу. Понял? И ты его не замай, а то вот этим попотчую...

И солдат протянул ему под самый нос свой железный жилистый кулак. Сник Варфоломей, запечалился. Евдокиму стало его жаль, налил стакан водки.

— Выпей-ка лучше за спасение погибающих!

Варфоломей подсел к компании, перекрестился и выпил единым духом. А как выпил, принялся рассказывать по порядку:

— Савва Федотыч после твоего побега нарядил меня в Биламбай. По всем дорогам погоню разослал. На канун рождества я вот так же на постоялом дворе лежу на кровати. В ту пору поверенный по питейным делам приехал. Стурил меня с кровати, сам лег и да-



вай расспрашивать: «Чей ты?» — «Верхнейвинский», — говорю. «Знаешь Бобылева?» — «Как, — говорю, — не знать, механик на славе, только в бегах теперь». — «Помоги сыскать — сто рублей получишь». На дорогу полтину дал.

— Дешево же меня оценили.

— Как дешево: на сто рублей знаешь что можно купить.

— То ты и согласился, овечья твоя совесть!

— Прости, Евдоким Пименович. Кабы другое время, а то так приспичило... Да и то сказать: без стыда рожу не износишь.

— Иудин грех не прощается. Не одной ли мы палкой биты, не в одной ли неволе маемся...

— Правильно твое слово, матушка ты моя, Евдоким Пименович. Ну, да где грех, там и милость. Налей-ка еще стакашик ради встречи!

Выпили еще по стакану.

— Любо мне сидеть промеж двух бережных, — шутил Евдоким. Голова у него кружилась. Перед глазами плыли полати и широкое бородатое лицо Варфоломея.

— Ты не думай, Евдокимушко, что я идол бесчувственный, — разглагольствовал Варфоломей. — Я такой человек, матушка ты моя, что насквозь вижу. Как ты убег, думаешь, я не чул. Все чул, только притворялся, будто сплю...

— Ври больше, — сказал, зевая, Зорков. — Сам-то скольких сек, а свою спину подставлять под вицы неохота.

— Оно верно: плетка не тетка. Только уж я такой, матушка моя, пересолю да выхлебаю...

— Ну тебя к чомору! — отмахнулся Тимофей. — Давайте-ка лучше спать. Завтра на брезгу выедем.

«Обережные» постелили тулупы, Евдоким — рваный полушубок. Засыпая, он вспомнил рассказ Зоркова и пробормотал:

— Доброе дело сделал Рыжанко, доброе...



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Ты хочешь знать, кто я?  
Куда я еду?  
Я тот же, что и был и буду  
весь мой век.*

*А. Радищев*

Кроваво-алая заря растеклась над куполом Березовой горы.

Евдоким шел проторенной тропой на фабрику вслед за такими же, как сам, черноделами. Шел он мимо приземистых убогих избушек и невольно думал о том, что и здесь та же скудость у работных людей, как и по другим заводам.

Вон уже видать, как поднимается над кричней густой бурый дым. Блестит вода в водосливных каналах, полыхает пламя над обжигательной печью. Далеко слышать заводской шум.

На перекрестке стоит заводской дурачок Семейка. У него страшное безбровое лицо с коростами на скулах. Он топчется, босой, на снегу и хнычет:

— Ступай, Семейка, домой! Гляди, ноги стали как у гуся...— Семейка оскалил зубы, и лицо его сделалось еще страшнее.

— Тоже ведь человек был.

— С чего он ума-то решился?

— В подозрении оказался, будто железо украл. Приговорили к двадцати плетям, он со страху, видно, и тронулся. А железо нашлось.

— Железо нашлось, а человек пропал.

У фабричных ворот стоит караульный, чтобы не выпускать работных людей раньше положенного срока. Сылвенский завод у главной конторы под особым наблюдением: изготавливают здесь судовые якоря для коломенок и другую заводскую снасть.

Отворились ворота, и сразу пахнуло жаром, запахом горелого железа и серы, оглушило стуком молотов, ревом воды в водосливных колесах, гудением воздуходувок. Ад!..

Надо запастись терпением. Плавка длится от семи до девяти часов. За это время нужно достаточно завалить чугуна, набросать угля. Горны пышут жаром, разинув огненные пасти.



— Эй, давай еще! — кричит мастер. — Угля валяй!

Мечутся черные фигуры. На обожженных лицах играют отсветы пламени. Вся внутренность фабрики озаряется беглыми вспышками. Подбрасывать надо много, намахаешься за смену: до восемнадцати пудов уходит на крицу. Рубаха от потовой соли твердеет, как луб. Голову обносит от угара. Кто сомлеет, тут же валится с ног. Плеснут ему студеной водой на голову, поднимется мастеровой и снова работает. В щели дует, ледяные брызги летят с водосливного колеса. А крица спеет и спеет. Мастер уже не раз пробовал ее ломком, выворачивая «жуков». Со свистом и хрипом работают мехи.

Сварить крицу — дело не простое. Если выходит из горна синее пламя, значит, еще не готова: спелая крица горит белым пламенем. Сгрудились мастеровые у горна: кто водой плещет на верхний в устье пламень, кто с большим ломом орудует, кто вилку двухколесную катит, чтобы увезти крицу. Смотри только, как бы не плюнуло кричным соком — прожжет до кости.

— Пospела! Выламывай! — командует мастер.

Подхватили крицу на железный рычаг, покатали под молот. Тяжесть! Надо оберегаться, чтобы не свалить на ноги... Немало увечных ходит по заводу, доживая горькие дни.

Молотовой подмастерье дело знает: когда нагреть, когда остудить молот. Равномерно поднимается и опускается двадцатипудовый чугунный кулак, плющит крицу. От ударов вздрагивает вся фабрика.

Пока кончится кричное действо, семь потов сойдет, руки и ноги онемеют от натуги. Выходят мастеровые после двенадцатичасовой работы, пошатываясь, как хмельные.

— Плохие у нас порядки, — жалуются они. — В Верх-Исетском вон задельная плата...

— У каждого управителя свой норов. Наш-то вон какая чугунная подворотня...

— А я так думаю, — говорит престарелый мастер Шипулин. — Задельная плата — приманка. Ловят на нее нашего брата, как чебаков на мормыша.

Не бывал еще в кричной работе Евдоким, но уже присматривался, как сделать половчей, получше. Природная сметка выручила и здесь. Работал, со злобой думая про Григория Зотова:



«Не удастся тебе уморить меня, собака! Все равно не поддамся».

Половина мастеровых были такие же, как и он, штрафованные, высланные сюда за всякие провинки с других заводов.

Главная контора не забывала ссыльных.

На Евдокима прислан был особый ордер, в нем значилось:

«Когда в оный завод прислан будет обритый Евдоким Бобылев, Сылвенская контора имеет отослать его в Саргинский завод к находящимся в оном его отцу и жене, употребя в кричную работу и никуда от оной, как и на случай будущего сенокоса, от заводу не отлучать, а содержать в работе при конторе, ежедневно иметь за ним строгий присмотр».

Получив этот ордер, надзиратель сылвенский Василий Федосов велел навести справки о семействе Бобылева. До Сарги рукой подать. Служитель сгонял на вершной и через час вернулся с известием, что семейства Бобылевых в Сарге нет.

— Чего ты мелешь? — разгневался Федосов. — Раз в бумаге из главной конторы прописано, что есть, значит, есть.

Послал надежного человека — уставщика при кричном действе Григория Толкачева, хмурого и степенного старика. Тот проездил целый день и доложил, что Пимен Бобылев со снохой уже больше недели как утекли из Сарги и что, по слухам, находятся они под стражей в Верх-Нейвинске.

— Ну, Савва Федотыч потачки им не даст, — успокоился надзиратель. — А за Бобылевым гляди в оба.

Пимен Карпович действительно бежал из Сарги. Провианту ему так и не положили. Куропан делился последним, но и сам скудался. У Пимена же, когда он садился за стол, кусок становился поперек горла. Тяжелее всех переносила ссылку Настасья. Просилась у надзирателя, чтобы отправили ее к мужу. Надзиратель отказал.

— Нет такого закона, чтобы жену с мужем разлучать, — жаловалась Настасья.

— Цыц! — заорал надзиратель. — Зубы не показывай, а то в «чижовке» насидишься... Почем я знаю, где твой муж.



Так и ушла ни с чем Настасья. Вечером замесила последнюю лепешку.

— Что будем, батюшка, делать?

— Терпеть приходится, мила дочь.

— Сил нет дольше терпеть... Конца не видно нашим мукам... Ты как хочешь, а я в Сарге боле не останусь...

— Что ты задумала, своевольница?

— Уйду отсюда.

— Куда, елова голова?

— Либо к мужу, либо в Невьянск к родителю.

Помолчал Пимен Карпович, задумался.

Потом помолился и велел Настасье что самое необходимое из пожитков уложить в мешки. Куропану оставил все, что с собой привез из рухляди.

— Это тебе в благодарность за приют. А мы пойдем куда бог велит.

Утром чуть свет вышли за околицу и тронулись в дальний путь на Нижние Серги. Никто их не заметил. Так без увольнительного билета добрались они до Киргишанской крепости.

В Киргишанах решили остановиться отдохнуть.

— Пойдем на постоялый,— сказал Пимен Карпович.

— Как бы греха не вышло, батюшка? Не ровен час — документ спросят.

— На постоялом народу — как окуней в мотню набито. Меж людьми и схорониться легче.

Настасья перечить не стала, хотя и беспокойно было на сердце.

На постоялом, верно, толпились люди всякого звания. Случился тут и красноуфимский капитан-исправник. Он развалился в кресле у стола, потягивая из кружки студень кvas. Увидал красивое женское лицо и поманил Настасью:

— Иди-ка сюда, молодка!

Настасья испугалась, шепчет свекру:

— Батюшка, как быть?

Тот и сам оробел.

— Что делать, иди.

Физиономия у капитана-исправника опухла и побеговела от многодневного беспросыпного пьянства. Но глаза колючие, так и норовят в душу залезть.

— Садись, красotka, к столу. Чья ты?



— Мужняя жена.

— Что же ты, мужняя жена, по постоянным дворам шляешься? А документ у тебя есть?

— Нет у меня документа.

— Тогда прикажу я тебя взять...

Тут Пимен Карпович поклонился капитану-исправнику в пояс:

— Мой грех. Идем из Сарги, а сами верхнейвинские... Бобылевы.

— Так вот вы что за птицы! О Бобылеве я слышал... Беглые?

— Прости, ваше благородие. До крайности дошли. Осталось только в гроб лечь.

— Мне до ваших обстоятельств дела нет. Я вас по закону достигну... Эй, Тришка, Кузька! Свезите беглых в Верх-Нейвинск.

Два полицейских служителя повели Пимена Карповича со снохой. Тем же заворотом двинулись они в Верх-Нейвинск. Пимен Карпович всю дорогу молчал и молился о том, как бы миновал его гнев Саввы Зотова. Но дело обернулось худой стороной.

Служители сдали арестованных с рук на руки верхнейвинскому заводскому приставу, а тот немедленно доложил Савве Федотычу. Управитель приказал взять обоих под строгий караул.

Верхнейвинская контора запросила главное управление, как поступить с беглецами. На четвертые сутки пришел ответ. Главноуправляющий писал:

«Его, Пимена Бобылева, и сноху его, дабы не дать повода продолжать недремлющую в семействе их непокорливость, при собрание мастеровых наказать плетью».

Евдокима поставили на квартиру в доме уставщика Петелина. Уставщик, ехидный мужичонка, поселил своего постояльца в задней избе, где хранился всякий хозяйственный припас, и каждую ночь приходил проведать.

— Дома ли, гостенек дорогой? Не наскучило ли у нас?

Знал Евдоким: смотрят за ним, за каждым шагом следят. Жизнь острожная! И ничего поделывать нельзя; хоть и кипело сердце, а молчал. Тосковал по жене.



Была бы с ним его Настенька — легче бы сносил беду.

Работа у него спорилась. Скоро из чернодела стал он подмастерьем. Ловко и легко подхватывал на вилку десятипудовую крицу.

— Тебе бы мастером быть, Бобылев, — говорили товарищи.

— Не быть мне мастером: штрафованный я.

— Помяни меня — будешь, — сказал старик Шипулин.

Возвращается Евдоким со смены — на квартире холодно, темно, пусто. То встанет перед ним милое лицо его Настеньки, и больно сжимается сердце, то начнет думать об огнедействующей машине, которую не дали ему закончить зависть и злоба заводских начальников, — еще тяжелей станет.

Однажды, когда он шел со смены, встречный мастеровой крикнул ему:

— Родителя твоего, Бобылев, привезли.

У Евдокима дух захватило от радости. Не помня себя, побежал на квартиру.

У двора стояла подвода. Взбежал Евдоким по ступенькам. В избе сидит отец на лавке, а у печи стоит с лучиной его Настасья.

Поклонился Евдоким отцу в ноги, облобызал троекратно. Потом к жене подошел. Настасья, в свою очередь, хотела пасть мужу в ноги, но Евдоким обнял ее. Лицо жены было бледным, исхудалым. Как изменилась она за время их разлуки! По сердцу будто ножом полоснуло.

— Здорова ли ты?

Настасья вытерла концом платка слезы.

— Секли их, — ответил подводчик.

— Гляди, как попотчевал нас Зотов.

Пимен Карпович приподнял рубаху. На спине обнажились кровавые рубцы. Евдоким содрогнулся от ярости и горя.

— Проклятые!

— Переживем, Пименович, — молвила, силясь улыбнуться, Настасья. — Кажи-ка лучше свое хозяйство. Много ли без меня нажил?

И от этих слов как-то сразу отлегло у Евдокима от сердца. Все становилось на свое место. Возвращалось прежнее скромное, тихое счастье.

— Вот все на виду: таганец да горшок, котелок ды-



роватый да стакан щербатый, вилка да ложка, да кошачья плошка.

— Покорыстоваться не на что... Далеко ли хоть колодец-то?

— Через два дома.

Сходила Настасья за водой, взяла вехоть в руки и принялась наводить чистоту в избе.

Петелин просунул в дверь лисье лицо.

— Семейно жить начинаешь, Евдоким Пименович? Ну, живи, живи... Исправишься — приставят к настоящему делу, будешь непокорлив — накажут.

— Бос лаптей не износит, — отрезал Евдоким.

С приездом жены и отца стало ему легче, в темную петелинскую избу будто солнышко заглянуло.

Марьюшка жила в деревне, недалеко от рудника, и ничего не знала о судьбе отца и Настасьи. Временами она горько плакала. Но молодость брала свое. На миру же, говорят, и смерть красна. На руднике работало много девушек. Подруги сговорили Марьюшку перебраться в рудничную землянку, где жили они дружной девичьей стайкой.

Завязала Марьюшка свое приданое в узелок и отправилась в путь.

Справа чернела ельником Малиновая гора, слева тянулась болотина, поросшая мелколесьем. «Вот где бруснику да морошку собирать», — подумала Марьюшка. Но сейчас на морозе даже деревья коченели. Ворона с карканьем тяжело поднялась с ближней сосны, и снежный прах осыпался с ветки в сугроб. Серые зимние тучи закрывали небо. Сиверко прохватывал колючей стужей сквозь домотканый материн шабур. Марьюшка ту же завязала подшалок и быстрее зашагала навстречу ветру, лесу и тучам.

Рудник лежал в логу, за Малиновой горой. Тут же разбросалось небольшое селение — рудничные постройки да землянки, крытые дерном. Летом работники жили в балаганах по берегу мелкой, но бойкой речушки. Место работы отвели дальше, где чернели свежие отвалы породы, где над шахтой возвышался сарай, откуда доносился неумолчный шум рудоподъемной машины. Двигались тачки с рудой, ржали лошади, грохотали сгружаемые куски породы, слышалась матерная брань надсмотрщиков.



Марьюшка вошла в землянку, где жили подружки. Никого в ней не было. Она затопила печку, сняла с ног коты и онучи и повесила сушить. В печке потрескивали смолевые дрова. Марьюшка отогревала у огня озябшие руки и ноги.

Согревшись и отдохнув, она отправилась на работу. Раскомандировка производилась в рудничной конторе. Смотритель, лысый, остроносый, с хитрыми масляными глазками,— Ардалион Петрович, по прозвищу Курица, тоненьким голоском определял на работу:

— Подходите, пташечки! Подходите, милые! Тебе, Аннушка, руду таскать, а тебе, Степанида, у ворота стоять.

— Ох, господин смотритель! Не женское это дело.

— А ты как думала, милая, мне вас на погляденье прислали? Не-ет, голубушка, ступай, куда приказал...

У смотрителя рука костлявая — схватит за косу, да и потащит на расправу в машинную. Мимо этой машинной девушки и ходить боялись.

— Ты что, Марьюшка, запоздала? Али с дружкой миловалась?

Молчит девушка, затаив дыхание.

— На первый раз прощаю. В другой раз не обессудь, голубушка, семь шкур спущу.

Один день похож на другой. Сосет сердце тоска по любимому, по лучшей доле. Послала весточку о себе с попутным, попросила сказать Алешке Трофимову — Гамаюну, что она, Марья Бобылева, работает и живет на руднике и не водой, а слезами умывается.

Однажды шла Марьюшка со Степанидой в контору, по дороге встретился парень. Был он в треухе, в добром полушубке. Что-то знакомое почудилось Марьюшке в его рослой фигуре. «Алешка? Неужели это он? Нет, не может того быть. С чего бы ему здесь оказаться?»

Однако чем ближе подходили они друг к другу, тем яснее различала Марьюшка черты знакомого лица, рыжие брови, отчаянные глаза. Не блазнит ли?

— Марьюшка!

Они стояли друг против друга, обрадованные и растерянные.

— Как же это ты?

— Не спрашивай! Другой день роблю на шахте.

— Ведь и я на работу, Алешенька.



— А я с работы. Повидаться с тобой, поговорить надо. Где живешь?

— В землянке. Вон в той, с краю, у дороги, ближе к лесу.

Зазвонил рудничный колокол, и Марьюшка пошла своим путем. Алешка провожал ее затуманенным взглядом.

Марья Бобылева значилась у рудничного начальства на хорошем счету. У этой ладной и проворной девахи любая работа спорилась. За прямой, веселый нрав подруги любили ее. Сегодня Марьюшка вся светилась счастьем. Она ехала на подводе впереди своего десятка.

Эх ты, зимушка-зима,  
Холодна зима была...—

запела она во весь голос — девушки подхватили.

Впереди показался штейгер верхом на коне.

— Чего распелись, окаянные? Вот я вас!

Девушки свернули на тропку. Она вилась меж янтарных стволов ровного, стройного сосняка. Здесь заготавливался крепежный лес. С просеки доносилось фыркание лошадей и стук топоров. На снег с глухим шумом тяжело валились сосны, вздымая облака снежной пыли.

Марьюшка надела голицы, встала на дровни и, натянув вожжи, понукала лошадь. Она вся светилась радостью.

«Эх, Алешка, Алешка! Удалая головушка!»

Дровни неслись по укатанной дороге. Морозный пух летел в лицо, румянил щеки. А ей было хорошо.

С приездом жены и отца у Евдокима словно вдвое прибавилось силы. Он стал спокойнее. В доме появилась хозяйка, и сразу ожила пустая хоромина. К весне Бобылевы уже завели кое-какое имущество. На столе — скатерть новая, половики по полу, посуда в горке. Все как у людей. Сват Чулошников наезжал попроведать. Привез, что удалось спасти от разорения в Верх-Нейвинске.

Так потихоньку стала налаживаться жизнь. Снова установил Евдоким верстак, завел слесарный инструмент. Снова по ночам садился чертить планы, делать рисунки машин.



Пимен Карпович неодобрительно косился на бумагу, исчерченную хитрыми линиями, и ворчал:

— Ну, какая тебе от того польза? Али опять спина чешется? Читал бы Златоструй для души спасения...

— Живой о живом думает, батюшка. Для меня в этом вся жизнь.

Изобрел он приспособление для завалки угля: и дешево, и людей требуется мало. Отправился в контору к Федосову. Объяснил все по порядку и рисунок показал.

— Прямая польза, ваша милость, заводскому делу. Главное же — облегчение людям.

Федосов усмехнулся:

— «Облегчение людям»!.. А ты подумал, что им, людям-то, и надлежит работать. У меня на заводе триста мастеровых да приписных крестьян больше тысячи. На кой мне ляд твоя механика. И без нее на любое дело людей хватает.

— Может, пригодится на других заводах?

— Нам до других заводов дела нет. Понял?

Но совершенно неожиданно в бедственной судьбе Евдокима совершился крутой поворот.

В то время, пока он коптился у кричного горна, Григорий Зотов получил личное письмо от господина Яковлева. В письме говорилось о монаршей милости ему, Алексею Яковлеву, за изобретение усовершенствования при выделке листового железа, по этой причине выражал он свою благодарность главному управлению, жаловал его годовым окладом в знак поощрения и приказывал завести прокат листового железа всюду, где есть на то возможность.

Григорий Федотыч, прочитав милостивое послание, обрадовался и в то же время обеспокоился. Дощатые фабрики имелись на нескольких заводах, но вопрос заключался в том, кто практически сможет усовершенствовать на них выделку листового длинномерного железа.

Главный механик Сабакин, человек, сведущий в заводском устройстве, переехал в Ижевск и там в последние годы своей жизни занимался ружейным делом. Лучше его, конечно, заводское производство никто не знал. Сам Григорий Федотыч на этом деле собаку съел, но все-таки изготовление «долгих листов» составляло и для него тайну механического искусства.



Тогда-то и всплыло в его памяти ненавистное имя Бобылева.

Григорий Зотов ни с кем не любил советоваться, решения свои проводил в жизнь единовластно и незамедлительно. В тот же день в Сылвенский завод поскакал курьер с письмом Федосову. Главноуправляющий давал строгое предписание: немедленно наладить в дощатой фабрике изготовление долгого листового железа. Поручить усовершенствовать прокатные станки Бобылеву, «дабы мог он, за зло воздав добром, заслужить себе помилование». Для успеха в деле предписывалось освободить его от всех других заводских работ и перевести в господский дом, положив жалованье шестьдесят рублей в год.

Долго читал письмо Федосов и в волнении теребил жесткую черную бороду. «Что такое случилось с Григорием Федотычем? Или крепко выпивши писал он столь несуразное распоряжение? Или он, Федосов, неправильно его понимает?»

Но приказ есть приказ, и управитель сам отправился в кричню. Среди огня и дыма, черных от копоти людей он даже не узнал Евдокима и велел позвать его.

— Велено тебе, Бобылев, приступить завтра же к изготовлению машин по переделу листового железа. Сейчас же ступай домой и перевези семью в господский дом возле конторы.

Всего ожидал Евдоким, только не этого. Он глянул в глаза Федосова и прочитал в них такое же недоумение, перешедшее постепенно в ярость.

— Чего встал, как пень? Сказано — значит, исполняй.

Покачал головой Евдоким и побрел к себе на квартиру. С недоверчивой усмешкой объявил домашним волю начальства. Настенька оробела.

— Да мыслимо ли в господский дом? У нас ведь и половиков нет постлать.

Пимен Карпович, наоборот, принял эту перемену в жизни как нечто должное.

— Всегда я говорил, где талант, там и счастье. А насчет половиков, Настасья, не сомневайся. Бог даст, и половики заведем. Собирай скарб...

— Да что, батюшка, собирать-то? Все в руках унесем.



С радостью приступил Евдоким к знакомой работе. Машины на Сылвенском заводе были такие же, как на Верх-Нейвинском. Все мастера и работники дощатой фабрики поступили в его полное распоряжение. Он обратился к ним с коротким словом:

— Будем, земляки, работать дружно. Все искусство мое, все мои знания приложу, чтобы сделать дело быстро и безупречно. И вы мне в том помогите по-братски.

Тут же распределил работу: кому точить валки, кому винты нарезать, кому изготовлять подшипники. В меховую дал наказ делать колесо. Показал, где, что и как надо сделать, а за самую трудную работу по устройству нажимного механизма взялся сам.

Каждый день Федосов приходил поглядеть, как идет дело. Он стоял, расставив ноги, грузный и неподвижный, тараща цыганские глаза на работников и развинченные части машин.

— Когда кончишь?

— Само дело покажет,— отвечал Евдоким. Не любил, когда стояли над душой: будет сделано — тогда и гляди.

— Надо торопиться, слышь, война началась. Всякого припасу потребуется немалое число.

«Война! Вот так новость!»

Как только надзиратель вышел, Евдоким к помощникам:

— Ну, ребятушки, коли война, так надо нам хоть и через силу пустить долгие листы раньше срока. Нажмем сегодня?

— Нажмем, Евдоким Пименович, раз такое дело.

— Поднесли бы по чарке, веселей бы пошло.

— На свои пречистые покупай.

— Где мне взять? До того беден, что и вошь похоронить не на что.

Так с прибаутками вновь принялись за работу. Самое трудное было — установить нажимной механизм. Однако и с этим справились, хоть и пришлось ночку не поспать. Работали на совесть.

Через неделю явился Евдоким в контору и доложил, что все справил. Федосов не поверил:

— Что больно скоро? Смотри, у меня не мошенничать. Не станут выходить долгие листы — я тебе спину мягче брюха сделаю.



Евдоким обиделся:

— О плате потом поговорим, сперва опробуй.

В дощатой фабрике нагревательная печь пылала вовсю, раскаливая болванку. Встали мастер и подмастерье на свои места. Как только спелое железо, мастер дал приказ, подхватили клещами сверкающий кусок металла и сунули в отверстие между валками. Начался прокат.

Когда лист двух аршин длины выскочил из-под валков, надзиратель сразу повеселел:

— Ну, спасибо за старание! Доложу в главную контору. Наградные получишь.

— Я не ради денег старался,— коротко и сухо отвечал Евдоким.

После того как Федосов получил благодарность за аккуратное и отличное выполнение военного заказа, он вовсе подобрел к Евдокиму и как-то уже в конце зимы поздравил его с великой милостью:

— Назначаешься ты плотинным мастером.

Евдоким молча снял шапку и поклонился.

— То ли горевать, то ли радоваться,— сказал он семейным.

— Исполни, что велено,— ответил Пимен Карпович, улыбаясь в бороду; он был горд, что сын удостоился такой чести.

Плотинный на заводе — большой человек. От него зависит бесперебойная работа вододействующих фабрик. Он наблюдает за исправностью щитов водоспуска и ларей, за состоянием водяных колес, мехов и водяных труб, следит за очисткой сливных и отводных каналов, поддерживает необходимый уровень воды в пруду. На его попечении плотина — самое главное сооружение при заводе. Работа хлопотливая, требующая знаний и опыта. Назначали на эту должность только сведущих и пожилых людей. В подчинении плотинного мастера находилась меховая фабрика. Он руководил изготовлением водяных колес, топорищ к молотам, крестовин, ладоней и втулок к мехам.

Осмотрел Евдоким свое хозяйство и предложил укрепить гребень плотины шлаками, а скаты облицевать плитняком:

— При большом паводке не сдюжит, ежели не укрепить.

Федосов насупился:



— А ты подсчитал, во сколько эта штука обойдется? Да и плитняк возить надо издалеча. Да еще людей снимать с других работ придется...

Сколько ни убеждал Евдоким, Федосов уперся на своем. С трепетом ждал новый плотинный весеннего паводка, но все обошлось благополучно. Выдержала и верхняя плотина в Сарге. Вода пошла вешняком, так что не пришлось рыть даже отводный канал.

Буйно играли вешние воды. Солнце все выше поднималось над Березовой горой и над Мохнатой. Творческие замыслы с новой силой овладели Евдокимом.

Сейчас как плотинный он мог привести в исполнение давнишнюю свою мысль о воздушной машине. Эта мысль родилась у него еще три года назад, когда он стоял на набережной Галерной гавани в Петербурге и наблюдал за парусными судами. В ту пору он подумал о том, как поставить ветер на службу заводскому устройству. В лето 1806 года эта мысль осуществилась. Евдоким соорудил модель ветродвигателя. При помощи парусов приводилось в движение маховое колесо. Но это была только часть изобретения. Главное состояло в том, чтобы связать колесо передаточным механизмом с машинами различных фабрик. Для этого понадобилась целая система штанг и рычагов. Оказалось, что легче всего было соединить новую машину с производством гвоздильной и проволокотягальной фабрик.

Федосов отнесся к изобретению Евдокима как к пустой затее, но, когда тот представил выгоды воздушной машины по сравнению с водяной, надзиратель разрешил ему вместе с моделью отправиться в главное управление в Верх-Исетск.

Уложил Евдоким свое детище на телегу и тронулся в путь. Особенной надеждой он себя не льстил, потому что крутой нрав Зотова был ему хорошо известен. Вспоминался и неудачный опыт с паровой машиной. Но он не знал одного, что Григорий Федотыч при всем самодурстве был человек неглупый и заводское дело понимал. Это он предлагал соединить каналом Чусовую с Исетью, и только косность горных чиновников помешала ему довести свое предприятие до конца.

Зотов разрешил произвести «апробацию» воздушной машины и остался доволен результатами: машина



действовала безотказно и была «признана в действии весьма способной». Евдоким получил наградные и вернулся в Сылву ликующий.

Вместе с моделью он привез подарки родным: отцу — кафтан из доброго сукна, жене — шаль бухарскую.

Вечером Настасья призналась мужу:

— В тягости я.— Улыбнулась нежной и ясной улыбкой.

Евдоким крепко прижал к груди ее счастливое лицо, не зная, что сказать от радости. Ему казалось, что вот сейчас только и начинается для него настоящее, когда можно спокойно жить и трудиться.

Весна 1807 года сулила великое изобилие вод. Зима стояла вьюжная, да еще в марте подбавило снегу. Работы на заводе становилось все больше. Евдоким не столько досматривал за плотиной, сколько за изготовлением и отправкой снарядов в армию. Федосов переложил на его плечи все заботы по заводу.

Евдоким осунулся за эти несколько месяцев. Не один раз он докладывал:

— Ежели вовремя не укрепить плотину, случится остановка всего заводского действия. Надо ожидать большого паводка.

Федосов отмахивался от него, как лошадь от надоедливой паута, и даже разговаривать не хотел.

— Ты приставлен к делу, ты и в ответе. Приключится что — голову сниму.

Солнышко грело, стояли на редкость теплые дни. Ручьи звенели по оврагам. Лед на пруду побурел. Евдоким сна лишился, ходил на плотину, наряжал работников рыть отводной канал. А что, ежели вода хлынет через плотину? Старик Шипулин пришел поглядеть работу.

— Сдюжит плотина, Петрович?

— Коли в Сарге сдюжит, так за нашу нечего беспокоиться. Полой воды не бойся, бойся теплой.

Изо всех сил боролись с наводнением. Евдоким самолично снимал людей с «огневой» работы и гнал на плотину. Вода ревела в вешняках, пенилась на мосту. Вешняный прорез оказался несоразмерным с таким



паводком. Запоры дрожали, и отводной канал, наскоро вырытый, не мог вместить всей воды: она пошла верхом и стала размывать дамбу. Плотина ходила ходунном. Фабрики остановились. Не слышать стало обычного позвякивания железа, только мутные потоки, бурля и пенясь, неслись в размытых берегах. Вскоре затопило доменную фабрику.

Мастеровые ходили сумрачные. Не стало погибельного места, где таяли их силы, здоровье, жизнь, но не стало и самого труда. Люди не знали, куда себя девать. А вода неслась с победным гулом, заливая огороды, подступая к избам.

Евдоким почернел за эти дни. Он сделал все, что от него зависело. Совесть его была чиста. Но что же дальше? Оставалось ждать решения своей участи. Ему представлялось дикое лицо Федосова, кулаки, похожие на конские копыта.

Мастеровые, товарищи по несчастью, предупреждали:

— Федосов голову с тебя снимет.

— Знаю,— хмуро отвечал Евдоким.

Настасья говорила мужу:

— Боюсь я за тебя, Евдокимушко.

Зашел как-то вечером мастер Шипулин.

— Слушай-ко, Евдоким Пименович, мы со стариками советовались. Жив смерти боится. А тебе жить да жить. Уходи, пока не поздно, с завода. Ты к нам был хорош, и мы тебе худа не желаем. О семье не заботься. Прокормим.

Поблагодарил Евдоким друзей-мастеровых за такую заботу о нем. Понимал сам, что с него с первого взыщут все потери и убытки. А как взыщут — тоже знал. Такой зверюга, как Федосов, сумеет пытку выдумать хуже ста смертей. А впереди еще Зотов — дьявол в человеческом образе. И все-таки не решался на побег, надеясь доказать свою правоту.

Время шло. Уже зазеленели кругом и трава на полянках, и березки под окнами. Черемуха красовалась в белом подвенечном цвету. Стояли яркие солнечные дни.

Однажды Шипулин встретил Евдокима, когда тот проверял свое плотинное хозяйство.

— Нарочного послал управитель. Завтра будет на заводе. Уходи сегодня же,— сказал ему старик.



Вздрогнул Евдоким. Забыть хотелось о грядущей расправе. Опять встал он лицом к лицу с неизбежным. С приездом Федосова придет конец работе, рухнут все его проекты, все чертежи будут уничтожены, и никто уже не опробует его машины, и ничего больше не создадут его руки на пользу заводам.

На другой день приехал Федосов, да не один, а с самим Григорием Зотовым. Главноуправляющий немедленно потребовал в контору Евдокима.

— Ну, что скажешь, плотинный? — спросил он зловеще. — Какой ответ нам дашь? Почему не доглядел за плотиной?

— Вины за собой в этом деле не знаю и не признаю, — твердо отвечал Евдоким. — Плотины я укрепил еще до паводка, и отводный канал был вырыт по моему приказу. Все меры принял, а надзирателя я предупреждал не одинова.

— Врет он! — закричал Федосов. — С больной головы на здоровую валит.

— Разберусь, кто виноват, — сказал Зотов. — Тебе, Бобылев, было оказано доверие, как ты его оправдал?

Тут Евдоким не сдержался: обида, гнев, отчаяние кипели в нем.

— Я не оправдал вашего доверия? А кто здесь, в дощатой фабрике, изготовил новый установ по переделу листового железа? Кто наладил отливку ядер? Кто изобрел воздушную машину? Если бы вы радели о заводском устройстве, вы бы ей давно дали ход... Меня вы угнетали, имущество отобрали и всю семью мою разорили.

— Кто ты таков, что голос поднимаешь? Зазнался?... За эти твои дерзкие слова головой ответишь...

— За правду и пострадать не стыдно. Только и на вас управа найдется.

Евдоким повернулся и вышел. Знал, что теперь остается одно: бежать.

Он пришел домой и сказал жене:

— Настенька! Собирайся в дорогу. Полагаю, что за мной уже послали служителей.

— Что ты, родной. Я тебе руки свяжу. Куда я такая-то побегу? Сам видишь...

Крепко обнял жену Евдоким, вскинул за плечи мешок с хлебом и сухарями, сунул за кушак топор.

— Прощай!



Вышел задами, чтобы никто не видел. Надо было проститься с родителем. Пимен Карпович догадался, что сыну грозит новое испытание.

— Благослови меня, батюшка. Кто знает, придется ли свидеться. Думаю опять добратся до Петербурга. Путь не ближний, а с заводским начальством мы теперь враги до самой смерти.

Благословил Пимен Карпович сына, и сам, встревоженный, пошел на завод. Не доходя до дома, встретил полицейского служителя.

— Эй, Бобылев! Где твой сын?

— Не видал с утра,— соврал Пимен Карпович и зашагал было своей дорогой. Но полицейский служитель схватил его за рукав:

— Постой, приятель! Я тебя не отпущу.

— Как же так? Меня-то за что?

— Ты в ответе за сына, и я тебя должен взять под караул. Идем со мной.

Побрел Пимен Карпович, как на казнь, а у самого мысль: ведь доброго ждать нечего, надо о своем спасении подумать.

До конторы оставалось совсем недалеко. Вот и угольный двор. По случаю воскресного дня никого здесь не оказалось. Ворота были полуоткрыты. Отчаянное решение пришло в голову Пимену Карповичу.

— Дозволь топор положить на место.

— Не позволю. В конторе отдашь.

Но Пимен уже зашел во двор. Конвоир пытался его удержать, но старик отшвырнул его от себя, как котенка. Поднявшись с земли и потирая бока, полицейский угрожающе стал вытаскивать из ножен тесак. И тут Пимен Карпович, не помня себя, ударил его обухом по голове, а сам бросился вдоль угольного двора. Он выбежал через запасный ход, спеша и не оглядываясь. Ему чудились крики и топот ног за спиной. Торопясь и задыхаясь, бежал он по переулку и, только выбравшись за окраину заводского селения, пришел в себя.

Беглец вошел в рощу, зеленевшую на скате Березовой горы. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Деревья кругом шелестели, махали зелеными руками, точно здоровались. Щебетанием, свистом, цокотом встречал лес. Березки шумели, говорили на своем лесном языке что-то ласковое и утешное.



Весь день шел Евдоким лесами и еланями. Ноги скользили по камням, по рыжему ковру палой хвои. Он жадно вдыхал лесные запахи и вслушивался в лесные звуки. Вон бурундук цокнул на ветке и перепрыгнул на другую. Ящерка мелькнула меж камней и миготом скрылась. Дятел бойко стучал, а где-то вдали за рекой, светлевшей сквозь прорезь ветвей, куковала кукушка. Пахло багульником, прошлогодней прелью, тянуло сладковатым еловым запахом, молодой праздничной зеленью оделись березы.

Вновь испытал Евдоким упоение свободой и гнал тревожные мысли о будущем.

Он шел вдоль реки, пока не показалась впереди деревушка. Тут он свернул на зимник, не решаясь зайти в деревню.

Дорога вела в овраг. Здесь, в полутьме, чуть слышно булькал родничок. Сел Евдоким на мшистый камень, развязал мешок, достал сухарь и кружку. Зачерпнул воды и сухарь в ней размочил. Вкусным показался такой ужин после целого дня ходьбы. В воде видел он зыбкое отражение своего лица. Даже шрам на лбу и тот было видать. Кабы можно было убрать эту приметку!

Вдруг ему показалось, что можжевельниковый куст на той стороне ручья зашевелился. «Неуж за моей душой пришли?» — пронеслось в голове. Евдоким вскочил, крепко сжав в руке топор.

Из-за куста, боязливо озираясь, вышел человек, с длинными солдатскими усами, в сильно обтрепанном воинском мундире.

«Эге! Никак, свой брат, бегляк», — догадался Евдоким и пошел навстречу незнакомцу.

— Откуда и куда бог несет, служба?

Беглый поглядел на него измученным взглядом. Лицо у него было точно обглодано: кости да кожа.

— От палок спасаюсь. Из Екатеринбургского мушкетерского полка. На родину путь держу — в Молебский завод... Дай сухарик. Третий день не евши.

— Бери, сколько съешь. Мы с тобой одного поля ягоды.

С товарищем дорога короче показалась. Заночевали на берегу ручья на душистых пихтовых ветках. Солдат рассказывал про тяжелую гарнизонную службу, про тиранство командиров.



— Не два века жить. Зверю и тому неволя страшна, а мы люди. Вот и бежал. Хоть, может, и недолго, да все поживу на воле.

— Хоть час, да вскачь. И то дело.

— Пойдем со мной в Молебку. Там у меня братан живет. Добрый мастер. Вы с ним сговоритесь.

— Утро вечера мудренее. Давай спать, служба!

Едва заря позолотила верхушки сосен на ближней горе, беглецы направились к перевозу возле Дикой Утки.

Три подружки, и все разные: Марьюшка — побойчее, Степанида — строга и молчалива, а Параня — курносенькая, маленькая, похожая на подростка, поболтать любит. Всегда-то она все знает: и кто на рудник пришел, и какой случай случился, и что в конторе делается.

Идут на раскомандировку. Параня тараторит:

— Марья, твоего-то Алешку я утром сегодня видела.

— Какой он мой, — с досадой говорит Марьюшка, а самой не терпится узнать. — Ну и что из того, что видела?

— Ой, девки-матушки! С ним старик разговаривал. Да не простой старик, а особенный. Борода большущая, сам косая сажень в плечах... Увидал меня — и как сквозь землю провалился...

— Не врешь? — спросила Степанида.

— С места не сойти, коли неправда!.. Не просто, видно, человек, а тайная сила. Слыхала я про горного старца. Показывается он только перед бедой. И с Алешкой он неспроста разговаривал. Ведь Алешка-то не старой веры. А горный старец бритоусов да табашников шибко не любит. Ох, неспроста это, девоньки!..

— Ну, запричитала! — недовольно сказала Марьюшка.

Ей стало не по себе.

В раскомандировочной избе сидел сам надзиратель Ардалион Петрович. Масляными глазками смотрел он на Степаниду и теребил реденькую бородку.

— Тебе, Степанидушка, велю при конторе остаться...

Закручинилась девушка, стала упрашивать надзирателя не разлучать ее с подругами.



— Ты, я вижу, поперешная. Ну, да и мое слово — кремень. Ступай, милушка, пока добром говорят.

Страшное почуялось девушке в ласковых словах надзирателя. Остаться при конторе — значит попасть ему в руки.

«Все равно не поддамся», — решила она.

Весь этот день тревожно было на душе у Марьюшки. Беспокоилась она и за участь подруги, и за Алешку. Неужто таинственный горный старец предсказал ему несчастье? Работа валилась из рук. Едва дождалась конца смены и, сдав урок, заторопилась домой.

Невдалеке от шахты заметила она кучку рудничных рабочих. По сумрачным лицам их, по отрывистым гневным выкрикам видно было, что произошло несчастье.

— Канат-то гнилой попался, он и сорвись.

— С большой высоты упал, все кости сломаны...

— А начальство что глядело?

— Начальство...

Рабочий сплюнул и крепко выругался.

Марьюшка подошла вплотную, сердце у ней замерло.

— Что случилось?

— Убился тут один, — хмуро отвечали ей.

— Где он?

— А тебе на что? Вон лежит под рогожей.

Марьюшка увидела высунувшиеся из-под рогожи ноги в лаптях. «Нет, это не Алеша», — подумала она с облегчением. Ее любезный щеголял в добротных сапогах.

Теперь осталось только пойти в контору узнать о судьбе подруги. Но в контору ее не пустили, и в горестном раздумье Марьюшка направилась к себе в землянку.

В землянке было темно. Кто-то поднялся навстречу Марьюшке.

— Ты, Параня?

И вдруг знакомый, родной голос отозвался из тьмы:

— Марьюшка! Доченька!

Девушка остановилась.

— Тятенька! Ты ли это?

— Я, доченька!



— Ой, радость-то какая! Как ты сюда попал? На-долго ли?

— Повидать тебя пришел. Видел утром Алешку Гамаюна. Он мне и показал твою землянку.

— Отдохни, тятенька, а я той порой обед сготовлю. В это время пришла Параня и узнала давешнего старика.

— А ведь я, дедушка, испугалась: думала, что самого горного старца увидела. У меня руки и ноги от страху отнялись.

— Вот до чего дожил: люди стали бояться. Оттого, видно, что стал вроде медведя-шатуна.

Рассказал Пимен Карпович про свои да Евдокимовы злключения. Марьюшка тихо плакала, слушая спокойную речь отца.

— Ты-то хоть как живешь? — спросил он дочь.

Тут Марьюшка решилась попросить у отца благословения выйти замуж за Алексея.

Долго молчал Пимен Карпович и наконец молвил:

— Кабы нашей веры был... Гляди сама: твой грех — твой и ответ.

— Любит он меня, тятенька.

— Ну, это баловство. Вот то, что работник добрый, — это главное.

— Так как же мне быть, тятенька?

— Сама решай, — уклончиво ответил Пимен Карпович. — Ты теперь сама себе хозяйка. Неволить тебя я не стану.

На другой день раным-рано он простился с дочерью и подался в тайгу, держа путь к Тагилу.

Как это случилось, Марьюшка и сама не могла объяснить. Но иначе она поступить не могла. Когда Степаниду, любимую ее подружку, конторский служитель поволок в машинную, она завопила во весь голос:

— Девоньки! Что же вы смотрите? Докудова это будет?

И вцепилась в насильника. За ней вся девичья артелка, побросав тачки, с визгом кинулась на подмогу. Служитель из разъяренной толпы еле вырвался. Убежал в контору и затворился на крюк.

Услыхав об этом, вся девичья смена побросала ра-



боту. Из шахты вылезли и рудничные рабочие. Похвалили девушек.

— Кто это вас надоумил? Давно пора спустить в шахту рудничное начальство.

Надзиратель той порой отправил вершника за полицией.

Утром прискакал на рудник капрал с тремя полицейскими служителями. Стали сгонять рудничных к конторе.

Некоторые из девушек, упав духом, говорили Марьюшке:

— Из-за тебя заваруха началась, а нам отвечать придется.

Та выпрямилась, сверкнула глазами:

— Ну, что ж, пускай я в этом деле виноватая, только знайте: не за себя вступилась, за всех нас... И ответ в том буду держать.

Сама пошла впереди всех к конторе. Там уже собрались работные люди.

Из конторы вышел капрал, высокого роста детина с колючими усами, за ним — Курица и служитель в изорванном кафтане. Полицейские стали вокруг.

— Эй, вы! — гаркнул капрал так, что галки поднялись с соседних елей. — Бунтовать вздумали? Кто зачинщица? Выходи сей минут.

Движение прошло в толпе. Марьюшка стояла в переднем ряду и смело глядела на начальство. Курица шепнул что-то на ухо капралу, и тот яростно закричал на девушку:

— Ты зачинала бунт?

— Она, она, родненький, — затараторил Ардалион Петрович. — У ней и брат беглый, и родитель в бегах. Вся порода бунтовская.

— Взять! — распорядился капрал.

Двое полицейских служителей подошли к Марьюшке. Вдруг из толпы выскочил парень. Это был Алешка.

— Не трожь! — крикнул он, и оба служителя остановились.

Капрал вытащил из-за пояса пистолет. Парень кинулся к нему. Ударил по руке. Пистолет выпал. Кто-то крикнул:

— Бей иродов!

Толпа двинулась как один человек. Капрал успел



вскочить на коня, остальных смяли. Били смертным боем, отплачивали за все обиды.

— Бежим, Марьюшка! — крикнул Алешка.

Девушка покорно пошла за ним, смутно сознавая, что с этой минуты начался поворот во всей ее жизни.

Далеко-далеко в сибирской стороне спасались двое беглецов: парень с девушкой. Они остановились в избушке старого рыбака на берегу Убинского озера.

День был ясный. Ветер шуршал в камышах. Они росли густо, чуть не до половины озера. В камышах крикали утки. На угоре стояла избушка; там старик, присев на пенек, вязал сети. Над костром в котле варилась уха, и дымок весело крутился и таял в чистом утреннем воздухе. Березовый колок нарядно зеленел поодаль. Могучая Барабинская степь лежала по одну сторону, по другую серебрилась широкая гладь озера.

Парень всматривался вдаль. У него были рыжие волосы и большие рабочие руки. Подруга его следила за костром.

— Пожалуй, сегодня пойдем, Марьюшка...

— Отдохнуть бы надо, Алеша, — отозвалась та.

Старик поднял лицо со следами страшной казни. Ноздри были вырваны, на лбу и на щеках лиловыми рубцами обозначались следы клеймения.

— Куда вы, птички перелетные? Оставайтесь, погостите. Глядите, какая благодать кругом. А я рыбки вам наловлю, утиных яиц сколько хочешь в камышах. Я вот привык к здешнему месту, так оно мне другой родиной стало.

— Ты, дедушка, наверно, повидал немало на своем веку. Посоветуй, где лучше.

— А где труд приложишь, там и дом найдешь. Велика земля российская. Я ее, можно сказать, из конца в конец прошел. В Нерчинских рудниках работал, и то выжил.

— Как же ты попал в такую даль?

— Не своей волей, сынок. Шел за нашим мужицким царем. Думали светлой жизни добиться, барина с шеи спихнуть. Да вишь, как оно обернулось. Барин с солдатами обратно пожаловал в усадьбу, а нас казнили, да в Сибирь.

— Вот и мы тоже бросили родной край. Довели



лихие начальники до петли. Бежали куда глаза глядят, лишь бы жизнь спасти.

— То и плохо, сынок, что мы только на ноги надеемся. Кабы всем народом подняться, перевернули бы жизнь по-своему. А в одиночку никакое дело добром не сделаешь. Побывал я в разных местах: и в Красноярском городе, и в Колывани, и в полуденную сторону ходил. Там тепло стоит круглый год и живут люди нерусского племени. Оставляли меня на жительство, а все-таки потянуло назад. Русская земля — вся скрозь наша, и устроить мы ее должны для себя. Никто, кроме нас, не устроит.

— Верно, дедушка. Золотые твои слова.

— То-то и есть... Сами-то вы дальние?

— Дальние. С уральских горных заводов.

— Знаю. Бывал в ваших краях. Немного осталось до Катеринбурха дойти, да сила наша не взяла, а то бы тряхнули заводами. Как на железном-то месте уперлись бы, так нас бы оттуда и не сковырнуть.

— Сам-то ты не земляк нам?

— У кого руки в мозолях, те завсегда друг друга земляки... Куда же все-таки вы путь держите?

— Охота нам дойти до стороны алтайской. Там, сказывают, еще нет ни приказчиков, ни чиновников.

— Где их нет! Обходите стороной Колыванские заводы и город Барнаул. Там таких, как наш брат, ловят. А силы хватит, пробивайтесь в горы.

— Силы у нас хватит. Надо — так до край-света дойдем, а жизнь по-своему устроим. Правда, Марьюшка?

— Так, видно, — отозвалась та. — Садитесь есть — уха поспела. А куда идти, завтра решим. Утро вечера мудренее.

Но решение все же приняли до утра. Марьюшка настояла на своем. Здесь, в привольных Барабинских степях, молодые люди остановились навсегда. Старик обрадовался.

— Будет кому успокоить мою старость, схоронить мои косточки в сырой земле. А может, доведется еще названных внучат нянчить.

Старик лукаво поглядел на Марьюшку.

Та покраснела до корней волос. Алешка захохотал:

— Все-таки по-моему вышло: без родительского благословения обошлись.



— Чему радуешься? Кабы не бунт, не пошла бы с тобой.

— Теперь уж поздно: назад не воротишься. А что дальше будет, поглядим.

И он обнял ее круглые плечи сильной мускулистой рукой.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Отольются волку овечьи слезы.*

*Пословица*

Настасья Бобылева, оставшись в Сылве одна-одиношенька, чтобы заглушить тоску и тревогу, занялась своим бабьим делом: тканьем да беленьем.

Однажды в полдень, когда она расстелила холсты на огородной полянке, стукнула калитка. Явился нарядчик с грозным приказом:

— Ни минуты не медля быть в конторе!

У Настасьи сжалось сердце, хотя она и была готова ко всему. Больше всего страшилась за участь будущего ребенка. Пусть бьют, пусть стегают плетьюми, только бы удалось сберечь его едва затеплившуюся жизнь. С нежностью думала она о том, что родится обязательно сын и что назовет она его в честь отца Евдокимом.

В конторе сразу привели к Федосову. Тот застучал по столу кулаком и разразился площадной бранью.

— Если не скажешь, куда сбежали Бобылевы, в подвале сгною...

— Хоть ножом изрежь — не скажу!

— И изрежу, — пообещал Федосов. — Окиня!

Вошел мужик с тяжелым взглядом маленьких звериных глаз, плечистый, сутулый.

— Чего угодно? — спросил он басом.

— В подвал! — распорядился приказчик.

Окиня железной рукой схватил Настасью за плечо и повел из конторы. Как неживая, шла она рядом с ним. Окиня обошел контору и остановился там, где меж густого бурьяна прятался вход в подземелье. Заскрежетал ключ, и дверь, окованная железом, медленно отворилась. Из темной пасти подвала пахнуло могильным холодом. Настасья спустилась по камен-



ным ступеням. Дверь захлопнулась, и она очутилась в крошечной тьме.

Ужас охватил ее. Мелькнула мысль, что уже больше никогда не увидит ни света солнца, ни людей, что навеки похоронена здесь, в каменном подвале. Вспомнилось, как рассказывали еще в Невьянске работные, замуровавшие по приказу управителя такого же, как она, несчастного. «Мы его закладывали кирпичами, а он только стонал. Не молил уж и не бился...» От этого воспоминания липкий пот выступил на лбу. Неужели смерть грозит и ей и ребенку?..

Тьма свинцовой тяжестью давила, обволакивала, точно сжимала клещами. Смертной стужей дышали каменные стены. Упала Настасья на сырой земляной пол в безысходной тоске. То, что случилось, походило на страшный сон.

На другой день выпустили ее. Обессиленную, бледную, повели снова в кабинет управителя. Федосов на этот раз не кричал, не бранился, не грозил. Начал с тихого уговора:

— Ну, как? Надумала? Скажешь, куда муж бежал?

— Вот те крест, не знаю.

— Стало быть, не хочешь выдать... Не беспокойся, мужа твоего я и под землей сыщу.

Однако отпустил Настасью домой, приказав учредить за ней строгий надзор. По дороге нагнала ее соседка:

— Вечор к нам перевозчик с Дикой Утки приехал. Сказывает, будто твоего Евдокима перевозил.

Не чуя под собой ног, торопилась Настасья в соседскую избу. Старик перевозчик уже собирался уходить.

— Каких, дедушка, людей перевозил на прошлой неделе?

— Твоего хозяина, милушка. Оприметил я его, хотя он шляпой и закрывался. А было их двое: у одного пистолет за поясом, у твоего — топор, и путь они держали на Молебский завод.

— Спасибо тебе, дедушка, за добрую весть. Только ты, ради бога, никому не рассказывай, что его видел.

— Знаю сам, милушка, всяко помнится, да не всяко молвится. У самого спину-то не единова расписывали вицами да плетями. От яковлевских псов лютых



мужик твой бежал, а демидовские еще злее. Ну, да теперь тепло. Дом без крыши, хоть где ночуй, а мать-дубравушка схоронит и прикроет. Не бойся, милушка, не пропадет твой хозяин.

По приказу Федосова Настасью выселили из господского дома, и она стала жить в пустой избе, давно оставленной хозяевами.

В скором времени зашел попроведать ее старик Шипулин. Снял с плеч мешок и поставил в угол.

— Вот тебе, хозяйка, припас. Все артелью собирали. Пеки хлеб да не тужи. Не хватит — еще доставим. — Настасья была тронута до слез.

Евдоким с солдатом пришли в Молебку тайно, когда уже стемнело. По глухому ворчанию железоделательных фабрик, по розовым вспышкам над жерлами доменных печей понял Евдоким, что завод работает на полный ход.

Мушкетерский братан оказался мастером дощатой фабрики и человеком доброй души. Расспросил беглецов, как они жизнь свою думают устроить, и приютил обоих. Евдоким сказал, что пробирается в Петербург искать защиты от притеснений, а больше всего для того, чтобы добиться опробования своих машин.

— Так не тот ли ты Бобылев, про которого и здесь мы наслышаны? Было бы добро, кабы ты согласился нам в заводском действе помочь. Пришел заказ с Суксунского завода: отлить чугунные станины для дощатой фабрики.

— Так ведь я беглый. Кабы из-за такого случая не стряслось беды.

— Не бойся. Мастеровые не выдадут, потому как ты наш брат, а начальство не донесет по расчету, из своей выгоды.

— Ну, коли так, согласен.

В тот же день мастер познакомил его с поверенным, и Евдоким получил заказ: сделать модель чугунной станины для дощатой фабрики. С радостью взялся он за дело, и через короткое время по этой модели на Молебском заводе отлили две станины и увезли в Суксун на барке. Хорошо заплатил молебский приказчик и еще хотел дать заказ, да Евдоким не согласился.



— Человек я штрафованный, — сказал он, — и вы через меня пострадать можете. Мне идти надо дальше.

— Твое дело. Не буду неволить. На обратном пути заходи.

Евдоким приделся на заработанные деньги: купил рубашку льняную с вышитым воротом, кафтан суконный вишневого цвету, камзол лазоревый, шелковый кушак вместо домотканой опояски, вместо котов — сапоги с подбором. Пословица говорит: по одежке встречают, по уму провожают. Правду этой пословицы Евдоким проверил на собственном опыте. Теперь он шел, почти не опасаясь, что его схватят и опознают зотовские подручные. В Осе он выправил увольнительный билет, и хотя это стоило больших денег, но осталось еще и на покупку лодки.

Не особенно надеясь на милость барина, он послал из Осы пермскому генерал-губернатору Модераху «всеподданнейшее объяснение». В нем он писал:

«Будучи при заводах господина Яковлева с самого малолетства моего, по врожденной во мне деятельности устремил я свое прилежание к изучению наук для устройства заводских действий: столярное, резьбу разных фигур, точить вещи, малировать красками. Наиболее же механическую архитектуру, касательно до устройства машин заводского действия. Рукодеяния свои, одно за другим, все открыл управителю Зотову и произвел с лучшим успехом и чувствительною заводододержателю пользою, через что льстил себя надеждою, что труд мой не останется без вознаграждения. Но вместо того Зотов противоузаконным поступком стеснил меня без причины и, угрожая всеми бедствиями, имущество все отобрал без всякого остатка, от всего моего изобретения удалил, дабы не было сие полезное дело в знаемости, особливо раскатнолистное железо, которое усовершенствованием обратило на себя внимание, даже почесть, во всех частях света. В надежде на изъявленных законами подобных открытий и произведений, относящихся к государственной и всенародной пользе, решился я с объявлением моих художеств и с предъявлением самонужнейших моделей явиться в Санкт-Петербург, где должно».

Плыл он в лодке по широкой водной дороге и думал о том, что никакая на свете сила не заставит его бросить любимое дело. Неужели же полезность его



открытий будет снова подвергнута осмеянию невеждами и завистниками? Неужели на пути встанет непреодолимая преграда?

В глубине души его жила твердая уверенность в благополучном исходе задуманного предприятия.

«Есть правда, и я добуду ее», — упрямо внушал он себе.

Здесь, на величавом просторе Камы, он забывал о своем рабском состоянии. Ему казалось, что он свободен, как та чайка, задевшая белым крылом курчавый гребень волны. Во всю богатырскую ширь открывались перед ним пойма реки, правый берег, где стеной стояли сосны-великаны, и левый, весь заросший ивняком, с широкими лугами и веселыми согами. Кудрявая зелень кустов каймой тянулась по берегу и пропадала в туманной дали.

А здесь, на середине реки, только небо да вода. Покачивает лодку на волнах. Река полна жизни: плывут по ней соляные и железные караваны.

Тяжелые коломенки едва шевелят поносными, за ними бархоты, поднимающие до тридцати тысяч пудов груза, шитики и ладьи — строгановские, голицынские, лазаревские. Рыбачьи лодки подплывают к баркам. Продают рыбаки стерлядей, они тут же за лодкой висят на бечеве, продетой под жабры.

— Купи рыбу, ваше степенство, свеженькая!

— Отчаливай! Свою девать некуда.

Едет Евдоким, вдыхая полной грудью свежий камский воздух. Дорога ясна, не ясно только, что ожидает там, в Петербурге.

Сзади на корме мешок с сухарями — привычный в пути провиант. Воды — хоть всю Каму выпей. Спасибо тебе, матушка, что пособила беглому мастеровому уйти от злого начальства, от лютой казни!

Едет Евдоким, сам думает неотвязную думу: как-то пережила грозу Настасья? Удалось ли спастись отцу? А река дышит прохладой и вся блестит под солнцем, как будто плавится. Поскрипывают уключины, и с весел с плеском падают серебряные капли.

Глухи леса под Невьянском. Здесь и горы круче. В узле их вершина самой высокой — Белой горы. А леса дремучие — сплошь урман.



Третьи сутки пробирался сквозь лесные дебри Пимен Бобылев. В Невьянске погостил у свата Чулошникова. Долго жить боялся: как бы не заметили. Ушел в демидовские владения к Нижнему Тагилу. Насилу отыскал в раменье избушку старца Анисифора. Помолитвовался. Никто не ответил. Пимен Карпович тронул дверь, она оказалась незапертой. В самодельном гробу лежал старец в белой холщовой одежде. Закоченевшие персты, облитые желтым воском, держали огарок свечи.

Опустился Пимен возле гроба и поцеловал руку покойного.

А за окном бурлила неугомонная лесная жизнь. Птицы свистели, шептались о чем-то сосны, облака плыли над головой в бездонной и яркой голубизне небес, где-то совсем близко журчал родник. Солнце поднималось над лесом и золотило гребень шихана на соседней горе. Могуче поднималась она. Все вокруг дышало жизнью и волей.

Схоронил Пимен Карпович старца, но не остался в его избушке. Не хотелось быть одному. Двинулся дальше к Нижнему Тагилу. В тот же день услышал он стук топора. Подошел ближе и видит: углежоги. Вспомнил Пимен Карпович молодые лета, первое свое мастерство: как вырубленные дрова в кучи класть, как дернить, осыпать и жечь. Решил: будь что будет и вышел на поляну к куреню.

Кучеклады, таскавшие поленья, сперва испугались, думали, что перед ними леший: борода большущая, зипун изодран, а по сложению видать — человек медвежьей силы.

Пимен Карпович их успокоил, только спросил для опаски, нет ли поблизости надзирателя. Те сказали, что нет. Тогда старик показал, как правильно надо складывать дрова в кучи.

— Класть-то бы надо на ровном месте, а вы поставили кучу на косогоре. Ветром будет шибко раздувать огонь, и оттого угля из кучи выйдет меньше. Поняли?

— Поняли, — отвечают. — Так нам староста велел.

— Стало быть, плохо ваш староста знает куренное дело.

Снял Пимен Карпович зипун и взялся за работу. Выбрал ровное место, укрытое со всех сторон, стал



класть кученок. На середине выложил клетку из дров, а к ней ряд за рядом велел ставить дрова. Клали до тех пор, пока не получилась куча вроде купола две с половиной сажени в вышину. Заложили кучу дерном, проделали внизу «окна» и зажгли.

— Ну, теперь, ребята, глядите в оба да слушайте, как будет дышать куча.

Парни оказались калиновскими мужиками, из-под Камышлова.

— Нас ведь силом взяли. Сотский наш да служитель с Верх-Исетского завода пригнали нас прямо с поля. Вот и маемся, а своя работа стоит, только бабы да старики дома остались.

— Да хоть бы топоры были добрые. Топоры тупые, пилы не разведены, вместо точильного бруса — камень песчаный, а урок спрашивают. Дают на день две куренных сажени поставить, а куренная-то с походом...

— Это уж как водится, — согласился Пимен Карпович.

— Оставайся, — сказал один из углежогов, пожилой мужчина с длинной узкой бородой. — А о харче не заботься — прокормим.

— Остался бы, да страшновато — беглый я.

— Эва! У нас в лесу только и хорониться. Мы тебя не выдадим.

— Ладно, поживу, сколь можно.

Остался Пимен Карпович работать с калиновцами. Мужики оказались добрыми. Поселился он в балагане с тремя земляками: который постарше, был Щипачев, звали его попросту Степанычем, другой — малого росту, но проворный — Порошин Андрей, а самый молодой и самый задорный — Яков Казанцев. Этот больше всех клял куренную работу. Другой раз Щипачев даже говаривал:

— Ты, Яша, с языком беды наживешь.

— Мне, Степаныч, все равно: что на роду написано, то и случится, а терпеть я не согласен.

Тяжела была куренная работа. Поленницы клали так, чтобы меж поленьями не проходил бадог куренного мастера, а это сделать нелегко.

— Каждое полешко нашим потом и кровью полито, — говорил Щипачев, поглаживая седеющую бороду.

Пимен Карпович учил калиновцев куренному мас-



терству: как утрамбовывать кучу, как открывать «окна», чтобы огонь ходил куда надо. Он и довел до конца обжиг. Посмотрел однажды, понюхал едучей смолевой гари и молвил:

— Как будто куча сухо дышит. А ну, ребяташки, готовься! Снимай дерн, потом и дрова. Гляди-ка, уголек какой вышел — звон звоном.

За день умаялись работники. Уснул и Пимен Карпович на лужайке у поленниц. Проснулся уже к вечеру. В соседних кустах фыркала лошадь. Крупного роста мужчина в добром суконном кафтане стоял возле разобранного кученка. Он держал в руках уголь и похваливал:

— Вот всегда бы такой жгли, а то один мертвяк возите. Из такого дерева, как здесь, самый лучший уголь получаться должен. Вдругорядь, ежели трухлявый будет, выпорю.

Голос человека в кафтане показался Пимену знакомым. Где и когда они встречались? Наверно, староста либо надзиратель. У Пимена Карповича засосало под ложечкой. Как бы потихоньку добраться до кустов? Но только встал на ноги, как человек в кафтане повернулся к нему лицом, и Пимен Карпович едва не вскрикнул: это был смотритель всех лесных дач Верх-Исетского горного завода — Зиновий Лоцманов. Были они с Пименом почти однолетки. Когда-то давно, лет тридцать назад, оба служили вместе в куренях возле Таватуя; один — надзирателем, другой — куренным мастером. Тяжелое было время, и не добром поминали Зиновия Петровича жигари, кучеклады и углевозы; говорили о нем, что хозяйское добро бережет пуще своего, и под руку ему лучше было не попадаться.

«Вот нелегкая принесла! — с досадой подумал Пимен Карпович. — Видно, придется отправляться в Верх-Исетск».

Лоцманов сразу узнал его.

— Ты каким случаем здесь, Бобылев?

— Повинюсь перед тобой, как на духу: из Сылвенского завода бежал... живот спасая.

Нахмурил густые брови Зиновий Петрович.

— А знаешь, что полагается за побег?

— Как не знать? Знаю... Душа грешит, тело в ответе. Только мой-то грех подневольный. Кабы не сын, не побежал бы никуда.



— О сыне твоём мы тоже наслышаны. Видать, вся порода ваша воровская.

— Зря судачишь, Зиновий Петрович.

— Ты ещё дерзить вздумал?.. Да знаешь, что я с тобой сделаю?..

В это время на поляну вышли ещё двое, судя по обличью,— конторские служители.

— С кем это ты, Зиновий Петрович, встретился? — спросил один из них, подозрительно уставившись на Пимена. Тот стоял ни жив ни мертв: конец пришел, сейчас возьмут раба божия и увезут в управу благочиния в Верх-Исетск али прямо в Екатеринбург.

— Наш работник,— сказал Зиновий Петрович,— из Брусян...

И пошел прочь.

Пимен Карпович с благодарностью посмотрел вслед своему бывшему начальнику, ошеломленный столь неожиданным благополучным исходом. Однако искушать судьбу вторично не стал и в тот же день ушел из куреня.

Июньской белой ночью, благополучно миновав городские заставы, Евдоким пробирался к особняку господина Яковлева. В воде каналов видел он зыбкое отражение каменных зданий. Когда дошел до знакомого уже дома с бельведером и коринфскими колоннами, сердце шевельнуло тягостное предчувствие. Что-то опять ждет его здесь?

Переночевав в людской, он с утра вышел во двор. Чугунная ограда отделяла его от цветущего сада. Невольно залюбовался Евдоким незнакомыми чудными растениями. В это время дверь в сад отворилась, и во двор вышел молодой человек в темно-синем фраке, с щегольским жабо, с завитыми белокурыми волосами.

— Поликарп!

Да, это был старый приятель. Он ещё больше похудел и побледнел с последней встречи. Обнялись земляки.

— Какими судьбами ты здесь? Неужели опять бежал с завода? Пойдем ко мне — расскажешь.

Поликарп Иванович Голдобин жил в небольшом флигельке. Перед окном зеленели кусты крыжовника. В большой светлой комнате Поликарп прибил к моль-



бертам холсты. Глаз не мог оторвать Евдоким от картин. Чего тут только не было! Смелая кисть художника изображала то груды развалин, то волнующееся море, то кладбище, озаренное фосфорическим лунным светом. На одном из холстов был написан портрет мужчины. Черные вьющиеся волосы, смеющиеся карие глаза, одутловатое лицо и чувственный пухлый рот женолобца. Что-то неприятное и враждебное почудилось Евдокиму в этом тщательно выпisanном изображении.

— Кто это?

— Алексей Иванович Яковлев — наш с тобой господин и владетель.

— Вон он какой! А ведь я опять пришел искать правды. Бежал я, Поликарп, от неминуемой казни. Не могу больше оставаться в прежнем состоянии. Чую в себе силы великие, способности создать многое к пользе отечества. Хочу добиться, чтобы мне дали возможность изобретение мое на практике показать. За тем и в Петербург пришел.

— Эх ты, голова! Если бы ты знал наши порядки, не ходил бы за тридевять земель.

— А что?

— Нет правды, Евдоким, нигде нашему брату правды нет. Зря ноги маял.

— Врешь! Сквозь стену пройду, а своего добыю. Не может того быть, чтобы правды не найти.

Остался Евдоким у Поликарпа, почистился с дороги, помылся и на другой день отправился к барину. Попросил доложить: плотинный мастер Сылвенского завода просит, мол, принять для чрезвычайного сообщения. Лакей провел его в апартаменты. Голова у Евдокима закружилась. В такую палату две, а то и три мужицкие избы вошли бы. Колонны мраморные, с золотыми завитками вверху, тяжелые бархатные занавесы, ковры на полу — нога тонет. Барин сидел в кресле и курил длинную трубку. На темной зелени фрака сияла большая золотая медаль. Как он был похож на свой портрет! Лениво повернул голову:

— Кто такой?

— Плотинный мастер Сылвенского завода.

— О чем просишь?

— Прошу у милости вашей дозволения механическое мое изобретение опробовать.



— Почему не на заводе опробовал?

— Приказчики Зотов и Федосов препятствия в том чинили.

Господин Яковлев недовольно поморщился и пустил изо рта тонкую струйку дыма.

— Может быть, ты плут и обманщик?

— Извольте посмотреть мои рисунки и планы!

Развернул Евдоким несколько листов, бережно хранимых во всех приключениях. Господин Яковлев вынул из кармана круглое стекло и начал разглядывать рисунки.

— Неужели сие твоё художество?

— Ежели не верите, прикажите изготовить по этим рисункам модели. Дайте мне такую возможность... Вот это, извольте видеть, огнедействующая паровая машина. Сколько пользы она может принести в заводском действе. Могу сделать полный её чертеж.

— Любопытный сюжет! Что же, напиши чертеж, а я тебя через некоторое время вызову.

Барин зевнул и что-то не по-русски крикнул. Вошел лакей и тронул Евдокима за рукав. На том и кончилась аудиенция.

Купил Евдоким бумаги гладкой и плотной, черной китайской туши, циркуль. Стал снова делать чертеж своей огнедействующей машины. Думал, позовет барин. Но прошла неделя-другая, а барин не звал.

В 1807 году, по прибытии царя из армии, было разрешено людям всякого звания смотреть «усовершенствование машин, действующих в сверлении и точке пушек».

Пользуясь этим разрешением, Евдоким побывал на литейном пушечном дворе. Здесь он познакомился с литейным мастером. Тот, узнав, что Евдоким с Верх-Исетских горных заводов, удивился:

— Зачем тебя в такую даль занесло?

— Дело мое государственное.

Мастера позвали, но он все же успел пригласить:

— Заходи, друг, после смены.

В тот же день Евдоким побывал у него. В тихом домике было уютно. Мастер жил вдвоем с женой.

— По-городскому живете,— похвалил Евдоким.

— Как сказать, глядя по времени. Работа наша, сам знаешь, не из легких. На прошлой неделе семерых сварило, вместе с мастером. Но все-таки на казенных



заводах лучше, чем на партикулярных. Это уж так.

Разговорился Евдоким с мастером о своих планах, о паровой и воздушной машинах. Тот выслушал и посоветовал:

— Такие машины могли бы применить на оружейных заводах. Просись механиком на Александровскую ружейную фабрику.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают.

— А что?

— Крепостной я.

— Худо, приятель. Никогда дарованиям твоим цены настоящей не будет, покуда не получишь вольную.

— Что же делать?

— Напиши прошение министру финансов графу Васильеву.

Как в тумане, ушел от мастера Евдоким. «Надо посоветоваться с Поликарпом»,—решил он. Того не оказалось дома. Евдоким взял положенный на условленном месте ключ, открыл дверь и стал ждать. Вновь смотрел он на холсты, сиявшие свежими красками. Один из них остановил на себе его внимание: это был только что начатый портрет молодой женщины. Что-то привлекательное, и в то же время отталкивающее заключало в себе ее красивое лицо с широко открытыми светлыми глазами, капризной линией рта и непокорными завитками белокурых волос. Кисть художника оживила эти черты. Написано было одно лицо, но как написано! Сам художник в душе, Евдоким невольно залюбовался искусной работой своего земляка.

— Люблю ее,—сказал Поликарп.—И сам знаю, что доведет она меня до гибели... Все равно. Пускай хоть и мимолетное, но счастье...

— Счастье нашего брата только по губам мажет...

— А мы разве не такие же люди, как наши господа? Мы больше их умеем... Вон, видишь, на столе лежит книга? Французская книга. Я выучился французскому языку, чтобы знать все, что знают мои господа, а может, и больше, и добился своего.

— Вот и я тоже хочу добиться. Думаю просить у министра финансов опробования моих деталей и отпускной грамоты, чтобы определили меня на казенные заводы.



— Попытайся. Все надо испробовать, все средства и пути. А я тебе помогу... Хотя, если говорить по совести, не верю, чтобы во дворцах жила правда.

В прошении своем графу Васильеву Евдоким писал:

«Несчастный жребий состояния моего, сколько возможно было, переносил я с надлежащим терпением, надеясь когда-либо последовать лучшей перемене судьбы моей. Но тщетно ожидание мое! Нет конца страданию моему!»

Дальше он писал о том, как «сделал и представил главному заводов правлению модель воздушной машины, с присоединением к оной разных гвоздильных и проволокотягальных железных изделий, почему и просил по испытании его в механике определить в казенные заводы к механической должности»; для доказательства своего знания обязался он сделать той машины модель.

На следующий день Евдоким уже стоял в приемной министра среди десятка других просителей.

Пожилая барынька в салопе жаловалась:

— Такое горе, такое горе... Муж у меня столоничальником служил... Ох! До пенсии-то всего три года оставалось... И свои же сослуживцы подкопались...— Старушка сморкнулась в платок.— Донесли, будто мой-то взятки берет. А кто же их не берет, взятки-то? Другие сотнями хапают... Ох, горе!.. Погубили человека...

Зло взяло Евдокима, так бы и обругал старуху, но двери отворились, и показался министр, седой, с бескровным лицом человек, в сопровождении секретаря. Он медленно передвигал ноги и с безразличным выражением лица выслушивал жалобы. Дошла очередь до Евдокима. Он сразу же заявил о государственной пользе своего изобретения.

— Генералу Вязьмитинову! — бросил на ходу министр, даже не взглянув на Евдокима, и засеменил дальше.

Что делать? Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Отправился Евдоким в главный штаб к генералу Вязьмитинову. Тот его принял, а на прошении наложил резолюцию: «Возвратить министру финансов по принадлежности».

Пришлось возвращаться в министерство финансов.



На этот раз принимал секретарь: министр болел. Секретарь прочитал прошение и сказал, что доложит. Через день Евдоким с радостью узнал, что министр разрешил апробацию воздушной машины, но радость оказалась преждевременной: граф Васильев умер, и все надежды на быстрое решение вопроса рухнули.

Тогда Евдоким решился на последний шаг: обратиться с прошением на высочайшее имя.

Вот что он писал:

«Ревнуя о пользе и славе государства, принял я смелость представить Вашему императорскому величеству мою способность в произведении желаемого делания разных сортов железа на казенных заводах...»

— Зря ты это,— заметил Поликарп.— Напиши лучше о бедственном положении твоём и твоего семейства.

— Это напоследок,— ответил Евдоким.— Слушай дальше.

«Государственная польза, происходящая от усовершенствования художеств, состоящих как на казенных, так и на партикулярных заводах,— есть весьма велика, ибо сей источник государственного богатства после земледелия может почитаем быть во втором классе».

— А не в первом?

— Нет,— отвечал Евдоким, заканчивая свою эпистолу.

«От высочайшей воли Вашей зависит сделать две пользы: произвести на государственных заводах медные и железные изделия во всем их совершенстве, а мне дарованием свободного состояния и с определением на казенных заводах к механической должности весьма изволите меня и семейство мое осчастливить».

В заключение он просил «опробовать в своем достоинстве художеств по механическому искусству на изображение практических моделей машин, которые оборотом еще и в России не существуют».

Начал Евдоким собираться во дворец. Поликарп его оглядел с головы до ног.

— Ты что же, думаешь, тебя в таком виде до царя допустят? Надевай хоть мое!

Так и сделал Евдоким: надел костюм приятеля, волосы намаслил и пошел ко дворцу. У ворот под высокой аркой остановил его офицер:

— Кто таков и по какому делу идешь во дворец?



Рассказал Евдоким, что дело его государственное, что изобрел он огнедействующую и воздушную машины.

— Открытия мои могут случиться к пользе армии, а также всего отечества нашего.

Офицер, молодой человек в блестящем мундире с боевыми орденами, выслушал Евдокима внимательно, прочел его прошение и приказал часовым пропустить.

Евдоким зашел во дворцовую ограду. Здесь стояли десятки карет с позолоченными гербами. Гайдуки и лакеи в богатых ливреях стояли возле экипажей.

— Куда идешь, мужик? — крикнул один из них.

Евдоким, не обращая внимания, поднимался по мраморным ступеням. Шел он в царские чертоги, и казалось ему, будто он не один идет, а идут вместе с ним тысячи крепостных со всей России, голодные, забитые, ищущие правды. И от сознания, что он их нечаянный избранник, ходатай, прибавлялось у Евдокима смелости. Не замечал презрительных и насмешливых взглядов, которыми провожали его.

Никогда такое и во сне бы не приснилось. Сколько стояло вокруг мужчин в мундирах с золотым шитьем, женщин в атласах и горностаях.

Толпа двигалась и разноголосо гудела. Но, как ни прислушивался Евдоким, ни одного слова русского не слышал. Рядом с ним стояла красавица с голыми плечами, возле нее — важный барин во фраке с золотой звездой, с алой муаровой лентой через плечо. Он сердито покосился на Евдокима:

— Кто ты и как сюда попал?

— Пришел сюда ради государственного дела.

— А ведомо тебе, что людям подлого звания воспрещен вход во дворец?

Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, но вдруг по толпе прошло движение, и сразу стало тихо. «Идет, идет», — зашептались кругом. В середине моментально образовался проход. По нему медленно двигалась сияющая золотом группа людей в военных мундирах с эполетами и орденами. Впереди шагал, любезно улыбаясь и кланяясь на обе стороны, молодой еще, но уже лысоватый мужчина с женоподобным лицом, с бледно-голубыми глазами, с заметным брюшком. Ничего примечательного не было в этом человеке,



но все смотрели на него с обожанием. «Царь!» — подумал Евдоким и побледнел от волнения: вот кто решит наконец его судьбу. Только бы не пропустить момент. Когда царь проходил мимо, он протянул ему свое прошение. И тут произошло неожиданное. Рука в белоснежной перчатке брезгливо отдернулась. Светлые голубые глаза остановились на Евдокиме и враз потемнели от гнева. Красивое холеное лицо исказилось гримасой.

— Как ты посмел?..

Царь остановился. Свита в одно мгновение окружила его с тревожным шепотом. Он бросил несколько нерусских слов стоявшему рядом высокому генералу с рыжеватыми бачками. Тот, в свою очередь, сказал что-то стоявшему сзади. И не успел Евдоким опомниться, как с той и с другой стороны выросли два гвардейца.

— Пойдем, приятель!

Евдоким, оцепенев, смотрел, как царь шел дальше вдоль живого коридора.

— Ну, чего встал? — услышал он и побрел с опущенной головой. Сначала его допросил начальник дворцового караула. Потом посадили в карету. По бокам сели гренадеры с обнаженными палашами. Везли, как важного преступника.

«За что это? — думал Евдоким. — Что я худого сделал?»

Доставили его прямо в полицейскую управу к обер-полицмейстеру генерал-лейтенанту Эртелю. Доложили, что сей неизвестного роду и звания человек тайно проник во дворец с неизвестным намерением. Обер-полицмейстер, не старый еще мужчина в генеральских эполетах, сидевший с непроницаемым выражением лица, потребовал документы. Стал Евдоким по порядку рассказывать, почему он пошел во дворец, и прошение свое показал. Обер-полицмейстер долго читал прошение. Потом испытующе поглядел на Евдокима. Бумагу приобщи к делу, а Евдокиму сказал весьма внушительно:

— Механическое искусство требует специального образования, и не твоего холопского разума сие дело. На то есть люди просвещенные и присягой обязанные. Тебе же впредь советую не умничать и высоких особ своими тлупыми прожеками не беспокоить. Пока



будет сделан запрос, останешься под арестом, а после тебе будет объявлена степень наказания.

Полицейские служители потащили Евдокима на съезжую. Здесь его втолкнули в полутемную камору, и он очутился в компании воров, бродяг и прочих темной жизни людишек. С него тотчас же стащили лазоревый камзол, а когда он начал сопротивляться, избili. Избитый, ограбленный, в одном нижнем белье, сидел он на зловонном грязном полу. Тело ныло от побоев, а в голове билась мысль: «Стало быть, и впрямь, как говорил Голдобин, нет правды, нет защиты простому человеку даже в самом дворце. Значит, и царю нет дела до нас, простых людей. У кого же тогда искать заступы?»

Через два дня отослали его с полицейским служителем к господину Яковлеву. Поликарп увел его к себе, уложил на постель и заставил выпить лекарство. Еще два дня отлеживался Евдоким.

— Ну, что? — спрашивал Поликарп. — Узнал теперь, где правда?

— Век не забуду.

— А знаешь ли ты, что предписано отправить тебя на Верх-Исетский завод? Пришло о тебе распоряжение пермского губернатора.

— Такова уж, видно, злосчастливая моя судьба. Все кончено, Поликарп: не видать мне моих машин, моих трудов.

Он развернул листы бумаги, где были выведены китайскими чернилами чертежи. Голова его пылала. Последняя надежда рухнула, и он словно стал на край пропасти, где кончались все пути. Оставалось одно: вернуться на заводы в рабство к Зотовым, к Федосову. Но при одной мысли об этом Евдоким содрогнулся.

Ни слова не говоря, он взял планы огнедействующей и воздушной машин и начал рвать и комкать их.

— С ума ты сошел! — закричал Поликарп, хватая приятеля за руку. — Сгодятся твои планы...

— Кому? — Евдоким поглядел на приятеля воспаленными глазами. — Слушай, Поликарп. Много я за эти дни передумал. Покудова сидел на съезжей, дожидаясь царских гостинцев, всю жизнь свою вспомнил. Скажи на милость, разве мы с тобой не для лучшей доли родились?

Он поднялся и стал ходить по комнате. Взгляд его



упал на портрет господина Яковлева. При колеблющемся свете сальной свечи черты лица владельца Верх-Исетских заводов принимали какой-то зловещий оттенок, словно это было само воплощение злой и беспощадной судьбы.

Поликарп поймал его взгляд, полный ярости.

— Видал у него медаль? Это золотая императорская медаль, и дана ему за выковку листового железа трехаршинной длины.

Ничего не сказал Евдоким: злоба плескалась в нем. Тайна мира сего раскрывалась перед ним в страшной своей наготе, того мира, где богатство умножается, а бедность унижается, где ни ум, ни талант не спасают от самовластия, от лишений и бедствий, где сама польза народная приносится в жертву тщеславию и корысти.

Тою же ночью Евдоким тайно покинул Петербург.

Старик Бобылев шел лесом, обходя деревни и заимки. Время было летнее, и ягода уже поспела. На гору поднялся. Стало видать деревню. Узнал Пимен Карпович сразу и место и селение. Ведь это пермяки. Здесь живет старый знакомец Иван Кумов. И так захотелось повидать приятеля, перекинуться словом, узнать про родных, про сылвенские дела. Спустился с горы. Перешел по шатким жердочкам через реку. У самой поскотины повстречал двух верховых. Присмотрелся — похоже, что сылвенские заводские служители. И те оглянулись и тоже, верно, узнали. Мелькнула мысль: не поворотить ли в лес, но верховые погнались по дороге через деревню, а изба Кумовых стояла с самого краю, совсем близко. Понадеялся Пимен Карпович на волю божью и зашагал к избе.

Дома оказалась только жена Кумова — Акулина. Удивилась баба нежданному гостю:

— По какому случаю пожаловал, Пимен Карпович?

— На волчьем положении очутился, на заячьей вакансии. Беглый я, Акулина Семеновна!

— Вот беда-то! Горький ты человек, горький, — говорила Акулина. — Бедная твоя головушка!

— Не реви, — сказал Пимен. — Слыхала, что в свя-



щенном писании говорится: «Не рыдай мене, мати...»  
Лучше покорми гонимого.

— Сейчас, батюшка!

Поел Пимен Карпович толокна с квасом. Разморило его с дороги. Пахло в избе сытным хлебным духом, в хлеву теленок мычал. Все было такое знакомое. Точно что-то оборвалось в душе у старика: ведь все потерял безвозвратно на старости лет: и свой угол, и работу, и кусок хлеба.

Акулина постелила ему на полатах.

Не успел он заснуть, как заскрипела дверь и вошли двое давешних сылвенских, а с ними десятник. Стали допрашивать Акулину, не скрывается ли у ней беглый Бобылев.

— Никого у меня не бывало. Что вы, добрые люди! Никакого Бобылева я и знать не знаю.

— А ежели обыск учиним? — спросил десятник.

Тут Пимен Карпович слез с полатей.

— Я Пимен Бобылев.

— Зачем здесь живешь? — спросил десятник.

Одним ударом кулака Пимен свалил его с ног и кинулся вон из избы. Выскочил в сени, но сзади двое служителей ухватили за руки. Кабы сбросить годов этак с десятков, справился бы и с пятерыми Пимен Карпович, но теперь не смог: отощал, обессилел, живучи в урмане. Стали ему связывать руки за спиной. Акулина упрашивала со слезами:

— Отпустите вы его, ради бога! Не ведите в контору. Кабы и нам не попасть под ответ...

— Так и так попадешь за укрывательство, — отвечал десятник и повел Пимена в Сылвенский завод.

Федосов не стал и допрашивать, а сразу отправил беглеца под стражей в Верх-Исетск в управу благочиния. Здесь его посадили под замок. Каждое утро вместе с другими нарушителями заводских порядков старика гоняли на работу. В каморе сидело пятеро заключенных. Пимен Карпович каждого расспросил, за какую провину попал. Оказалось, что все были, как он, беглые. Только один оказался турчаниновский из Сысерти, а двое — демидовские.

— Видно, и у вас несладко, ребята, — сказал Пимен.

— Хвалиться нечем. Что у вас черемуха, то и у нас черемуха. Одинаково сладко секут вицы.



Настасья проснулась и открыла глаза. Рядом с ней лежал новорожденный, ее ребенок, ее сын, тот, кого она так ждала, чью жизнь так оберегала. Она взглянула на красное личико сына и улыбнулась счастливой улыбкой.

Еще вчера она корчилась в муках, а бабка-повитуха успокаивала: «Ничего, милая, потерпи, скоро легче будет». И сейчас, когда боли утихли, по всему телу ее разливалось блаженное успокоение. Настасья видела мир ясным, как это золотое осеннее утро. Сама изба ее, пустая и холодная, казалась ей сегодня такой родной и обжитой. В окно видела она пожелтевшую березу. Сорока сидела на ее корявом суку и звонко стрекотала. У соседней избы хлопнула калитка, где-то закукарекал петух. Все эти голоса жизни так радостно было слышать сегодня, как будто сама она в ночь стала юной, здоровой и сильной.

Настасья еще раз взглянула на спящего ребенка, он пошевелил головкой. «Верно, молока хочет», — подумала молодая мать, высвобождая тугую, налившуюся грудь, но ребенок продолжал спать.

«На кого же он походит?» — думала Настасья и вдруг узнала. По какому-то неуловимому сходству она угадывала в чертах этого маленького красного личика черты лица Евдокима, и боль вошла в сердце. Евдоким! Где-то он? Вот уже больше полугода не слышать о нем ничего. Может быть, уж нет в живых? Что тогда ей делать? Одно остается — ехать к отцу в Невьянск, да отпустит ли еще заводское начальство.

Недавно приезжал из Верх-Нейвинска Прохор. «Не бойся, сестренка, не бросим тебя в беде», — говорил он и передал ей поклон от Нестера Пузанова. Настасья покраснела. С чего это ей кланяется Нестер Борисович? Давно, еще в Верх-Нейвинском заводе, замечала она на себе его взгляды и по-женски угадывала, что любит ее Нестер, но старалась отогнать эти мысли. Теперь, глядя на сына, она с какой-то возросшей нежностью вспоминала его отца, он стал ей еще ближе, точно это маленькое тельце, этот совсем еще беспомощный живой комочек еще крепче связал ее с большим и упрямым человеком, ушедшим искать правду в далекую столицу.



Всю Россию, от Петербурга до Урала, снова прошел Евдоким. Но прошел уже другим: не тем скромным просителем, искавшим защиты от злых приказчиков, а непримиримым борцом с неправдой и насилием.

Засинели вдали родные Уральские горы. В одно село за Камой попал он в тот день, когда там провожали неперенных работников. Люди, обреченные на «огненную», господскую работу, навсегда отрываемые от родной деревни, от земли, стояли, как приговоренные к смерти. Жирный волостной голова выкликал по списку. Бабы с детишками плакали. На площади перед волостной избой собралась толпа близких и родственников провожать несчастных. На одной телеге женщина с пятерыми ребятишками, мал мала меньше, причитала, как по покойнику.

— Что ж детных-то отправляют? — спросил Евдоким.

Ему отвечали хмуро:

— Кабы своей волей, а то начальство отбирает, кто ему не по нраву, кто откупиться не может.

Из волостной избы вышел молодой мужчина. Дырявый пониток свисал у него с плеча.

Не вытирая слез, катившихся по щекам, зло и жалобно крикнул он:

— Простите, земляки! Не поминайте лихом!

В толпе сняли шапки.

— Вот он и есть отец этих пятерых, — сказали Евдокиму.

— Так что же вы смотрите? Неужто отдадите своих родичей в вечную кабалу? Глядите, и до вас доберутся.

— А что же делать?

— Не давать себя в обиду... Люди вы или скот бессловесный? Так ведь со скотом и то милосерднее бывают. Берите вашего толстопузого волостного голову, пускай сам едет. Ему там жиру сбавят. В самый раз у горна сало топить...

Зашевелились в толпе. Раздались голоса:

— И то, пускай сам едет на завод. Не давайте наших... Распрягай лошадей! Ни души не дадим...

Волостной голова прикрикнул было, но в ответ раздались громкие ругательства и угрозы. Видя явное непокорство, голова струсил. Крестьяне стали заворачивать подводы.



Ни одного человека не послала на заводы волость.

Евдоким вышел на лесную опушку и увидел широкую поляну, упиравшуюся в крутой склон горы, заросшей кустами жимолости. У ее подошвы блестела запруда. Перед глазами Евдокима раскинулась оживленная картина золотого прииска. Вода сбегала по желобам в длинные деревянные ящики. Сверху ящики были покрыты продырявленными железными листами. К ним непрерывно подвозили песок на телегах и тачках и сваливали под водяные струи. Вся площадь прииска была изрыта, ископана и зияла ямами, полными мутной, как брага, воды.

Меж отвалами пустой породы бегали люди с лопатами и тачками, с головы до ног перепачканные в глине. Слышалась истошная ругань надсмотрщиков.

Вот один из возчиков неловко свалил песок, тотчас к нему подбежал слугитель и стал бить по лицу. Голова мужика моталась из стороны в сторону. Его товарищи, сбросив с тачек песок, спешили прочь, как бы им тоже не попасть под расправу.

Глядя на все это, Евдоким снова с тоской и злостью подумал о том, до чего унижен рабочий человек. И эти рабски согнутые спины, трусливо опущенные глаза, покорность и смирение — все это показалось оскорбительным и ненужным. Что, если бы все бросили свою каторжную работу, кинули бы в рудничные дудки и шахты надсмотрщиков и уставщиков, приказчиков и заводовладельцев?

В это время один из слугителей подошел к сосне, на которой висело чугунное било, и ударил три раза. Работа прекратилась, рабочие пошли на обед. Они разбрелись отдельными кучками. Скуден был обед и короткий отдых.

Евдоким подсел к двум, бывшим поближе к нему. Один из них — парень, голый до пояса, с хрустом ел сухари, макая их в чашку с водой, зачерпнутой прямо из желоба. Товарищ его, широколицый, рыжебородый мужик лет сорока,пил из туеса жадно, не отрываясь.

— Ты что же, дядя, без хлеба пьешь?

Парень весело отвечал за соседа:

— Он свой пай давеча утром слопал.

Рыжебородый обиделся:

— Тебе-то что? Тебе девка принесла сухарей, а



у меня баба в деревне с голоду пухнет... Один я здесь.

— Как же вы без припасу работаете?

— Кому о нас забота? Волочишь ноги, стало быть, работай. Протянул ноги, стащат в отвал и тем же песком засыплют.

Парень засмеялся:

— Даве его щегерь правилом как шоркнет по спине...

— Чего ржешь? Тебе бы на Ключевском поработать, узнал бы, почем фунт лиха... В шахту бы тебя...

— А что там?

— У меня там братан на прошлой неделе насмерть расшибся.

Страх и какая-то придавленность были и в голосе, и в лице, и, казалось, во всем существе этого немолодого человека. «Эх ты, жизнь заячья! — подумал Евдоким. — Живешь не жилец и умрешь не покойник!»

К работникам подошел служитель с карандашом и записной книжкой в руке. В крутом изломе черных бровей, в чертах широкоскулого лица мелькнуло что-то знакомое.

— Много ли тачек свезли?

— Без малого по сту.

— Ну, я по сотне и запишу на каждого.

— Сделай милость.

Писчик отправился к балагану, стоявшему возле самой опушки.

— Как его фамилия?

— Сивков Андрей.

— Вот оказия! — и Евдоким пошел догонять своего бывшего соученика. Возле шалаша густо разрослась крапива, вековая спутница человеческого жилья.

— Андрей!

Писчик обернулся, на лице его появилось выражение изумления и восторга:

— Евдоким! Кимша! Вот так встреча!

Они обнялись, растроганные. У обоих в памяти встала классная комната в невьянской заводской школе, ряды парт и склонившиеся над ними головы учеников.

— Заходи ко мне в шалаш, браги выпьем.

— Помнишь Першу Чебаченка?

— А Полтора Степана?



— Жив ли Максим Трофимович?

— Жив-то жив, да вовсе в худых душах. Намедни ездил я в Невьянск, видел его на паперти церковной. Стоит вместе с нищими, милостыню просит... Все в той же шинели...

— Жаль старика... Ох, как жаль!.. Ну, помог ты ему?

— Чем я помогу?

— Нечем, так хоть бы доброе слово сказал... Эх, люди! Такого золотого человека довести до последней крайности, разве это хорошо?

— Что поделаешь? Вот и я судьбой обижен. Родителей схоронил. Зависим и угнетен. Смотритель с тебя справляет, контора требует. Чуть провинишься — штрафуют.

Евдоким с жалостью смотрел на друга. Вот, оказывается, какой получилась встреча, а он даже не знал, что ему присоветовать. Тот молча налил кружку браги. Евдоким так же молча выпил и подал приятелю руку:

— Прощай, может, больше не увидимся.

— Останься.

— Нет, нельзя мне, да и тебя под плети не хочу подводить.

Он вышел из шалаша. Начинало смеркаться. Сырой холодный туман окутывал долину. Сквозь просветы меж деревьями зеленело вечернее небо. Редкие белые облачка с золотистыми краями плыли по нему. Лес потемнел, длинные тени легли на поляну. Евдоким оглянулся по сторонам и зашагал в лес.

...Ни днем, ни ночью не пустует Великий Сибирский тракт. И везут и ведут по нему, кого волей, а кого и неволей. Давно стал он дорогой слез. Царские приставы везли этим путем в далекую Даурию непреклонного Аввакума; потом гнали закованных в цепи мятежных стрельцов; в глухих возках ехали этим путем в ссылку жертвы тайной канцелярии; с клеймами на лицах, с вырванными ноздрями брели участники многочисленных бунтов: барские крестьяне и рабочие люди. Много их прошло — героев и мучеников — мимо плакучих берез, белевших по обе стороны тракта, мимо сереньких, покосившихся избышек, откуда



сердобольные русские бабы выносили изгнанникам ломти ржаного хлеба.

Евдоким боялся идти по тракту днем: у него не было проходного свидетельства. Он находился вне закона, и каждый встречный, если бы захотел, мог его задержать и представить в управу благочиния.

Уже стемнело, над головой пламенел алый сентябрьский закат. Было холодно, трава по утрам уже белела от первых инеев, и земля, подкованная первыми заморозками, стучала под ногами. Птицы с прощальным перекликом летели на юг. Серое дождливое небо нависло над шиханами, над полными чашами озер, над оранжевыми перелесками. Порывистый ветер срывал с кедров тугие лиловые шишки. В непроглядных лесных мочажинах завывали волки.

В дождливый осенний вечер подходил Евдоким к Сылвенскому заводу той же дорогой, какой уходил еще по весне. Но теперь вокруг все было по-осеннему хмуро и голо. Пожухлая ржавая листва деревьев облетала с тихим шелестом, и сквозь сетку сучьев виднелись набухшие дождем тучи. В подлеске беспокойно кричали черноголовые синицы. В сером небе, широко распластав прямые крылья, медленно плыл ястреб.

Невеселые думы бродили в голове Евдокима. Как-то живет Настасья? Кто ей помогает? Эх, Настенька, Настенька!

Дорога вывела на опушку. Евдоким увидел знакомое место. Вон землянка выглядывает меж кустов смородинника... Вон и река блестит, и паром у берега, и, как тогда весной, сидит у костра старик перевозчик, подкладывает в костер хворост. Дымок вьется над костром, огонь играет, облизывает сучья острыми желтыми язычками. Мокрые ветки потрескивают и обволакиваются дымом.

— Здорово живешь, старинушка?

— Здравствуй, здравствуй, добрый человек. Садись, погрейся с дороги.

— И рад бы, да некогда.

— А что так?

— Да так вот приходится. На завод тороплюсь.

Помолчал старик и поглядел на Евдокима, да так



поглядел, что тот сразу догадался: узнал его перевозчик.

— Не ходить бы тебе туда — лучше бы дело было, милоч.

— И то знаю, да жена у меня там осталась. Все равно, что душу оставил. Вся думка о ней...

— Ну, ступай с богом. Только не торопись, ночью иди. Вишь ты какой приметный.

Старик подбросил в костер толстое полено, а сам пошел отвязывать паром. Евдоким ступил на деревянный настил и оттолкнулся от берега. Зашумела вода, заскрипел ворот, и паром поплыл, медленно поворачиваясь.

Холодный ветер дул навстречу и гнал тяжелые осенние волны. Мокрый, неприветливый, приближался противоположный берег.

Паром ткнулся в него, и Евдоким спрыгнул в вязкую глину.

— Прощай, старина!

— Счастливого пути, милоч!

Евдоким зашагал вдоль берега. Острое чувство тревоги все более овладевало им.

С неба кропил мелкий дождь-бусенец, и от этого становилось еще холоднее. Евдоким озяб до того, что, кажется, каждая кость мозжила.

Сердце невольно забилося чаще, когда увидел он заводские кузницы у дороги, а поодаль заводские строения. Вон в том переулке изба, где живет его Настасья.

Озираясь по сторонам, подошел он к дому, охваченный страхом и желанием повидать самого близкого в жизни человека. Постучал — никто не ответил. Постучал еще раз... Что это? Неужто в избе не живут? Что тогда делать? Ужас охватил его. Он уже хотел уйти, как вдруг в окошко послышался знакомый голос:

— Кто там?

— Настенька, это я — Евдоким.

— Господи!..

В одной исподней рубахе выбежала Настасья и отворила калитку. Евдоким, задыхаясь от радости, схватил ее и понес в избу. Она зажгла лучину и, взяв мужа за руку, повела его в угол, где рядом с кроватью висела на очепе зыбка.

— Гляди — сын ведь!



— Сын?!

Евдоким сквозь счастливые слезы смотрел на сморщенное личико, выглядывавшее из пеленок. Смотрел и не мог оторваться. Вот он, его сынок, его кровинка... И вдруг всем своим существом понял, что уже не в состоянии оторваться от семьи, что никуда не уйдет он больше от них.

Настасья глядела на мужа, и, как всегда в минуты радостного волнения, лицо ее удивительно молодело. Все забыла она в эти минуты: и голод, и холод, и притеснения заводского начальства.

— Не оставишь нас? — спросила она тихо.

— Нет, Настенька, ни за что на свете. Помирать будем вместе.

Настасья засуетилась:

— Что же это я, глупая, не покормлю тебя с дороги? погоди, остался у меня горшок со вчерашними щами. Садись, поешь.

Евдоким снял с плеч мокрый азам и остался в одной рубахе. Присел на скамью к столу, отдыхая душой и телом. Снова с ним была его Настенька. Как и прежде, она ловко и быстро накрывала на стол. И все было такое знакомое: и деревянная солонка с намалеванными на ней цветочками, и ложка, выточенная им, и скатерть на столе, купленная по случаю у екатеринбургского торгового человека.

— Ешь, родимый... Поди, давно горячих щей не хлебал?

— Давно, Настенька.

В это время проснулся ребенок. Настасья вынула его из зыбки и показала отцу. Ребенок открыл глаза и заплакал.

— Не плачь, дитятко, не плачь, — уговаривала мать, доставая грудь. — Тятка пришел. Теперь мы с тобой не сироты. Есть у нас и заступа и подмога.

Евдоким не мог налюбоваться сыном.

— Как хоть назвала-то?

— Евдокимом же и назвала. Погляди-ко, ведь на тебя похож.

Евдоким поднялся со скамьи, подошел к жене и поцеловал ее в мягкие, теплые губы.

Утром рано Настасья затопила печь. Евдоким спал.

Проснулся Евдоким, и сам себе не верит: неужели он дома в своей семье? Но тут же снова встал неумо-



лимый вопрос: а что же дальше делать? Как ни отгонял он эту мысль, она отравляла ему радость встречи.

Жены в избе не было: она ушла к соседям занять съестного. Быстро надел Евдоким перемену, приготовленную Настасьей, умылся и подошел к зыбке.

— Ну, Евдоким Евдокимович! Желаю тебе сто лет здравствовать! Чтобы руки твои не знали устали, чтобы сердце твое к доброму льнуло, чтобы шел ты всю жизнь напролом прямо к счастью...

Маленький Бобылев сморщился и заплакал.

В это время дверь распахнулась, вбежала Настасья, испуганная, простоволосая.

— Евдоким! — крикнула она. — Спасайся, беги!..

Евдоким выскочил в сени, и сразу же ненавистное лицо Федосова вынырнуло из темноты. Кто-то уцепился за рукав. Евдоким сшиб приказчика с ног. Стоявшего за ним служителя схватил за горло так, что тот захрипел. Но по крылечку взбежало еще несколько человек. Завязалась короткая, ожесточенная схватка. В клубок сплелись тела. Отчаяние придало Евдокиму силы. Ему удалось вырваться.

Одним прыжком он очутился у ворот. Калитка была распахнута, и в нее падал сноп света. Еще мгновение — и он спасен!

— Бей его! — слышалось сзади.

И тут же острая боль пронзила тело. Калитка мелькнула красным пятном, и Евдоким повалился навзничь, потеряв сознание...

Первое, что он увидел, придя в себя, было ощеренное в злорадной усмешке смуглое бородатое лицо Федосова, склонившееся над ним.

— Набегался? — спросил Федосов. — Сколько вор ни ворует, а тюрьмы не минует. Придется за все полный ответ дать. Ужо не одну шкуру с тебя спустят. Пропишут тебе на спине чертежи и планы. Ха-ха-ха!

Евдоким приподнялся и плюнул в смеющееся лицо приказчика.

В тот же день его, связанного, увезли в Екатеринбург в городской острог.

Делом Евдокима Бобылева занимался сначала нижний земский, потом уездный суд.



В рапорте Верх-Исетского заводского правления было сказано, что Бобылев арестован и отдан под суд за побег и «за открытие благоустройства таких господина его машин и печей, кои из описания всех заводов горный главный начальник исключил к сохранению секрета на пользу виновников изобретения...»

Раскрытие секрета ставили в основную вину.

Допрашивали его члены суда с важными лицами, строгие, неумолимые. Жертва была в их руках, и приговор оставалось только изложить языком канцелярских бумаг; он уже давно созрел в их головах. Но, так как в свое время подсудимый подавал жалобу генерал-губернатору, пришлось переслать следственный материал и заключение в Пермь, оттуда все было препровождено в Петербург к Аракчееву. Тот возвратил с резолюцией: «Дело сие к рассмотрению моему не принадлежит». Наконец решено было отправить дело на усмотрение самого завододержателя Яковлева.

Пока же тянулась вся эта судейская волокита, Евдоким сидел в екатеринбургском остроге. Посадили его в камору одного, как важного преступника.

Из всех душевных страданий самое тяжкое — страдание одиночества. Евдоким испытал его в полной мере. Деятельной натуре его совершенно чуждо было состояние ничегонеделания. Мысль его работала лихорадочно. Он потерял сон.

В эти дни, из которых каждый длился как вечность, он как будто пережил тысячу жизней.

Сильно тосковал по жене и сыну.

Всю зиму провел Евдоким в этих сырых каменных стенах. Здоровье, пошатнувшееся за время скитаний по лесам, окончательно изменило ему: он кашлял с кровью. Часто его лихорадило, и едва хватало силы подняться с грязного вороха соломы.

В тишине бесконечных ночей, задыхаясь в горячем жару, он думал о горькой своей участи: знал, что пощады ждать нечего, что наказание будет жестоким, что не увидит он больше ни родных, ни близких. Он видел себя жертвой чудовищной несправедливости. Именно это сознание отравляло ему еще больше жизнь в тюрьме. А жить хотелось, как никогда раньше...



Петя Ключин преуспевал по службе: его назначили протоколистом, и жалованья он получал уже сто рублей в год ассигнациями. Из цветущего румяного юноши Петр Ключин превратился в сухопарого канцеляриста с бледным угреватым лицом. Прикованный к столу на своей чернильной каторге, сделался он угрюм и неразговорчив.

Дело Евдокима, совершив полный оборот, попало наконец в главную контору Верх-Исетских горных заводов, откуда полгода назад начало свой роковой путь.

В бумагах Петя нашел последнее прошение Евдокима: «Прошу принять меня в зачет непременных работников на казенные заводы, где могу по дарованию своего механического искусства открывать благоустройство заводских машин ко всякой пользе отечества нашего».

«До чего довели человека,— подумал канцелярист,— на самое тяжкое пошел».

Тут же приложено было объяснение Григория Зотова: «Все познания, какие он приписывает сам себе, требуют человека с иными склонностями, с иными дарованиями, с твердым и основательным рассуждением, с довольною опытностью в самой практике».

«Зачем же в таком случае назначили его плотинным мастером?» — удивился Петя.

Уездный екатеринбургский суд и второй департамент горного правления вынесли одинаковое решение. Они признали Евдокима виновным в побеге из жительства, в открытии устройства машин и неправильных жалобах на приказчиков. В постановлении суда было сказано: «Наказать плетью и отослать на поселение с зачетом помещику за рекрута; если не примут на заводе, отослать в Нерчинские казенные заводы».

С содроганием прочел эти строки канцелярист.

Дело пополнялось документами. «При подаче того прошения,— писал Евдоким,— по приказанию его императорского величества взят был под стражу во дворце его величества...»

И вот наконец последняя бумажка — письмо Яковлева главноуправляющему:

«Григорий Зотов! О плуте Бобылеве, когда дело



окончено будет решительно, то с ним можешь поступать, как по рассуждению своему за благо признаешь.

А протчем пребываю тебе доброжелатель

Алексей Яковлев».

И вот в конторе главного правления стоит перед Григорием Зотовым его давний враг и «возмутитель заводского благочиния». Петя сразу даже не узнал Евдокима: в рваном азяме, худой, изжелта-бледный, с провалившимися глазами,—он был страшен. Он надрывно кашлял, придерживая тяжелые кандалы костлявой рукой.

Григорий Федотыч хищно разглядывал его.

— Хорош механик, нечего сказать. Каким бы мог стать человеком, ежели бы не плутовал.

Евдоким ожег его исподлобья ненавидящим взглядом.

— Ишь, волчья порода, как глядит!..—Зотов сделал знак рукой, и служители увели Евдокима.

— Пиши,—сказал главноуправляющий протоколисту.—Мастерового Бобылева, в пример прочим, в жительстве его в Верх-Нейвинском заводе наказать плетью нещадно.

На дворе вновь стояла весна с пением ручьев и птичьим гамом. Сквозь решетку в заводской управе благочиния все ярче и ярче пробивалось солнце. Заключенных днем гоняли на работы, а на ночь опять запирали. Они ворчали:

— Докудова нас держать будут, как злодеев?

— Говори спасибо, что кандалы сняли. Поят, кормят — чем не жизнь,—шутили товарищи по несчастью.

Как-то вечером, придя с работы, Пимен Карпович увидал нового арестованного. Новичок сидел, зябко кутаясь в азам, и кашлял. «Вот,—подумал Пимен Карпович,—даже больного взяли. В такой духоте да сырости и помереть может человек».

— Возьми мою лопотину да постели себе,—сказал он больному.

Тот живо повернул голову на голос и сказал:

— Это ты, тятенька?

Пимен Карпович только ахнул:

— Вот где привел бог встретиться!

Вокруг них столпились остальные заключенные. Все были тронуты этой встречей.



— Видно, всю родову вашу Григорий Федотыч хочет извести?

— Не изведет,— сурово заметил старик, сидевший за самовольный уход из куреня.— Невозможно того сделать: народ не извести.

Всю ночь просидели рядом отец с сыном.

— Чую, тятенька,— говорил Евдоким,— недолго мне остается жить: наказание мне определено смертное.

— Да, может, еще смилуются...

— Нет, милости не жду... Слушай, тятенька. Когда меня не будет, не оставь Настасью и внука. А еще я тебя попрошу: сберечь надо планы и рисунки. Пусть сыну моему они перейдут. Может, по ним еще изготовят машины когда-нибудь.

Смертная тоска томила Евдокима, но и в эти свои последние часы он думал о заветном.

Утром двери каморы отомкнули, и полицейский служитель гаркнул:

— Бобылев Евдоким!

— Я здесь.

— Вставай. Велено везти тебя в Верх-Нейвинск.

Евдоким стал прощаться с отцом:

— Благослови, тятенька, последний раз.

Отец, рыдая, обнял сына.

Евдоким шагнул через порог.

Пимен Карпович в заключении пробыл недолго. Как-то пожаловался он караульному, что на работе порвал поясницу, отказался от ужина и пораньше лег спать. Караульный поверил и ослабил присмотр. Когда он заглянул в камору, она была пуста. Пимен Бобылев бежал, и с ним еще пятеро человек. И сколько ни пыталось заводское начальство разыскать беглеца, он с того дня точно в воду канул.

На площадь перед конторой с утра сгоняли народ. Всю ночь плотники мастерили эшафот, и теперь он возвышался посреди площади, светлея свежестругаными досками.

Евдоким переночевал в каморе, откуда когда-то совершил свой первый побег. Всю ночь он не сомкнул глаз. Думал о жене, о сыне, об отце, чувствуя, что ночь эта — последняя в его жизни.



Утром привели его в контору. Там уже дожидалось заводское начальство: управитель, пристав, уставщик. Среди них узнал Евдоким старика плотинного Яргина, его злое, как у хорька, лицо, глубоко сидящие глаза. Савва Зотов в дорогом праздничном кафтане с алой шелковой опояской остановил на Евдокиме неподвижный взгляд:

— Доворовался! Больше не будешь честных людей порочить жалобами.

Евдоким ответил:

— Захлебнись ты моей кровью!

Зотов отвернулся и приказал начинать экзекуцию. Два служителя подхватили Евдокима под руки. Он оттолкнул их и сам пошел к месту казни, придерживая руками кандалы.

День стоял сухой, ветреный. Солнце расплескалось в заводском пруду. Как застывшие волны, стояли горы, и бледно-голубая гряда их уходила далеко-далеко. А здесь, на площади, толпились мастеровые, с кем Евдоким вместе рос и работал. Тоскующим взглядом обвел он толпу. Понутив головы, стояли Прохор Чулошников и Нестер Пузанов. Вон Филимоновна и престарелый мастер Крякунов, дальше братья Кропотухины, Варфоломей Широка Шаньга. Жалостно смотрели заводские женки, но не было среди них Настасьи. А только ее одну и хотел увидеть Евдоким в свой смертный час, чтобы сказать ей последнее прощальное слово.

Твердо взошел он на помост. Там уже ждал его палач в красной рубахе, поглаживая ременную плетть. Зотов громко огласил приказ главноуправляющего: «За неоднократный побег из места жительства и неправильные жалобы наказать Евдокима Бобылева плетью нещадно».

В толпе зашептались, заохали: слишком несоразмерным вине являлось наказание. Так наказывали только самых закоренелых преступников.

Евдоким поклонился народу:

— Простите, люди добрые!

— Бог простит,— тихо, но дружно откликнулась толпа.

Сняв рубаху, лег Евдоким на скамью, и тотчас же первый удар каленым железом опалил ему спину. До



крови прикусил губу наказуемый. Кто-то из толпы подал совет:

— А ты кричи, легче будет терпеть.

Другой и третий раз хлестнула плетью. Евдоким глухо застонал. Кровь струилась на помост, брызгала в стороны. Казалось, что казнь длится бесконечно. Бабы плакали, мастеровые отворачивались от ужасного зрелища. В мертвой тишине раздавались только свистящие удары плети. Под конец Евдоким потерял сознание. Палач продолжал хлестать, не считая ударов. В толпе поднялся ропот:

— Пожалейте человека!

— Мертвого бьете!

— Мало вам крови нашей!

— Убойцы!

Савва Зотов поглядел на палача горящими глазами. Ноздри у него раздувались, как у зверя, почуявшего добычу.

— Прибавь ему напоследок пожарче!.. Еще раз!.. Еще!..

Красная от крови плетью змеей взвилась в воздух и жадно впилась в бесчувственное тело.

— Будьте вы прокляты, кровопивцы! — крикнул кто-то отчаянным голосом. — Вас бы так!

Зотов махнул рукой, и казнь кончилась. Полицейские служители подняли со скамьи истерзанное тело и снесли с помоста на рогожу. Филимоновна подошла с ковшом воды и вылила ее на голову Евдокима. Он не очнулся. Так, полумертвого, его положили на телегу и повезли. К телеге подошли Прохор и Нестер.

— Куда везешь?

— В Режевской завод велено.

— Не видишь разве, что кончается... Заворачивай ко мне! — решительно сказал Прохор.

Поглядел возница на полумертвое тело и поехал к Чулошникову. Там приятели бережно перенесли Евдокима в горницу, обмыли, перевязали раны, положили на кровать.

Евдоким пришел в себя. Тусклыми глазами оглядел окружающие его лица и предметы и попросил пить.

— Не жилец уж на белом свете, — тихо сказала жена Прохора.



— Молчи! — прикрикнул тот и побежал за лекарем.

Однако лекарь, узнав, к кому его зовут, отказался идти, сославшись на недосуг.

— Подохни сам, — сказал Прохор.

Евдоким умирал.

— Сына бы мне повидать... Настеньку, — говорил он, часто дыша.

Ночью начался бред.

— Отпускай затвор!.. Ваша милость, планы мои касательно устройства машин... Где планы? Куда вы их схоронили, злодеи? — бормотал умирающий.

В полночь затих.

Прохор и Нестер стояли у смертного ложа своего друга, утирая слезы.

— Эту смерть забыть нельзя, — сказал Нестер сквозь зубы.

— Настасья, жалко, не простилась с мужем, — проговорил Прохор.

А Настасья торопилась. Пока Евдоким сидел в заключении, ее ни разу не допустили к нему. Так и не удалось узнать, что его ожидает. Только уже в последний день в конторе главного управления встретила она бледнолицего канцеляриста. Это был Петя Ключин. Узнав, что перед ним жена Евдокима Бобылева, он обратился к ней:

— Если хочешь увидаться с мужем, спеши. Его сегодня утром увезли в Верх-Нейвинск. Завтра казнь.

Обомлела Настасья, но терять времени не стала. Где пешком, где с попутной подводой пробиралась к Верх-Нейвинску. Ни одного часа не отдыхала, думая лишь о том, как бы скорее попасть на завод.

Всю ночь брела и на рассвете наконец увидала заводские строения, пруд и круглое здание конторы. Солнце брызнуло из-за гор потоком золотых лучей, и сразу все кругом ожило и заиграло. Настасья шла мимо дома Чулошниковых. Что-то словно толкнуло ее в сердце. Чулошниковы должны были знать о судьбе Евдокима. С трепетом постучала она в окно. Вышла жена Прохора, по лицу ее Настасья поняла, что случилось несчастье. Прижав к груди сына, вошла она в избу.

— Здесь он лежит, — сказала Марфа и показала на горницу, залитую светом. На скамье, вытянувшись



во весь рост, бездыханный лежал Евдоким. Вся за-каменев, безумными глазами смотрела на мужа Настасья.

— Евдокимушко!

Все горе несчастной женщины вылилось в этом вопле. Евдоким лежал перед ней спокойный и строгий. Желтое лицо заострилось. Седая прядь волос спустилась на лоб и закрыла шрам. Тонкие брови сошлись к переносице тугим узлом, как будто покойный додумывал большую и важную думу.

А на исходе зимы произошло в Верх-Нейвинском заводе событие, весть о котором облетела все горные заводы.

В распахнутую дверь дощатой фабрики захлебывающийся от страха голос крикнул:

— Беда, ребята! Бросайте работу! Управитель всех требует. Листы пережженные нашел. Лютует страсть.

— Ну, мужики, теперь береги спины.

Все приуныли. Кто крестится и молитвы бормочет, а кто вполголоса ругается в бессильной злобе.

Когда выходили, никто не заметил, что Нестер Пузанов взял лежавший у наковальни узкий топор и спрятал его под полу чекменя.

В амбаре, предназначенном для сортировки и укупорки листового железа, стало тесно. Прямо перед управителем стояли четыре дощатых мастера: братья Кропотухины, Тимофей и Семен, Прохор Чулошников и Нестер Пузанов.

Зотов оглядел их хищно и спросил тихо, но с нараставшей в голосе угрозой:

— Так-то вы господскую работу исполняете?.. Вижу ваше усердие. Нечего сказать, изрядно потрудились. Вот оно, мастерство ваше и старание... Видите?

Тычет в пережженные по краям листы, а у самого уж лицо багровеет.

Тимофей Кропотухин стоял первый с краю. Зотов к нему:

— Разболокайся! Живо!

Потом к Зубкову:

— А ты бери вицу и стегай племянничка, сколько силы хватит.— И сам, взъярившись, схватил розгу и хлестнул мастера по лицу...

Тут произошло совершенно неожиданное. Нестер



Пузанов коротким рывком выдернул из-под полы топор. Взмах — и приказчик повалился наземь. Еще удар — и из головы Зотова хлынула кровь.

Все, сколько было в амбаре, кинулись к двери и — кто куда. Нестер Борисович вышел последним. Он шел как человек, исполнивший неотложное дело.

В Верх-Нейвинск на похороны брата прикатил главноуправляющий Григорий Зотов. Он волком смотрел на мастеровых, и все поняли, что Григорий Федотыч устроит брату кровавые поминки. Заводское население в страхе ожидало расправы.

Начался строжайший розыск. Двадцать восемь человек привлекли к ответственности. По несколько раз каждого вызывали на допрос.

— Рассказывай без утайки все, как было по порядку.

Все говорили одно и то же.

— Почему не оказал раненому немедленной помощи? Почему не задержал злодея?

— Шибко испугался.

Фока Митюнин, измученный допросами, пал духом и припомнил разговор с Пузановым, как он грозился убить управителя.

— Почему же ты, протоканалья, зная о злодейском умысле, не довел до сведения начальства?

Фока только моргал в ответ.

Нестер Борисович признался чистосердечно:

— Давно имел намерение убить Зотова. Не мог выносить столь зверского издевательства над людьми. И топор для того взял. И ударил дважды, чтобы до смерти убить. А соумышленников у меня не было.

На казнь согнали все заводское население. Двадцать восемь приговоренных стояли у помоста. В толпе слышался надрывный плач. Экзекуция началась. Мертвенно бледные, с окровавленными спинами сходили с эшафота осужденные. Всех наказывали палками, а Фоку Митюнина — плетью. Дольше всех истязали Нестера Пузанова. Его судили по указу 1754 года: дали пятьдесят ударов кнутом и каленым железом выжгли на лбу и на щеках позорные клейма.

Даже привычные к расправам верхнейвинские мас-



теровые, те, что видели казнь Бобылева Евдокима, охнули, когда увидели обезображенное, залитое кровью лицо товарища. Бесчувственное тело его бросили на телегу и повезли в Сибирь — в Нерчинск на каторжную работу.

Народ шел следом. Прохор Чулошников, сам получивший тридцать палочных ударов, провожал друга. Старик Крякунов, полуслепой, сгорбленный, брел за телегой.

— Мысленное ли дело так мучить человека? — говорили в толпе.

— Не за себя, за всех нас муки принял, — сказал Крякунов. — Помнить надо.



Повесть «Связанные крылья» отражает события, относящиеся к истории уральской горной промышленности начала XIX столетия. Основой для повести послужили материалы следственного дела № 786 (ф. 72, оп. 1), находящегося в Государственном архиве Свердловской области. Это летопись трудов и бедствий одного из талантливых уральских умельцев Евдокима Бобылева...

Открытие им способа изготовления длинномерных листов оказалось решающим для дальнейшего развития проката листового железа. Благодаря бобылевскому открытию вдвое увеличилась производительность труда... Не первый и не последний из русских умельцев испытал Бобылев крушение своего замысла.

В 1765 году гениальный механик И. И. Ползунов построил первую в мире паровую машину, но он скончался, так и не дождавшись пуска своей машины... Крепостническое государство готово было похоронить самую идею Ползунова, но это оказалось уже не в его власти. В начале XIX века русские умельцы каждый по своему почину и разумению строили «огнедействующие машины» и внедряли их в производство. Евдоким Бобылев являлся одним из таких славных мастеров. Он подхватил идею создания паровой машины и предполагал применить свои изобретения в прокатных цехах, что впоследствии было сделано на Верх-Исетском заводе.

Имя Евдокима Бобылева, «резчика и столяра, могущего по планам и мыслям делать модели», принадлежит к числу тех, о ком П. П. Бажов сказал: «Знаменитые мастера были, да в запись не попали».



## СЛОВАРЬ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В КНИГЕ

**А з я м** — верхний долгополый кафтан из домотканого сукна.

**Б о л ь ш о й К о в ш** — созвездие Большой Медведицы.

**В а ч е г а** — рукавица либо вязаная шерстяная варега (варежка); иногда ладонь суконная, верх кожаный.

**Г о р б у ш а** — сельскохозяйственное орудие, небольшая коса с короткой ручкой и изогнутым лезвием.

**Г у н ь к а, г у н я** — худая, ветхая, истасканная одежда.

**З а в о з н я** — здесь: каретный сарай.

**И з л о ж н и ц ы** (в металлургии) — формы, заполняемые металлом для получения слитка.

**К а б а н щ и к и** — угольщики.

**К а м ч а т н а я** — (камчатая) скатерть — скатерть из камки. **Камка** — шелковая китайская ткань с разводами. В России — узорчатая ткань, идущая на столовое белье.

**К и ч и г и** — здесь: созвездие Ориона.

**К о л о м е н к а** — речное тяжелогрузное судно.

**К о с н а я л о д к а** — легкая лодка для переездов.

**К о л о ш а** — мера руды и угля, засыпаемая в один раз в плавильную печь.

**К р о с н а** — ткацкий стан; крестьянский холст целой трубкой.

**К у р е н ь** — шалаш, балаган, землянка; место выжига в лесу древесного угля.

**Н а к о л к а** — украшение из ткани, кружева на женской прическе.

**О п о к а** — рама, ящик с земляной формой для заливки металла.

**П о н о с н ы е, п о н о с н о** — барочный (поносный) руль. Идти на поносных — управлять по ветру и течению.

**П я т е р и к** — старая русская мера и предметы, содержащие пять каких-нибудь единиц; здесь — пять пудов.

**Р а м е н ь е** — лес, соседний с полями, с пашнями; **раменный** — лесной, боровой.

**Р а с ш и в а** — большое парусное судно.

**Р о м а н е я** — сладкая настойка на иностранном вине.



**У права благочиния** — общегородское полицейское учреждение столичных и губернских городов. Создана в 1782 г. Приводила в исполнение распоряжения администрации и распоряжения судов.

**Флюс** (спец.) — вещество, содействующее образованию шлака и улучшению качества металла при плавке.

**Фурма** — устройство для подачи воздушного дутья в металлургической печи.

**Яхонт** — старинное название рубина и сапфира.



## СОДЕРЖАНИЕ

Атаман Золотой

3

Связанные крылья

139

Словарь непонятных слов

299



**Боголюбов К. В.**

**Б74** Атаман Золотой; Связанные крылья: Повести.—  
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.— 304 с.

В пер. 65 к. 75 000 экз.

Переиздание повестей известного уральского писателя Константина Васильевича Боголюбова (1897-1975) о рабочем движении на Урале в конце XVIII — начале XIX века.

Повести созданы по мотивам уральских преданий («Атаман Золотой») и на материалах следственного дела, обнаруженного писателем в Государственном архиве Свердловской области («Связанные крылья»).

Книга адресуется юношеству.

Печатается по изданию: К. Боголюбов. Связанные крылья. Атаман Золотой. Грозный год. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967.

Б 4803010102-070  
М158(03)-83 78-83

ББК 84Р7



ИБ № 1049

Константин Васильевич  
Боголюбов

АТАМАН ЗОЛОТОЙ

Редактор Н. И. Трубникова

Художник В. С. Солдатов

Художественный редактор А. В. Вохмин

Технический редактор Л. М. Голобокова

Корректоры Л. Я. Витязева,

М. А. Казанцева

Сдано в набор 20.01.83. Подписано в печать 06.05.83.  
НС 11053. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типогр. № 2.  
Гарнитура журнальная. Печать офсетная. Усл. печ.  
л. 16,0. Усл. кр.-отт. 16,58. Уч.-изд. л. 16,0. Тираж 75000.  
Заказ 97. Цена 65 коп. Средне-Уральское книжное  
изд-во, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.  
Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151,  
Свердловск, пр. Ленина, 49.



В 1984 году  
В Средне-Уральском книжном издательстве  
будут изданы произведения  
русских и зарубежных писателей:

**А. Беляев. ИЗБРАННОЕ.**

**А. Чехов. ИЗБРАННОЕ.**

**Р. Стивенсон. ОСТРОВ СОКРОВИЩ.**

**ЛИРЫ И ТРУБЫ.** Сборник стихотворений  
русских поэтов XVIII века

**Д. Мамин-Сибиряк. ХЛЕБ.**

**М. Пришвин. ВРЕМЕНА ГОДА.**















65 коп.

Свердловск  
Средне-Уральское  
книжное  
издательство  
1983



КОНСТАНТИН  
БОГОЛЮБОВ



АТАМАН ЗОЛОТОЙ